КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 10

ОКТЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД



Главлит. 68173.
Гиз. 17754 Тираж 10.500.

Разин Степан.

Роман.

(Продолжение).

А. Чапыгин.

XVIII. В шатрах у Астрахани.

Смешанным говором лопочет многоголосая Астрахань. Жжет солнце, знойное как летом. Люди теснятся, переругиваются, шумят между каменных лавок армян, бухарцев и персов. Толпа проплывает с базара по улицам, застроенным каменными башнями, церквами и деревянными домами с крыльцами в навесах и столбиках.

У церквей нищие в язвах, в рядне и полуголые, усвоив московскую привычку кляньчить, тянут:

— Православные, ради бога и великого государя, милостыньку, Христа ради!

Хотя в толпе православных мало. В углу базарной площади серая пытошная башня — из ее узких окон слышны на площадь крики, визг и мольбы. Казаки, смешавшись с толпой, выделяются богатой одеждой и шапками в кистях из золота, говорят:

— В чортовой башне те же песни поет наш брат!

Стрельцы, зарясь на наряд казаков, идя о бок, отвечают:

— То, браты, по всей Русии ведетца... в какой город ни глянь — услышишь... ежели пытошной в нем нет, то губная изба правит и тот же вой!

— Да, воеводские суды — росправы!

Разин идет впереди с есаулами в голубом зипуне, на зипуне блещут алмазные пуговицы, шапка перевита полосой парчи с кистями, на концах кистей драгоценные камни. Сверкает при движении его спины и плеч золотая цепь с саблей. Если атаман не подойдет сам, то к нему не подпускают. Есаулы раздают тому, кто победней, деньги.

— Дай бог атаману втрое чести, богачества! — принимая, крестятся.

Нищие кричат:

— Атаман светлой! дай убогим божедомам бога для-а...

— Помоги-и!..

— Дайте им, есаулы!

Нищих все больше и больше, как будто в богатом городе, заваленном товарами, широко застроенном, кроме нищих и нет никого. Оборванец, подросток, тоже тянет руки.

— Ись хочу! — мамку, вишь, пытать имали...

— Пошто мамку-т, детина?

— За скаредные про царя слова, тако сказывали...

— Мальцу дайте! пущай и он про царя говорит похабно.

Разин, махнув рукой, проходит спешно дальше...

На площади среди каменных амбаров, рядов, казаки, идущие в хвосте, дуваном и одеждой торгуют. Из казацких рук в руки купцов переходят восточные одежды, куски парчи, шелка, золотые цепочки и иное узорочье. Армяне в высоких черных шапках в бархатных халатах бойко раскупают кизылбашское добро. Один из армян с желтым лицом, испуганными глазами, тряся головой в сторону соотчичей, кричит хрипло:

— Гхаркавор-э пгхахел аистергиц, цахэлу гхэтевиц мэз к тала нэн! [1]

На него смеются, плюют в его сторону, хлопая по карманам халатов.

— Аксарьянц! инчу-эс вахум? мэнк аит мартконцериц к гхарустананк! [2]

Многие из разинцев, спустив в царевых кабаках Астрахани деньги, вырученные за дуван, продают с себя дорогое платье, напяливая тут же под шутки толпы вшивое лохмотье, за бесценок взятое у нищих, а иногда и из лавок брошенное до того замест половиков. Мухи разных величин лепятся на голые потные тела, бронзово могуче сверкающие, то опухшие от соленой воды, или тощие как скелеты от лихорадок.

— Козаку тай запорожцу у се то краки, та буераки — гая ж не ма!

— Казаку все одно — лезть в рядно!

— Верх батько даст! низ едино все в бою изорветца.

Вот целый ряд узкоглазых, смуглых, скуластых в пестрых ермолках, в чалмах, потерявших цвет, — глядит этот ряд на казаков, сверкая глазами и ярко белыми зубами в оскаленных ртах.

— Нынче на Эдиль реку ходым?

— Волга! кака-те етиль?

— Нашим Эдиль река!

— Куд козак! зачим зывал на Астрахан булгарским татарам?

— Лжошь, сыроядец! то калмыки.

— Булгарским кудой, злой, не нашим вера, не Мугамет... булгарски булваном молит!

— К батьку идет всяк народ! всяка вера ему хороша...

— Акча барабыз, козак? [3]

— Менгун есть! перски абаси, шайки... талеры.

— Купым? дешев! наша вера не кушит кабан, кушит карапус.

[1]) Продадут потом нас, ограбят. Армянск.

[2]) Чего боишься? Мы от этих людей разбогатсем! Армянск.

[3]) Деньги есть? Татарск.

— Вам не свыня — жру коня?

— Бери менгун! нам кабан гож.

Почти не спрашивая цены, за бесценок казаки тащат в становище кабанов...

На крыльце деревянного широкого дома с резьбой с пестрыми крашенными ставнями стоит веселый, приветливый воевода Семен Львов, гладит рыжеватую курчавую бороду. Становой кафтан распахнут, под кафтаном желтая шелковая рубаха, шитая жемчугами, отливает под солнцем золотом.

— Иди, иди-ка, дорогой гость! жду хлеба рушить.

— Иду, князь Семен, и никому иному, к тебе иду, едино лишь дума!..

— О чем дума, Степан Тимофеевич?

— Вишь не обык к воеводам в гости ходить — а ну как звали на крестины да в сени не пустили?.. не примут де, так остудно с пустым брюхом в обрат волокчись...

— Звал, приму! не то в сени — в горницы заходи...

— На том спасибо! а вот и поминки тебе. — Разин обернулся к казаку сзади. — Дай-кось, Василей!

Взяв у казака крытую золотой парчей соболью шубу, Разин, ступив на крыльцо, накинул шубу воеводе на плечи — носи, да боле не проси! держу слово...

— Ой, то не ладно, Степан Тимофеевич!

Разин нахмурился.

— Уж ежели такая рухледь тебе, князь Семен, не гожа, то лучше нет.

— Шуба-т дивно хороша! эх, и шуба! да вишь, атаман, народу много, в народе же холопи Прозоровского есть, а доведут? и погонят в Москву доносы на меня...

— Чего Прозоровскому доносить, князь Семен? сам же имал мои поминки! не един ты...

— А жадность боярская какова, ведаешь, Степан?

— Я еще подумаю... будет ли срок ему доносить.

— Ой, не надо так, атаман удалой, пойдем-ка вот в горницы, да за пир сядем, и народ глазеть перестанет на нас.

От многих огней светел большой дом воеводы Прозоровского. Сам он стоит посреди палаты в новом становом кафтане из золотой парчи, дареной Разиным. Слуги наливают вино, мед и водку в серебряные чаши. Когда открывается дверь вниз в людские горницы, то видно по лестницам шагающих слуг с блюдами серебряными и лужеными. Воевода по очереди подходит к столам, заставленным кушаньями, по очереди и чину подает гостям из своих рук чаши с хмельным. Каждый гость, принимая чашу, кланяется в пояс хозяину. За столом среди иноземцев сидит брат воеводы Михаил Семенович Прозоровский, кричит воеводе хмельные хвалебные слова. У горок с серебром, между боковыми окнами, седой дворецкий

в черном бархате и два слуги в синих узких терликах — считая, выдают столовое серебро, чаши, если кому из гостей не хватает. В углу палаты ближе к входным дверям слуга на ручном органе, большом ящике на ножках, играет протяжные песни, орган гремит и тренькает. Несогласные со звуками музыки голоса военных немцев, англичан и голландцев звучат, спорят, хвалят хозяина; едят из небольших блюд руками. Кравчий с двумя слугами с серебряным котлом обходит столы, золоченой лопаткой прибавляет в блюда гостей кушанья.

— Зравит, храбрый князь!

— Много лет жить воеводе, богато и крепко!

— Русское спасибо, дорогие гости! вкушайте во здравие, служите честно великому государю моему, и милостью вас царь-государь не обойдет.

— Рады служить!

Воевода обводит мутными глазами гостей — при огне глаза Прозоровского зеленоваты, лицо его осунулось, проседи в длинной бороде как будто больше, князь задумчив и не весел.

— Да сядь же ты, братец Иван Семенович! Трудишься, а сам ничего не вкушаешь.

— Да, да, капитэн. Место князю и воеводе...

— Зетцт ер зих и радует унзерн блик [1]).

К органу пристали трубачи, голоса гостей среди медного гуда музыки едва слышны. Орган смолк, но к трубачам пристали сопельщики. От музыки дребезжат зеленоватые пузырчатые стекла в рамах окон — князь Иван недавно ими заменил слюду. Скамьи под гостями крыты ковром, на одну такую скамью за столом вскочил длинноногий, тощий немец в зеленом узком мундире, капитан Видерос. Воевода только что наполнил его чашу хмельным медом, Видерос кричит, тяжелая чаша мотается в его длинной тонкой руке, обтянутой мундиром, густые капли меда падают из чаши на ковер и головы пьяных гостей. Музыканты дуют в трубы, ответно трубам гудят сопели. Капитан махнул свободной рукой и, топыря редкие рыжеватые усы, крикнул, багровея в лице:

— Эй, музик тихо! я скажет злово! капитэнэ, вси ви да слушит.

Музыка затихла.

Капитан обтер пот со лба большим платком, на его узкой голове оттопырились потные белобрысые волосы, он продолжал, повизгивая на высоких нотах:

— Иноземцы! к вам будет мои злова — немцы, голландцы и англитчане... о, я должен говорить на иноземном, но хочу сказать русски, чтоб дорогой хозяин Иван Земенович понял мой реч... Да, знаю я, между вами есть лейте ди ельтер зинд альс их [2]), я говорю и ви ошен прошу слушит меня, вот! я Видерос унд Видрос злужу русской цар и всегда хочу умерет за них... цар любит иноземец! о, я много-то видал и вас, деутше [3]), прошу

---

[1]) Сядет и радует наши очи.

[2]) Люди старше меня.

[3]) Немцы.

злужит русской цар, злужит до конец жизни... и глядел я, почему наш либер [1]) хозяин воевода Иван Земеновитч ист нихт хейтер [2]), а вот почему задумчив он! под Астрахан сел воровской козак Расин, о ду либер химмель [3]), — то великое нешастье и я, как зольдат и стратег, знаю, что зие ошен опасно и надо от того крепит штадт Астрахан. Это я знаю... многий фольк [4]) дикий стекается к Астрахан. Расин им гехейм руфт ан [5]) рабов и дикарей из степ Заволжья; он им, склаве [6]), обещает дать поместья своих господ — бояр. Я знаю козак унд рейбер [7]) едино злово, едино дело и не от нынче одер морген [8]) они козаки трабят торговых людей на Волге. Мужик русский из веков — раб, он не может быть иным и жить без господина, ер ист шмутциг унд унгебильдет [9]); как черв мужик роется в земле и навозе, добывая себе пропитание, а господину своему золото... вир едле деутше унд андерэ ауслендер [10]) не можно итти з рабом — я знаю, что вы, едле капитэнэ [11]), не пойдете з рабами, но все ж, чтоб никто из нас вере нихт ферфюрт фон рейберн. Вам всем, едле капитэнэ, известно, кто из нас идет ханд ин ханд [12]) с чернью, тот гибнет, дас ист дас шикзаль [13]) римлянина Мария и других благородных, кто пошел с толпой рабов. Наша чест велит нам итти всегда за цар и бояра, эс лебе хох унзер бунт дер ауслендер [14])! да будем мы крепок межь себя! пусть наши тапферн кригер [15]) успокоят хозяина и воеводу, пусть глядит он, что мы его шутц унд хофнунг [16]). Пью здоровье князя Ивана Земеновича!

— Виват, воевода!

— Браво — Видрос!

Капитан, мотнув всем клочковатой головой, сошел со скамьи, выпил свой мед, поклонился Прозоровскому и сел.

Воевода сидел на своем месте выше других, он встал, подошел и, обняв, поцеловал Видероса.

— Благородный капитан Видерос заметил сумление моего лица — мы пируем здесь, Разин же чествуется моим товарищем — другим воеводой князем Семеном Львовым! — еще более гнусавя, Прозоровский прибавил, понизив голос: — сместить Семена Львова без указу великого

---

[1]) Дорогой.
[2]) Не весел.
[3]) О мой бог.
[4]) Народ.
[5]) Тайно призывает.
[6]) Рабам.
[7]) Казак и разбойник.
[8]) Или завтра.
[9]) Он грязен и невежествен.
[10]) Нам, благородным немцам и иным иностранцам.
[11]) Благородные капитаны.
[12]) Об руку.
[13]) Такова участь.
[14]) Да здравствует наш союз иностранцев!
[15]) Мужественные лица военных.
[16]) Оплот и надежда.

государя я не мочен, но знаю — крамола свила гнездо в его доме... какие речи ведут они меж собой, нам неведомо! воровской же атаман задарил воеводу поминками многими, и кто ведает — может статься, князь Семен, прельстясь дарами, продает Астрахань врагу? К Разину стеклось много народу, и Астрахань нам неотложно крепить надо... как говорит благородный капитан Видерос, тому же меня поучает и святейший митрополит Астраханский — «потребно, княже, затворить город, крепить его пока не поздно!», то слова — преосвященного.

— Братец! Иван Семенович, а забыл ты свои слова, когда говорил, принимая в палате воровских послов?

— Какие слова, Михайло, забыл я?

— А те — «что взять атамана, заковать и в Москву послать... шарпальникам под Астраханью тогда рече делать будет»!

— Так говорил я, князь Михайло! то подлинно...

— Хочешь не хочешь, я, дорогой мой брат, учиню самовольство, а таково — Стенька Разин, вор, нынче — в Астрахани. В городе, минуя шатких стрельцов, есть солдаты полковника пана Ружинского, народ надежный, подчиненный капитанам, храбрые же иноземцы, брат воевода Иван Семенович, не сумнюсь — они слуги великого государя и мне помогут на пользу Астрахани, я же буду рад исполнить твое давнишнее желание — я захвачу атамана, сдам, за крепкий караул заковав! о его сброде мужицком, да калмыках и думать не надо — без воровского батьки сами разбредутся семо и овамо...

— Эх, Михайло Семенович! — брат, ты не подумал, что у Сеньки князя не договорясь с ним ничего взять не можно.

— Возьмем и Сеньку, коли зачнет поперечить, да разбойничьим становщиком стал!

— Эх, брат Михайло! Сенька князь — боевой воевода — ему и стрельцы послушны, к ему посадские тянут — сила он... иное мыслью — укрепить город, а как с атаманом быть, о том не на пиру сказывать.

— Не удастся нам? что ж такое! пошлешь вору улестную грамоту: «брат де мой учинил в пьянстве».

— Идем, фюрст Микайло — берем золдат — идем!

Михаил Прозоровский вышел из-за стола, поклонился брату, подошел к Видеросу, подал капитану руку, и оба они исчезли. Мало-по-малу с пира уходили все иноземцы, кланяясь хозяину, иные ушли тайно. Бояре и жильцы еще пировали, хозяин ходил по палате с озабоченным лицом, подходил к окнам, всматривался в темноту. За кремлем в сумраке, все более черневшем, зажглись факелы собиравшейся дружины, потом явственно ударил набат.

— Пошел-таки? не дай бог!

Воевода приказал зажечь в углу перед образом лампаду, встал на колени и начал молиться. Гости тихо, не прощаясь с воеводой, расходились.

Окруженный слугами с факелами на широком резном крыльце стоял князь Семен Львов, под темным кафтаном сверкал панцырь, на голове воеводы шлем с прямым еловцем [1]), рука лежала на рукоятке сабли. Кругом крыльца пылают факелы, толпятся вооруженные люди, впереди всех до половины ступеней лестницы остановился с обнаженной саблей Михаил Прозоровский, ветер треплет его черную бороду, глаза блестят, он кричит:

— Князь Семен! подай нам вора атамана Разина Стеньку.

— В моем дому воров нет! — спокойно ответил и еще раз повторил воевода Львов, не меняя положения.

— Подай вора, князь Семен!

— Князь Михайло Семенович! Разину Степану великим государем вины отданы, и козакам его отданы ж, а по сему до указа государева, как быть с козаками впредь, лезти во хмелю, навалом с воинскими людьми к моему дому — стыд, позор и поруха государеву указу... я же того, кто прощен, хочу и чествую как гостя и гостя в моем дому брать никому не попущу... не от сей день служу я государеву службу, не жалея головы, избываю крамолу... ты же, князь Михайло, своим бесправьем, хмельной докукой сам кличешь на город войну!

— Подавай вора, Сенька, князь, или ударим с боем на тебя, заступника разбойного дела!

— А, ударишь с боем, Михайло, будем биться, пытать — чья возьмет, да особо судим будешь государем!

— В кольчугу влез? эк ты возлюбил воровские поминки — гей, солдаты!

— Есаулы! примите бой — мои холопи, да караульные стрельцы оружны и готовы!

Во двор ко Львову вбежал раненый солдат, крикнул:

— Вороти в обрат, князь Михайло! слободские мещане пошли на нас, до кои стрельцы с ними заедино балуют — с пищалей.

За воротами двора во мраке шла свалка — крики заглушались пальбой. Воевода Львов исчез с крыльца...

В горенке князя при свечах слуги, торопливо убирая, таскали серебряную посуду со стола. Разин встал из-за стола, когда подступили к крыльцу люди и раздались голоса. Он постоял у окна, глядя на огни факелов и лица солдат, на дворе двинул чалму на шапке и, берясь за саблю, шагнул из горенки. За порогом в сумраке воевода встретил атамана:

— Вертай-ка, гость, в избу!

— Хочу помочь тебе, князь Семен! Не по-моему то — хозяина бить будут, а я зреть на бой.

— В таком бою твоих есаулов будет, тебе не надо мешаться — охул на меня падет, пойдем-ка!

---

[1]) Еловец — шпиц шишака, шлема.

Воевода взял свечу, идя впереди лестницами и переходами, вывел атамана в сад. Свеча от ветра погасла. Воевода шел в темноту, пихнул ногой в черный тын, маячивший на звездном небе остреями столбов, открылась дверь.

— Лазь, атаман! Дай руку и ведай: не я на тебя навалом пошел, Прозоровских дело... на пиру согласились тебя взять! — Разин пожал, нащупав руку воеводы.

— Молыть лишне! знаю, князь; есаулов тож проведи.

— Уйдут целы — прощай!

За тыном перед глазами, за черным широким простором стлалось за линией каймы с зубцами широкое пространство мутно-серое, посыпанное тусклыми алмазами...

— Волга?

Кто-то, осторожно обнимая, придержал Разина.

— Тут ров, батько!

— А, Чикмаз!

— Е-ён самой! мы как учули набат и давай с Федьком Шелудяком орудовать, слободу подняли, допреж узнали, что Прозоровской Мишка иноземцев с салдатами взял тебя имать, мы в пору к салдатам приткнулись, да из тёмы — раз, два! пищальным боем и в топоры ударили... наши из темы не видны, Прозоровского люди все огнянны... тут, батько, мост; скрозь мост лазь и будешь за городом.

— Добро, Чикмаз! мыслю я к Астрахани приналечь — скоро чай твоя помога надобна будет?

— Того ждем, батько!

Пролезая путанные, влажные в мутных отсветах балки и поперечины моста, Разин сказал:

— Иди в пяту, не попадись Прозоровского сыщикам — я угляжу берег, дойду!

— Путь-дорога, Степан Тимофеевич!

XIX. Васька Ус.

Широкий простор Волги отсвечивает звездной россыпью на много верст... под ногами земля мутно серая... маячат ближние сакли татар на длинных хребтах повозок, чернеют лошади, отпущенные кормиться. В темноте лошади сторожко задирают черные головы, жмутся к жилью. Палатки казаков серы и тусклы, где-то проходит дозор, слышен негромкий окрик:

— Гей! кто-о?

— «Нечай»!

В большом шатре атамана сквозь полотно расплывчатые пятна огней.

— Шемаханская царевна ждет?

Атаман тихо шагает, чтоб поглядеть на персианку — как, оставшись одинокой, она живет в шатре. Прошел дозорный казак, узнал атамана. Разин, прислушиваясь к звукам своего жилья, подумал:

— Поет ли, говорит что? — подошел к шатру, чуть, приподняв полотнище, заглянул: на сундуках горели свечи, на атаманском месте на ковре и подушках полусидел длинный черноусый с калмыцкими, немного раскосыми глазами, с черными прямо на лоб и шею без завитков падающими волосами. На его плечо прилегла голыми руками, положив на руки голову, княжна, в шелковой тонкой рубахе. Персианка жадно слушала казака, казак говорил по-персидски. Разин поднял ногу шагнуть и медленно опустил.

— Жди, Стенько!

Казак говорил, покуривая трубку; докурив, вынул изо рта трубку, сунул в карман синего кафтана, повернул к княжне лицо, что-то спросил, она не ответила; тогда казак обхватил ее голову с распущенными косами левой рукой, на плече которой лежала девушка, поцеловал ее в глаза — она не отворачивалась; а когда казак отпустил, персианка заломила смуглые руки, глядя вверх, заплакала, редко мигая, начала что-то полушептать, видимо жалуясь. Казак погладил рукой по голове княжну, но она не изменила положения, он ударил себя кулаком по колену, сказал, как говорят клятву, какое-то незнакомое слово.

«Сторговались — в сани уклались!» — почему-то отозвалось в голове Разина много лет назад у Ириньицы в Москве сказанное юродивым, он ответил тому далекому голосу: — Да, сторговались!

Откинув завесу, шагнул в шатер. Казак быстро встал на ноги, княжна не шевельнулась, не взглянула на атамана, она так же сидела, заломив руки.

— Зейнеб, уходи.

Понимая много раз слышанное приказание господина, персианка, быстро, как и не была, исчезла. Казак, здороваясь, протянул руку, Разин не пожал руки, сел на свое место; сидя, открыл ближний сундук и, вытащив кувшин с вином, две чары серебряных налил.

— Сядь, Лавреев — пей!

Васька Ус сел, сказал, берясь за чару:

— Много скорбит, батько, девка по родине... спустить ее надо, увезти — не приручить к клети вольную птицу.

— Не я имал, Василей — имал княжну Петра Мокеев, любимой-памятной; спустить, память Мокеева забвенна станет... пей! едино есть, с Мокеевым мы сошлись на Волге... разве что Волгу поспрошать быть как?

Ус, опорожнив чару, заговорил просто, не хвастливо:

— Я для тебя Царицын занял, батько... шел с козаками, стал под городом — царицынцы затворились, мекали — ты идешь с боевым табором, потом пытали: «где ты?». Я сказал: «пошол-де Разин калмыков зорить»; сказ за сказом, глядят, мы — мирные, зачали ходить на Волгу за водой и, к колодцам выходя, караул ставили, чтоб козаки врасплох город не взяли... У меня же козакам наказано: «не шевелить вороха малого!». Стал я с посадскими беседы вести, с торговыми торговать без обману...

обыкли... водкой поить стал их, медами украинскими, чую — жалобят на воеводу: «так вы чего, говорю — кончайте лиходея».

— Пей, Василей!

— Заведите нас в город, коли самим не управиться с воеводскими захребетниками, а мы город не тронем... тайком привели попа — крест поцеловал, что не трону город. Они ночью караул разогнали, замок с ворот сбили и нас завели, воеводу мы повесили, Тургенева Тимоху. Головы стрелецкие стрельцов повели на Царицын, а мы тех стрельцов со стены в пушки взяли; голов, кто не сдался — утопили...

— То ладно, Василей! еще Астрахань возьмем, и будет нам с чем зиму зимовать... худо вот — девку ты метишь в Кизылбаши повезти? Не одну спустить — кумыки, а пуще лезгины полонят... устьманцы.

— Одну не можно спустить, батько!

— Ежели ты уйдешь с ней, где ж я такого найду, как ты? удалых мало — Сергей в Ряше, Серебрякова Ивана, да Петрушах кончил, ты же посторонь итти наровишь... думай сам, гляди! народ бежит к нам — народ простой, без боевой выучки с топором, луком да стрелой... с боярами дело будет крепкое, не все время нам посадских подговаривать. У царя с боярами иноземцы, орудийные мастеры, капитаны, да огнеприметчики. Выучка у иноземцев заморская, новая, а надобно нам ихнее изломить, свой зарок сполнить — на Москве у царя наверху подрать грамоты клязные, с народа же поместную крепость снять!

— Знаю, батько! тяжолое наше дело...

— Не легко, да взялись — пятить некуда... идет, ждет, дела просит народ! — ты же с бабой в Кизылбаши и там перекрасишься в перса.

— Не таю, батько Степан! с жалости, слово ей дал — увезти...

— Дать-то дал, да меня забыл? — все ж хозяин ясыря я... как же ты, ведаешь ведь — атаманский дуван даетца особой, любой, — никто руки к ему не тянет, из веков так — любое, атаману! Как и Сергей — названной брат ты... Сергей за меня голову сложил, надо было за него не думая и я сложил бы, в том сила наша... ты же не тот, что значит чужая кровь, не в пусте твоя мать была турчанка...

— Не турчанка, батько Степан — персиянка... учила меня суру читать, да кабы не отец, я был бы мухаммедан...

— Вот, то оно... — чужой ты!

— Как брату, батько: думал я, ты дашь девку, она и я смыслим друг друга... мне с ней путь один! тебя она — прости — не любит...

— Княжну не жаль! любви к ей нет... удалого же человека потерять — горько, и горько еще то, что ты, как Сергей, ничего не боишься, какой хошь бой примешь и удал — куда я шагнусь, атаманить можешь, не уронишь дела...

— Отдай мне персидку, батько! люблю я ее... полюбил, вот хошь убей.

— Приискал в шатрах место?

— Да, есть!

— Поди! проходить будешь ближний к солончакам шатер Степана Наумова — прикажи ему ко мне.

— Прощай, Тимофеич.

Разин сидел, глубоко задумавшись — локти уперлись в колени, большие руки зарылись в кудри. С виду второй Разин, только сутулее и уже в плечах, тронул атамана за локоть, садясь.

— На зов твой, батько!

— Да, Степан! да, да, да... — Разин надел шапку, тряхнул головой, налил два ковша крепкого меду, один выпил, другой поднес есаулу.

— Пей, атаман Степан Тимофеевич!

— Пошто? я Наумыч — батько!

Разин сказал упрямо:

— Ты — Степан Тимофеевич, знай!

— Что с тобой, батько? пришел в становище удалой — Васька Ус... казаков с тыщу привел, по пути Царицын сказывают заняли — сила твоя, что ни день, растет, слава ширится; а ты как ни в себе — вид твой скорбен?

— Понял так — будто я с глузда сполз? Нет, есаул! А, вот: наряжу я тебя в свою сбрую, дам чекан, которой много козаки знают, шапку с челмой с золотыми кистями вот эту нахлобучишь и замест меня на Дон поедешь с честью... за тобой, хо! потянут царевы лазутчики, доносить будут царю с боярами: «то де да это угодует Стенька Разин — Степан!». Я тут сидючи влезу в есаульскую рухледь, зачну носить кафтан с перехватом, сбоку прицеплю плеть-булаву, тебе дам... бороду коли занадобитца — сбрею, не голова, отрастет борода. Буду ведом атаманом в тай своим, ближним, для черни слыть зачну есаулом атаманским... сказки, вишь, идут про царевича: «от царя, бояр сбег к атаману, от того де заказное слово у Разина нечай». Нечаете как царевича узрите и то нам ладно, а тут еще я, подбавил сказки — наказал обволокчи черным сукном речной струг, посадил в черной однорядке с крестом на грудех попа сбеглого, схожего с растригой Никоном, коего на Москве зрел в патриархах, схож бородой и зраком поп, — на чорта нам Никон, да сказки прибавит... Тебе же, когда досуг падет на долю, глянуть истинного Никона придетца, шатнуть на бело-озеро в Ферапонтов, спытать его — не загоритца ли злобой на бояр? Ох, то ладно было бы! Всю бы Русь с им от женска рода до старческа подняли. Да нет, чую, сердцем и слухом чую — потух старик. Бояре, царь и многая приспешная царю сволочь путает, лжот, сказки пущает в народ, и мы зачнем лгать.

— Не осмыслил я, батько, тебя сразу... ты затеял ладно...

— Нынче так! — пушки кои в струги на дно кинем, паздерой [1]), да соломой засыплем, а тех, что не скрыть, ответишь воеводе — «надобны де нам теи пушки от немирных сыроядцев — пойдем степью с Царицына на Дон»! Уволокешь за собой речные струги, паузки плоскодонны и челны—

[1]) Паздера — кострика, иногда колосья ячменное и овсяное.

в греби народу тебе хватит, мужиков топорников сошлось много... худо то, есаул: бойцы наши сплошь сермяжны, лапотны к бою пищали несвычны, им не давалась пищаль — запрет от бояр, помещиков, от того, как цель держать — огнем дуют, оба ока заперты... обучать их, гляди, бояра времени не дадут?.. ну, чорт с ним! ваших голов мне жаль — своя на то идет... По Волге наплывешь, Степан, стрельцов ли салдат в колодках — сбивай путы, мани с собой — всяк дорог, кто к пищали свычен... Они и сами, колодники, шибутся на твой струг, пойдут... На Дон придешь, в Черкаск не бувай, матерым казакам не кажись — много с детства знают меня: стань ты при входе Донца в Дон на остров меж Качальницкой да Ведерниковой остров большой — кинь шатры, не медля строй на острове бурдюжной город, окопай рвом, роскаты наруби, тут тебе топорники гожи — народу с тобой будет довольно, да в скорости, как пойдут купчины в паузках к Черкаскому, имай их, давай торговать и хлеб скупай, чтоб голоду не было — сострой для хлеба анбары, сыпь и в запас купи. В Черкаск пошли надежного человека, мани к себе мою жену с детми. Фролка брат с Лавреевым вышел, да где сидит, не дошел еще сюда... Олене уясни правду, а робята меня не знают — за отца сочтут, и ты для глаз чужих их ласти. Олена — та о всем смолчит... Матерым казакам, кои пришлют по деньги — за свинец, порох, деньги дай — не сам прими их, пущай Олена с ними. Бурдюк матерым не кажи и пристрою зреть не давай... ко времени я доспею в твой Качальник, ты же тайным путем исчахнешь в Астрахань, замест меня здесь сядет в тое время Лавреев Васька Ус. Еще отпиши скоро как на Дону будешь в Яйк, чтоб яицкие из тюрьмы спустили Федора Сукнина: имали его, когда с Кизылбаши шел — яицкие из веков послушны Дону... я Сукнина отселе мыслю достать, но все же пиши в Яйк... чего не пьешь?

— Сказывай еще — слушаю тебя, батько! думаю — когда велишь сбиратца?

— Времени мало — повещу! пождать надо от воеводы грамоту, чтоб путь твой, Степан Тимофеевич, без поперечки был с честью, с проводами голов стрелецких. Ты к сапогам каблуки набей выше, я же тебе кафтан сготовлю с подплечьями шире плеч для... брови сурьми. Голоса не давай во-всю — маши чеканом, да рычи... иногды, когда потребно — лицо подзавешай... сказка так сказка! царевы грамоты стренешь — имай, дери и мечи в воду, то в огонь.

— Эх, батько! Почести мне сколь? Ну и сказка... хе-хе...

— Сыска за тобой больше почести будет, сказываю... аргамаков, что царю купчины тезики везли, возьмешь, и лишнюю рухледь, узорочье тож... в Царицыне сыщи прежнего воеводу... не убей, погонят ладом чорта!

— Унковской, батько, доглядчик — знаю, и он знать будет меня!

— Поди, Степан! Проверь дозор и спи.

Разин проводил есаула за шатер. Вернулся. Приподнял с боку фараганский ковер. На низком резном табурете как всегда горели три

свечи. На подушках, раскиданных на ковре под тонким, шелковым покрывалом, спала княжна. Маленькая голая до колена нога с крашенными киноварью ногтями высосывалась на ковер, нежные пальцы ноги шевелились во сне... Смуглые руки в браслетах закинуты за голову, бледное лицо повернуто в тень. На щеке тлеет ярко очерченный румянец. Тяжелое с хрипом дыхание шевелит в розовом ухе дорогую серьгу с изумрудами, в ноздре изогнутого носа видна зажившая ранка от кольца — украшения. Под тонким шелком, голубовато-бледным, голая фигура вздрагивавшей во сне девушки, явно больной — все же была невыразимо красива. Атаман, опираясь, дернул ковер, вздрогнул весь большой шатер, от могучего движения складки на лбу атамана разгладились, глаза ласково светили, минуту он глядел, пока не опустилась на грудь седеющими кудрями голова, тогда он мотнул головой, вкинулись концы чалмы, отвернул лицо, вздохнул.

— Не верю крестам... верил, то перекрестил бы безгласную понашему, будто птицу в гае уловленную сетьми... жалобит иной раз... поет тоже, а что поет? как у птицы неосмысленно моим умом... Эх, к чорту! да... Ваську жаль, жаль и ее чужую... вот коли вырвешь что жалобит, то много легше...

Не гася огней, не раздеваясь, атаман пал на ковры, звякнув саблей и цепью сверкнув. Шапка с чалмой скатилась с головы — Разин захрапел, иногда, переставая храпеть, словно прислушиваясь, скрипел во сне зубами. За шатром в слободе лаяли собаки, в городе им отвечали более отдаленным лаем. Лай смолк. Высоко в звездном небе слышен неровный, грустный звон — то на раскате перед Астраханским собором церковный сторож, он же часовой-досмотрщик выбивал согласно стрелкам часы.

— Раз! два! — и так до восьми [1]), что значило — полночь, «двенадцать часов».

Вблизи шатра атамана в сумраке беззвучно тенью проплывал человек дозора с пищалью на плече, он слышал, как из татарской сакли мутной, на мутных колесах-подпорках, кто-то злым голосом ругал женщину, ушедшую в тьму.

— Иблис! шайтан, шайтан, Иблис! [2])

Лающая голова словно башлыком прикрыта войлочными полами входа.

В приказной палате три подьячих — два молодых и пожилой любимец воеводы Петр Алексеев с желтым узким лицом; по его русо-рыжеватым волосикам, жидким, гладко примазанным к темени, натянут черный ремень. Думного дьяка за столом нет, нет и подручных дьяков. Перед подьячими бумаги. Кроме Алексеева с дьяками, подьячие, что помоложе, обязаны читать вслух бумаги, но без старших сегодня не блюдут правил.

---

[1]) Страни. счет часов вперед был почти на 4, 4 часа.

[2]) Дьявол! чорт, чорт, дьявол! Татарск.

Лишь один самый молодой румяный, с яркой царапиной на лбу, с рыжей щетинкой усов бубнил, старательно выговаривая каждое слово, как бы учась читать грамоты перед самим воеводой. Читал бумагу подьячий с пропусками. Алексеев сказал:

— Заставлю тебя, Митька, чести заново!

Парень не слушая продолжал:

— «... и та лошедь записана и ему Павлу Матюшину та лошедь с роспискою отдана, а как спросят тое лошедь и ему Павлу поставить ее за порукою астраханского стрельца годовальщика Андрюшки Лебедева, да другово стрельца Сеньки Каретникова. Они в той лошеди ручались, что ему Павлу Матюшину тое лошедь поставить на Астрахани перед воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского, а буде та лошедь утеряетца и ему Павлу цену плотить. Во 177 году Августа в 3 день астраханской стрелец Гришка Чикмаз оценил тое лошедь, что привел Павел Матюшин — кобылу коуру, грива направе, осьми лет, на левом боку надорец [1]), а по оценке ценовщика дать с полугривною тридцать алтын». — Прочитав, подьячий потянулся, зевнул.

— Покрести рот, не влез бы чорт!

Парень не ответил Алексееву; обмакнув остро очиненное перо в чернильницу на ремне, звонко прихлопнув железную крышку ее толстым пальцем, на полях лошадиной записи приписал:

«Ой, и свербят же мои!»

Алексеев схватил подьячего за рукав.

— Закинь, Митька, грамоты марать! ась, бит будешь...

Подьячий, освободив руку, отряхнул с гусиного пера мусор, дописал:

«Ой, и свербят! Дела просят...».

— Пишу я, Лексеич, а думаю: кому сю бумагу чести? Жилец астраханской, едино, что дворенин, угнал у татарина лошедь и не явит перед воеводу — деньги даст; суди сам — чего не дать за матерую кобылу тридцеть алтын? Татарину жалобить некуда: сам он без языка — писма не разумеет, а мурзы татарские взяты все аманатами [2]) на Астрахань.

— Велико-то дело, не приведет! ты вот к юртам татарским ходишь, путем дорогой к шарпальникам Разина, мотри, парень! Имал я, кои прелестные письма воровские, и, вишь, в письмах тех рукописание схоже с твоим, а-ась? Ты — Васе. Закинь тоже грамоты живописать... бит был, чуть не сместили, вот...

Другой подьячий, водя по щеке концом языка, рисуя на полях, ответил:

— Нам с Митюшкой, Петр Лексеев, ладных грамот не дают чести, худую же украсить надо, може, на ее тож очи вскинут.

---

[1]) Надорец — надорвано, оцарапано глубоко.

[2]) Аманат — заложник.

— Ну, ась, робята! беда с вами, придут дьяки, узрят, вопросят, пошто челобитные марают словами матерны? Пошто живописуют чувствилища мерзкие? — я же за вами доглядчик.

— Дьяки ништо, Петр Ляксеев! вот худо — воеводе в ухо дуешь всякую малость... должон как и мы чести челобитные, да судные грамоты, ты же — гибельщик наш, едино что.

— Доводить буду! пришел делать, не озоруй, всяка бумага она тебе — государево дело.

Младшие подвинулись на скамье.

— Слушь, Мить? седни сошлось, что с Петрой одни мы, а дайкось надерем бок гибельщику.

— Давай! може, лишне доводить кинет?

Лица парней оскалились, оба, вскочив, скрипнули скамьями, сдвинули синие рукава нанковых кафтанов к локтям, тот, что рисовал, искрясь глазами, крикнул:

— Ладим тебе, Петрушка, по-иному волосье зачесать!

— Парни, ась, в палате бой, не на улице, за государевым делом! закиньте, парни...

— А, где прилучилось! вишь — у тя за обносы дареной кафтан не мят?

— То, само! мы-те из кафтана лишнюю паздеру выбьем, бока колоть не будет... хи...

Любимец воеводы нырнул под стол.

— Ведайте, разбойники! не на площади бой — сыщут...

— Мы тя сыщем, княжая чадь!

— Пинай! Он тута.

— Глобозкой, дьявол!

— Попал вот... мы-те живописуем архандела сапогами на...

— Чу!?

В дверь приказной палаты знакомо стукнул набалдашник посоха.

— Мить! Воевода! Сними щеколду.

Подьячий поднял сваленную на пол скамью, сел за стол, мазнул широкой ладонью по лицу, стирая пот. Другой пошел к двери, воевода повторил стук строго и раздельно. Алексеев вылез на место, взялся за бумаги.

— Годи, чорт! ужо за язык...

Алексеев, читая грамоту, тихо ответил:

— Ась седни что было, не умолчу...

— Доводи — чорт тя ешь!

Воевода, глядя тусклыми глазами в даль, прошел по палате, не замечая, не слыша подьячих, он неспешно затворился в воеводской горнице. Деревянная постройка гулка, Прозоровский из-за двери позвал:

— Алексеев!

— Чую, ась!

Старший подьячий, неслышно пройдя к воеводе, плотно припер двери.

— Быть нам битыми?..

— Убить его, Митька, да бежать!

— Чем здесь, краше атаману писать прелестные письма.

— Уй, тише ты-ы!..

Из горницы донесся голос.

— Сядь, слушай, что буду сказывать!

— Чую, ась, князинька!

Все до слова слышно было в приказную — воевода говорил, гнусавя, но громко и раздельно.

— Пиши! «грамоты атаману Степану Разину от воеводы Астраханского князя Ивана Семеновича Прозоровского». Что-то перо твое втыкает?

— Кончил, ась, я князинька!

— «Не ладно, атаман, чинишь ты, приказывая мног народ беглой к Астрахани и надобно тебе распустить, а не манить людей, чтоб тем не чинить нелюбовья от великого государя и ехати тебе в скорости в войско донское чего для службы в войске за многая вины своя перед землей русской и великим государем, а послушен станешь старшине войсковой, великий государь вменит нелюбье в милость тебе. За тое дело, что нынче на Астрахани князь Михайло Семенович на тебя во хмелю бранные слова говорил, то ты, атаман Степан Разин, в обиду себе не зачти... мног люд, стекшийся к Астрахани, опасен ему, хмельному, стался и тебе он хотел говорить: чтоб ты, распустив мужиков, калмыков и иной народ, снявшись со становища, ехал бы в войско донское... я же непрошенному попущению много сердился и перед князем Семеном Львовым за братнее неучтивство бил челом. Нынче сдай ты, атаман, струги, пушки да снимись в путь по здорову, мы же тебе с князь Семеном перед великим государем верные заступники и молители будем».

— Исписал? добро! дай-ко грамоту, я подпишусь.

В палате подьячий шепнул:

— Мить! скинь сапоги, слушай... чай, доводить, сука, зачнет?

Младший, быстро сняв сапоги, подобрался к дверям; за дверями Алексеев тихо наговаривал:

— Беда, ась, князинька! от служилых лай, да седни подьячие Васька с Митькой — норовили меня бить, и ты вшол, закинули... едино лишь за то, что дал запрет: Митька на полях челобитных с отписками марает похабны слова, хуже еще Васка — на черной грамоте игумну Троецкого исписал голое гузно, да не показуемое чувствилище уд коний, оно после, как я углядел, из вапницы [1]) киноварью покрыл, борзописал на том месте буки слово, тем воровство свое закрасил и завилью золотной завирал. Митька же ходит за город в татарские юрты, и ведаю я, походя вору Стеньке Разину прелестные письма орудует... про аманатов, мурз судит, что взяты на Астрахань...

---

[1]) Вапы — краски. Вапница — род чернильницы с краской.

— Ты, Петр, до поры подьячих тех не пугай... сойдет время Митьку, того для, велю взять в пытошную и допросить с пристрастием... Ваське батогов!

Подьячий, спешно обуваясь, дрожал.

— Ты што, Мить?

— Довел — тебе батоги, меня пытать.

— Не бойсь, седни же в ночь бежим к казакам.

Дверь отворилась, мелькнул воевода за столом с рукой в перстнях, упертой в бороду... Подьячий Алексеев, тая злую улыбку на желтом лице, деловито шел к столу приказной, стараясь не глядеть на младших.

XX. В память Мокеева.

До времени, как быть золоченому широко-палубному паузку на Волге, она не носила в волнах столь разряженного суденышка хотя бы мало похожего на атаманское с золотыми из парчи парусами. Большой царский корабль, недавно приведенный к Астрахани из Москвы, казался нищим с белой надписью на смоляных боках «Орел»; на нем, на мачтах и реях серые паруса плотно подобраны, железные пушки по бортам выглядывали ржавыми жерлами, из гребных окошек неуклюже торчали тяжелые лопасти весел. Усатый немец в синем куцом мундире с медными пуговицами по груди до пупа стоял на носу, курил трубку, сплюнув в Волгу, сказал:

— Na jeezt wiro was? Die Räuber legen sich goldene Kleides an, — обернулся к палубе, крикнул: — Гей, пушкар! гляди пушка.

Разряженная лодка, огибая корабль, проплывала мимо — на гребцах парчевые и голубые бархатные кафтаны, красные шапки в жемчугах, с кистями, чалмами, намотанными поверх шапок. Кто-то поднял голову на высокую корму черного корабля, крикнул, заглушая плеск волн:

— Годи, царской ворон! Мы те под крылье огню дадим.

Посадский и слободской люд, даже жильцы в красных кафтанах и астраханские, из небольших бояре, вышли на берег глядеть на атамана. В толпе ветер перекидывал гул голосов:

— Уезжает атаман!

— Ку-у-ды?

— В Москву! царь зовет... царевича повозит — Ляксея... соскучил царь-от!

— На Дон — сказывают, пошто в Москву? народ кинуть надобе.

— В Москву-у! глянь с царевичем в обнимку сидит.

— Ой, людие! где ваш зор? — то персицка княжна-а...

— Княжна-а?

---

[1]) Что-то будет? Разбойники наряжаются в золотые одежды!

— И-и-х! хороша же ёна.

— Ясырка! что в их? ни веры нашей, ни говорй.

— Пошто вера? сами-от Разин мясы ест в посты.

— Теляти-ну-у!

— Телятину? тьфу ты!

Раскатисто набегали волны поверх гребней своих сине-зеленых, сыпали белыми тающими жемчугами — шипели, будто оттачивая булат... Атаман в ярко красной чюге [1]); из коротких рукавов чюги высунулись узкие золотистого шелка. Правая рука с перстнем, обняв за шею княжну. висела, спустившись с худенького плеча. Княжна горбилась под тяжестью руки господина. Разин, склонясь, заглядывал красавице в глаза, она потупила глаза, спрятала в густые ресницы. Зная, что персианка разумеет татарское, спрашивал:

— Ярата-син, Зейнеб? [2])

— Ни ярата, ни лубит... — мотнула красивой головой в цветных шелках, а что тяжело ее тонкой шее под богатырской рукой, сказать не умеет и боится снять руку — горбится все ниже.

Разин сам снял руку, — подняв голову, сказал:

— Гей, дид вологженин! играй бувальщину.

Подслеповатый бахарь старик в синем кафтане в серой бараньей шапке, щипнув струны домры, отозвался:

— Иную, батюшко, лажу сыграть... бояр потешить, что с берега глядят, да и немчин с корабля пущай чует...

— Играй!

Старик, подыгрывая домрой, запел. Ветер кусками швырял его слова, то на Волгу, то на берег:

Эй, вы, головы боярские,
В шапках с жемчугом кичливые!

— О-то, дид — ладно.

Не подумали вы думушку,
То с веков не пало на душу,
Что шатнет народ в повольницо...

— Дуже!

Скиньте, сбросьте крепость пашенну
Со покосов да со наймищей,
Слуш! не скинете, так чорной люд
Атамана позовет на вас!
Топоры наточит кованы...
Точит, точит, ой, уж точит он...
Глянь в боярски хлынет терема
Со примет, с хором огонь лалой.

[1]) Узкий кафтан с рукавами до локтей.

[2]) Любишь?

— Хе, пошло огню, дид! пошло!..

Не стоять броне ни панцырю,
Ни мечу-сабле с канчарами
Супротив народной силушки...

— Дуже, дид!

Гей, крепчай, народ, пались душой!
Засекай засеки по лесу...
Засекай, секи, секи, секи!

— вторила домра...

Наберись поболе удали,
Пусть же ведают, сколь силы есть!
Ох, закинут люди чорные
Ту налогу воеводину.
Позабудется и сказ указ,
Что мужик — лопотье рванос.
Что лишь лапотник, да пашенник —
Что сума он переметная...
Киньте ж зор с роскатов башельных:
У царя, да у боярина,
Да у стольника у царскова
Изодрался парчевой кафтан!
Побусело яро-золото,
Скатны жемчуги рассыпались...
У попов, чернцов, да пископов
Засвербило в глотке посуху,
Уж я чую гласы плачущи
На могилах-керстах княжецких!
Ой-ли, ких по ких княженецкиих...

— Гей, мои крайчие! — чару игрецу, хмельного-о!

— Пей, любимой бахарь мой, сказитель — ярата-синь, Зейнеб?

— Ни лубит Зейнеб! ни...

— Поднесли игрецу? дайте же мне добрую чарапуху!

Атаман вслед за певцом выпил ковш вина, утер бороду, усы, огляделся грозно и крикнул:

— Гой, други! пляшите, бейте в тулумбасы, вишь матка Волга играть пошла... мое же сердце плясать хочет!

Волны громоздились и падали, паузок кидало на ширине, как перо в ветер над полями. Заиграли сопельщики, те, что имели бубны, ударили по ним, кто-то, мотаясь пьяный, плясал, ухая, и в шуме этом нарастал могучий шум Волги... Атаман поднялся во весь рост, незаметно в его руках ребенком вскинулась княжна.

— Ярата-син, Зейнеб?

— Ни...

В воздухе в брызгах мелькнули золотые одежды, голубым парусом надулся шелк, и светлое распласталось в бесконечных оскаленных глотках волн, синих с белыми зубами гребней, на скамью паузки покатился зеленый башмак с золоченым каблуком.

— Ио алла!

Страшный голос грянул, достигая ближнего берега:

— Примай, Волга! сглони, родная моя, последню память Петры Мокеева!

Сопельщики примолкли. Бубны перестали звенеть медью.

— Греби, — махнул рукой атаман, — играй, черти!

Светлое пятно захлестнулось синим широким и ненасытным. Народ на берегу взвыл:

— Ки-и-ну-ул!

— Утопла-а!

— На том свету — царство ей персицкое!

Разин сел, голова повисла, потом взметнулись золотые кисти чалмы на шапке, позвал не громко:

— Дид-вологженин, потешь! сыграй ты всем нам про измену братню...

— Чую, батюшко! ой, атаманушко, оторвал, я знаю, ты клок от сердца? Неладно...

— Играй, пес! за такие слова... молчи-и! люблю тебя, бахарь, то быть бы тебе в Волге...

— Ни гуну боле — молчу!

Старик начал щипать струны. Бубны и сопели атаманских игрецов затихли. Никто, даже сказочник, не смели глядеть в лицо атаману. Старик, надвинув шапку, опустив голову, что-то припоминал; атаман, нахмурясь, ждал. Вологжанин запел:

Эх, завистные изменьщики,
Братней дружбы нелюбявые...

— Шибче, дид! Волга чуять мне мешает...

Уменьшив тренькание домры, старик прибавил голоса:

Дети-детушки собачии,
Шуны-шаны, песьи головы!
К кабаку вас тянет по свету,
Ночью темной с кабака долой...

— Го, дид, люблю и я кабак!

— Играю я, атаманушко, про изменьщиков — ты же в дружбе крепок...

Вишь, измена пала на сердце...
Пьете-лаете собакою,
С матерщиной отрыгаете...
Вы казну цареву множите,
До креста рубаху скинувши,
Знать, мутит измена душеньку?..

— Чую теперь — добро, выпьем-ка вот меду!

Подали мед, атаман стукнул ковшом в ковш старика, а когда бахарь утер усы, атаман, закрыв лицо чалмой, опустив голову, слушал.

Эх, не жаль вам, запропащие,
Животы развеять по ветру,
Кое сдуру срамоты деля
От того, что веры не было —
В дружбу брата своекровного!
Все пойдет собакам в лаяло,
Что ж останетца изменщику?
Шуны-шаны — кол да матица...

— Откуда ты, старой, такие слова берешь?

— Из души, батюшко, отколупываю печинки...

— Гей, други, к берегу вертай!.. — прибавил тихо: — тошно, дид, тошно...

— А, ведаю я, атаманушко, сказывал...

— Не от того тошно, что любявое утопло — от того вишь злое зачнется меж браты... ну, ни што!

XXI. Слухи и дела.

В горнице приказной палаты воевода Прозоровский сидел, привычно уперев руку с перстнями в бороду, локоть о стол, а тусклыми глазами уперся в стену; не глядя допрашивал подьячего. Рыжевато-русый любимец воеводы, ерзая и припрыгивая на дьяческой скамье у дверей, крутя в руках ремешок, упавший с головы, доводил торопливо:

— Подьячие, Васька с Митькой, сбегли, ась, князинька, к ворам.

Строго и недоуменно воевода гнусил:

— Ведь нынче Разин сшел на Дон, — что ж они у воров зачнут орудовать?

— Робята бойкие и на язык и на грамоту вострые, ась, князинька, да и не одни они, стрельцы и достальной мелкой люд, служилой бежит что ни день к ворам... то я углядел... Нынче вот сбегли двое стрельцов — годовальщики Андрюшка Лебедев с Каретниковым, пищали тож прихватили...

— Ой, Петр! оно не ладно... Должно статься, Разин с пути оборотит.

— Мекаю и я, князинька, малым умом, что оборотит.

— Ну, так вот! время шаткое, сидеть за пирами да говорей некогда — набери ты сыскных людей... в тай делай, одежьтесь кое посацкими, кое стрельцами и ну походите с народом, в стан воровской, гляньте... После оного сыщи меня — не здесь, так иди в кремль, а я упрежу людей тебя принять, ночью ли днем однако...

— Чую, ась, князинька!

— Поди! слышу ход князя Михайлы.

Подьячего Алексеева сменил брат воеводы. Подняв гордо голову, поглаживая холеной пухлой рукой бороду, говорил раскатисто:

— Ну, слава Христу! сбыли разбойника. — Остановился против стола, где сидел воевода, прибавил хвастливо: — я, воевода брат, князь Иван, дело большое орудую... набираю рейтаров из черкес, и знаешь ли к тому клонятца мои помощники делу — купчины, персы, армяне — деньги дают, а говорят: «В Астрахани нынче перской посол, так чтоб его не обидели!». Я же иное мыслю — накуплю много людей, да коней и всю эту разинскую сволочь от Астрахани в степи забью, чтоб пушины малой от ее не осталось; тайшей калмыцких да арыксакалов [1]) ихних на аркане приведу в Астрахань, вот! что ты скажешь?

— Уйди-ко, князь Михайло! не мельтеши в глазах, мешаешь моим мыслям...

Князь Михаил, слыша строгий голос брата, отошел, сел на дьяческую скамью.

— Что ж ты, брат Иван Семенович, не молышь — ладно ли, нет, думаю.

— Прыт кость ног твоих, князь Михаило, много мешает голове!

— Нече бога гневить! — похвалил воевода брата.

— Бога, Михаило, не тронь. Скажи ты, за стрельцами доглядывал нынче?

— Стрельцы, брат, у голов стрелецких в дозоре, не любят, ежели кто копаетца в их порядках.

— Чтоб не было ухода в пути беглых к разбойникам, князь Михайло, того для, головы почесть все посланы с Разиным доглядчиками порядку в дороге... знаешь ли оное?

— Нет, воевода князь! уж как хочешь, а за стрельцами глядеть не мое дело.

— Дело не твое, наше обчее... А слышал ли, что служилые и стрельцы бегут в казаки?

— Того не ведаю, брат!

— Не ведаешь? вот то оно! А не глядел ли ты, Михайло князь, пошто мирные, государевы татарски юрты с улусов своих зачинают шевелитца — на Чилгир идут?

— Ой, брат Иван! татара зиму чуют... скотина тощеет, корму для, прибирают место...

— Корму для? а не доглядывал ли ты, брат, пошто калмыки с ордынских степей, дальные наезженные сакмы кинули, торят новые и новые сакмы ведут все на Астрахань?

— Нет, того я не знаю!

— Ты мало знаешь, князь Михайло! Конницу рейтаров верстай, то гоже нам.

— Что-то от меня таишь, брат Иван Семенович, а пошто?

— Пожду сказывать... погляжу еще, подумаю — тебя же оповещу: думаю я крепить Астрахань, и ты мне в том помогай.

---

[1]) Калмыцк. — старшина.

— Ну, братец Иван! Астрахань много крепка, лишне печешься?

— Буду крепить город! ты поди на свои дела — позову, коли надобен будешь.

XXII. В стану.

Атаман, одетый в есаульский синий жупан с перехватом, в простой запорожской шапке сидел на ковре, задумавшись, тряхнул головой, позвал:

— Гей, Митрей!

Из-за фараганского ковра другой половины вывернулся молодой подьячий, одетый казаком.

— Садись! — казак сел, — двинься ближе! — бывший подьячий придвинулся. Разину видно стало ясно его лицо с рыжеватой короткой щетиной усов, с царапиной на лбу. — Это кто тебе примету дал?

— Я, батько, служил у воеводы, а ходил в таборы и к тебе грамоты писать... У воеводы есть такая сука, доводчик Алексеев зоветца, стал меня знать на тайном деле, и раз лезу я этта скрозь надолбы, а меня кто-то цап, да копыта у его сглезнули... сунул ево пинком в брюхо, он за черева сгребся, сел и заорал коровой. Я же в город сбег, укрылся...

— Вишь заслужил! — чем же ловил он тебя?

— Должно крюком, аль кошкой железной?

— Ловок ты, да сотти к нам пришлось... мы не обидим, ежли — чужие не убьют... Исписал ли грамоты в море на струги?

— То все справлено, батько! Окромя тых, калмыкам исписал, как указал ты... На стругах Васька орудует — уж с устья к Астрахани движутца струги...

— То знаю я!

— Голов стрелецких пербили, к тебе мало кто не идет, все, а Васька хитер и говорить горазд. — Немчинов разумеет!

— Ладные вы мне попали, соколята! Вот, Митрей, пошто ты занадобился — вечереет вишь, ты иди в слободу, что у стены города крайняя стоит, глянь в хату — нет ли огню? Только берегись! сторожко иди... воевода сыщиков пустил, не уловили б... дойдешь огонь, прибирайся туда с оглядкой, дабы не уследили...

— Знаю, батько!

— В хате живет стрелец, вот на! — Атаман снял с пальца золотой перстень с ярко красным лалом, подал парню: — узорочье это дашь стрельцу, скажешь: «Чикмаз! атаман ждет».

— Я стрельца, батько, знаю — Гришкой звать.

— Добро! ты у меня золотой...

— Сыщикам обвести не дам себя — в лицо иных помню.

— Тоже не худо! Ежели нет Чикмаза в хате, проберись тайными ходами в Астрахань... ворота поди заперты? от того тебя шлю, что город с неба и с под земли ведаешь.

Бывший подьячий встал.

— Я, батько, едино где доберусь Чикмаза!

— Коя к месту, возьми рухледь стрельца, то посацкого — там вон в сундуке, лицо подчерни — был подьячим, подьячие много народу ведомы.

Парень оделся стрельцом, нацепил саблю. Атаман поправил его.

— Лучше б взял бердыш, саблю не знаешь как носить, подтяни кушак... саблю не опускай низко.

— Ништо — я с саблей иду.

Переодетый ушел. Атаман задремал, привалясь на подушки. Старик сказочник, кряхтя и ощупываясь, вышел из-за ковра, неслышно шагая в валяных опорках, высек огня, зажег свечи. Атаман на огонь открыл глаза, обмахнув лицо рукой, встал.

— Дид! тут хозяйствуй... Кто нужной зайдет в шатер, прими... Пуще гляди — не давай лазать в ларец — там грамоты...

— Я, батюшко атаманушко, знаю, строго зачну доможирить...

— Хочешь вино, мед — пей, не упивайся много!

Поправив шапку, атаман вышел. Тьма, надвигаясь краем неба, светлела — с низин от моря вставал крупный месяц. Разин шел медленно будто нехотя к дальнему шатру, черному на тускло сверкающем фоне солончака. Толстая свеча горела, на нее летели какие-то мухи, облепляя копоскими точками наплывшее сало. Во весь шатер лицом вниз лежал большой человек в малиновой рубахе, без пояса. Могучая спина черноволосого топырясь вздрагивала, будто он рыдал беззвучно.

Разин войдя позвал:

— Лавреич!.

Васька Ус лежал по-прежнему, не слыша зова. Атаман шагнул, встал около головы лежащего есаула на одно колено, положил руку ему на спину. Васька Ус дернул спиной, поднял лицо, в зубах у него была закушена шапка, он выдохнул — шапка упала. Не опуская головы, сказал диким полушопотом:

— Не тронь меня, Стенько!

— Да что ты с глузда сшел? Есть о ком, о бабе тужить!

Ус упал лицом в шапку и тем же придушенным голосом продолжал:

— Брат ты, или чужой мне? не ведаю — ум мутится... Утопил пошто? тебе ненадобна — мне не дал...

— За то утопил, чтоб ты не сшел, кинь!.. Волга ее, да Хвалынморе укачают к Дербени... родная земля — кою она почитала больше нас чужих, станет постелью ей... Чего скорбеть? хрыпучая была, иной раз кровью блевала и век ей едино одно — был не долог... горесть с тебя и с себя снял! худче было б к ей прилепиться крепко, она же покойник явно.

— Стенько! уйду от тебя... сердце ты мне окровавил... не уйду, може, то еще худче будет...

— Печаль минет, Василей! Минет! век я о жонках не тосковал, и тебе не надо — баб много будет!

— Нынче мне краше быть едину, — уйди, брат!

— Вот, то надо! чую, Василей, а дай рукой спину тебе проведу.

— Не тронь? Руки объем.

— О-то, глупой! Хошь железа укусить?

Веяло колким холодком. Высоко месяц — светло. Разин вгляделся, подумал:

«Царевы снимаютца?»

Скрипели телеги, ржали кони, мыргал и мычал скот. Недалеко чернел маленький осел, надоедливо захлебываясь, кричал: его звонко палкой била татарка, отмахнув чадру.

— Иблис! Иблис! [1]).

Рев осла был на одном и том же месте.

На длинных телегах, от света месяца отливая рыжим, передвигались шатры войлочных саклей. Татарки с завешенными лицами сидели на ослах, верблюдах и быках. Шли стада козлов, коз и баранов — всяк тащил что было. На небольшом осле сидел сгорбенный старик, изредка трусил зерна в решето на мешке перед седлом, в решете на дерюге, порхались две курицы, не видя что клевать ночью. Впереди каравана, в чалмах и овчинных шапках, в шубах шерстью вверх, на мохнатых лошадях — от коротких стремян скорчив ноги и сами пригнувшись, с саадаками за спиной, с луками у седла, с плетьми ехали татаре. Распавшись на звенья, караван частью поспевал к мосту, частью шел по мосту. Мост на Крымскую сторону на плоскодонных в две доски торцом вверх над водой барках (сандалях) скрипел, трещал связями и вздрагивал.

У въезда на мост — рослый татарин, начальник улуса на черной лошади в черной шубе мехом наружу, как у всех, в кольчуге под шубой с саадаком и луком у седла, поперек седла рыжел его кафтан, подбитый лисицей. Начальник с топором в правой руке с плетью в левой кричал, когда въезжали на мост:

— Нищя кши? [2])

Лица его под черной мохнатой шапкой не видно — сверкали глаза и зубы, да позванивал панцырь. Он следил, чтоб не перегрузили мост, через который от перебегающей тяжести, местами серебряной парчей шелестела вода.

— Нищя кши?! — сверкал топор, глаза, и звенел панцырь. Ему называли число людей, скота. Он махал левой рукой с плетью, опустив вниз правую с топором. Набегала другая волна людей, он подымал топор, и лезвее зловеще светилось.

Если же на мосту замедлялся проход каравана, начальник, подняв вверх длинную руку с топором, выл волком:

— Ки-и-м бул? шайтан! [3]) ки-им бул?!

---

[1]) Дьявол.

[2]) Сколько человек?

[3]) Кто там? Чорт!

За рекой стонало.

— Чи-л-ги-и-р!

— Йок-ши-и! [1]

— Ким бу-у-л?! шаита-а-н!

Казаки вышли из шатров, кричали, иные спрашивали:

— Куды их чорт взял?

— Неделю идут... не приметил ране? Мост наладили, Волга размечет...

— А пошто утекают?

— От киргизов, должно?

— Козак! кыргыз, булгарски татарам злой, не наши вера...

— Не то... вишь вы познали, что зимой под Астраханью жарко будет.

Начальнику у моста кричали:

— Эй, сыроядец?!

Из черной овчины сверкнули глаза:

— Ни киряк?! [2]

— Син-би-и-к мату-у-р! [3] и як шайтан, чтоб-те сдохнуть!

— Ик-хо! раса сага басен, урус шайтан! [4] нищя кши-и?!

Разин проследил глазами за мост: караван шел мутно, серебрясь в пыли и лунном мареве, хвост его был криклив, суетлив и близок, а голова все больше тонула, в глуби равнины удаляясь.

— На-а-и-и...

— Чи-л-ги-и...

Казаки рассуждали о своем:

— Не-си-и!

— У воевод помене будет гожих в доводчики!

— Да, ежли сеунча к царю, так татарин тут, как тут!

— Табор ушел, а катуня [5] все бьет осла, не двинет!

— Подь помоги катуне — сунь ослу под хвост огню!

— Снялись! мы тож снимемся вплоть к Астрахани.

— Глянь, твой конь сорвался?

— Тпрр! куды тя на ночь? — чорт!

— Не чул? ему татарска кобыла заржала — киль-ля ля! [6] за ей вишь пошел на Чилгир.

— За ей?.. я те дам Чилгир! коси глазом-то.

— Дойдут ли на Чилгир поганые? сказывают в степях — ихние свои, своих бьют!

— О-то! запорошила пороша, по степям, по рекам, да сугорам.

— Жди, нынче города заметет!

---

[1] Хорошо.

[2] Чего надо?

[3] Син бик матур — ты очень красив.

[4] И вам того желаем, русский чорт!

[5] Катунями называли татарок из-за башмаков, как полозья с загнутыми носками.

[6] Поди сюда.

XXIII. Город крепят.

Недалеко от женского монастыря, и в сторону от Вознесенских ворот, что в левом углу, если итти в Кремль, за зеленым стрелецким двором, рабочие заделывают кирпичом решетчатые ворота Мочаговской башни.

Ворота большие, железные, но от времени, как усмотрел воевода Прозоровский, железо стало ломко. Возят при свете фонарей и факелов на быках парно и лошадях в больших телегах кирпичи. Рабочие в кожаных рукавицах, в сермяге, в дерюжных фартуках примазывают ряд за рядом кирпичи, горожане носят воду и, засучив штаны выше колен, мнут голыми ногами глину, сыплют песок. Прозоровский приказал работать по ночам, чтоб раньше времени не полошить весь город. Днем для пешеходов и проезду на ярмарочную площадь открывают лишь Гарянские ворота от Волги, и то под крепким караулом у стены снаружи и за стеной города. Запирают ворота в 4 дня (по-прежнему в 8 вечера). От Гарянских ворот прямая дорога на базар.

Ночью за работой досматривают стрелецкие сотники, иногда голова, да изредка проезжает на толстом, коротконогом бахмате [1]) каурой масти в синем плаще, черном ночью, в высокой, в желтых узорах, черной мурмолке воевода, молча оглядывает издали работы, не останавливаясь, едет дальше. Он почти не спит по ночам. В черной бороде с проседью за короткое время седых волос прибавилось вдвое, лицо пожелтело, тусклые глаза стали глубже и на всех глядели подозрительно, кроме Алексеева. Подьячий почти неотступно был при воеводе, даже спал в сенях воеводского дома.

После мест, где крепили город, воевода ехал ближним путем в другой конец города, сдерживая бахмата шагом, проезжал мимо длинных острогов стрелецких приказов, расположенных в ряд — лицом на площадь, задом к стене в сторону слободы, оглядывал караул у бревенчатых ворот каждого приказа, вслушивался в говор, крики на дворах, хмурился, боясь грозы от шатости стрельцов, и думал:

— Псы! Изменили великому государю... беречь указано усть-море, чтобы воры не ушли в Хвалын, а они на!.. бражничают с козаками и струги им сдали...

У Мочаговской башни — голоса, шутки и сказки. Близ стены — костер. Кидают в огонь всякий хлам, и хотя тепло в одной рубахе, многие лезут курить к огню, иные размять руки и плечи. По древней, заплесневелой во мху стене, постройки Ивана Грозного ломаются, бегают тени людей, пляшут лошадиные морды, рога быков, шапки, руки и носы. Тут же балагурят, покуривая, стрельцы, иные помогают в работе, сверкают лезвея топоров, пестреют казенные кафтаны, белые, голубые, малиновые:

---

[1]) Бахматом называли лошадь приземистую и плотную.

— Стрельцам-молодцам — жисть!

— Ишь, позавидовал пес собачьей обглоданной кости!

— Ни правежу им, ни бора посошного, альбо хлебного — служи не бежи!

— О, чорт! Погонять бы тебя с малых лет до старости — иное замолол бы!

— Поскудался б в приказах, где-те чуть слово поперек по роже, стал не так, шевельнулся не так!

— Жисть скажешь? Нет, браты! Гонят, как скотину, то на море, то по Волге вдоль, паси людей, о себе не мысли, береги чужую кладь — товары.

— Молчок! Голова иде... чу?..

— Ен пузатой мимо иде — ни што-о...

— Чтой-то, браты-стрельцы, воеводы вам мало верят? — звонким колокольцем влипает в говор маленький посадский, заросший бородой черной и клочковатой, едва глаза видно; он жует чубук изгрызенной, обгорелой трубки, сосет, чмокает, плюется и продолжает: — Вон вишь неладное племя город сохраняет!

Мимо в сумраке, раздвигаемом огнем двух фонарей, впереди отряда солдат в бурках и мохнатых шапках идут два воина в немецком платье, в шапках черных с желтыми полосами вместо околышей, — в башмаках оба. В голове отряда сзади светоносцев в таком же куцом кафтане с желтыми пуговицами капитан-немец, он кричит тем, что несут огонь:

— Höher halte Latunen! Sehe woraus! [1]).

Обернувшись в полоборота к солдатам в бурках с мушкетами на плече, командует по-русски:

— Дай нога! Еще дай нога! О!

Солдаты, грузно шагая, бьют ногами в землю. Отряд проходит. Каменщики шутят:

— Что лошади коваль кричит: «дай ногу!» у кузни... ха!

Черный посадский, раскуривая обгорелую трубку, звенит — перестав курить:

— С фонарями, да черные — быдто жида хоронят!

— А то митрополита вишь звон! Чуешь?

Сторож вверху на башне отбивал часы.

— Сколько, чел?

— Недочел в конец.

— Вишь за полночь время тянет?

— Управимся ужо скоро!

— Лезгины да арменя, немчины тож оружно ночью ходят!

— Годи мало — боярски дети пойдут замест стрельцов по городу и на стены...

---

[1]) Выше держи фонари! Гляди вперед!

— Да... зачесалось переносье у бояр! Козаки в стану живут тихо, а воеводы город крепят и на торг иных не пущают... воду в башенных тайниках пробуют, колодези чистят...

— Што иноземцы ходят дозором, не мы стрельцы — не здесь говорить, когда сам воевода ездом всякого чует...

— Казаки-т сирмины, да кабаки шумят... Вон из того кабака, что у девича монастыря, вчерась двоих разинских в пытошную волокли...

— Чул я то!

— Я видал!

— В кабаках подметные письма чли, ай нет!

— Не, не чли!

— Ой, лжот, борода козья! Всяк астраханец чел: «Сдавайте город Астрахань! Я Разин за царевича Алексея на бояр иду — так вы бояр кончайте!».

— Чудеси-и... Разин — я своима очьми зрел — ушол по Волге, а ныне сказывают ён тута?

— Чего сказывать? Черной Яр забрал, воеводу утопил... Сшел на Дон не Разин вишь, оборотень замест... Атаман-ат колдун, ни сабля, ни пуля не ранят яво.

— Патриарх Никон с ним на Чорном Стругу стоит, к морю который.

— На ковре-самолете атаман-от летает!

— Эво — лжа!

— Я сам видал ночью — летит чуть пониже облак...

— Ну, так крепи не крепи город — Астрахани быть под Разиным.

— Ши-и-ше-е...

На приземистой лошади в сумраке засерела плывущая тень ехавшего шагом воеводы. Все примолкли, только постукивали деревянно кирпичи в кладке. Тень утонула за углом монастыря в сторону Кремля-города.

Черный посадский прозвенел голосом:

— А, дай-кось, как рейтаренин в сказке делом займусь!

Юркий человек, сунув трубку в штаны, сдернул с плеч крашенинную рубаху, свернув, как свертывают лист большой грамоты, распустил ее над огнем. Из раскрученной рубахи на огне затрещали вши.

— Вишь лжут, что без струмента вошь не убьешь? Вот он и без струмента ладно орудует, ха-ха!

— Скотинка негодная — шерсти нет, жир худо копит, а ест!

— Скажешь жирные есть?

— А то как — полуголый, маленький, волосатый, — звенит весело мотая медным нательным крестом по голой груди, — был вишь, браты, один рейтаренин...

— Лжошь, рейтаров много!

— Тот рейтаренин, о ком сказ, был особливой, крупной, сажень в плечах, не то, что я жук навозной...

А, ну — чуем!

— Так вот у его за одежкой салдацкой и завелись две — блоха с вошью...

— То бывает и боле чем двесте!..

— И во-от! Вша поучает блоху: «ты долголапая, когда ен в дому, сиди смирно и не ешь, учует, а как на убученьи — жри!»

— Ище што?

— Да — то! Ели были по правилам, и жили по здорову — жирели. Рейтаренин на службе бьетца с конем, мушкетом, саблей, в рожу ему полковник тычет, — некогда за нуждой, не то искаться... Домой оборотил — в пору спать... И раз, как ему спать лечь — блоха, браты, завозилась... Тут упомнил рейтаренин, что скотина зря кормитца. Сдернул он портки, а подружки и выкатились — блоха скок в окно, вошь под стол убрела — вытянул ее рейтаренин из-под стола за заднюю лапу...

— Должно большая была, с лапами?

— Большая ли, малая, а засвежевал служилой вшу — три пуда сала вынял!

— Хо, чорт!

— Смыслит лгать! А ну еще!

— Мне буде — пущай вон святой отец мало солядословит.

Хмельной монах, длинный и черный, мотаясь над огнем, топырил красные, отекшие пальцы рук.

— Бать! Подбери рясу — погоришь!

— Не убоюсь, братие, огню земного, страшусь огню небесного!

— Вон ты што-о! Мы так боле земного огню пасемся.

— Великие чудесы изыдут в сии годы, братие!

— Познал небесно — как тебе земного не ведать — лги нам о чем знаешь!..

— Глум твой, человече, празден есть! Зримо мне, о познании моем вам несть заботы?

— Жаждем чуть тебя!

— Чуем!

— Не лжу, реку вам, братие... истину, зримую мной не единожды, а истина сия вот — шед по нужде монастырской узрел.

— Что узрел-то?

— В слободах, кои ближни граду сему, в древлех временах сказуемому Астра-хан и золотой ордой поганными...

— Поганные нынь сошли, аль не углядел? Все надолбы [1]) своего Ямгурчея на переправу изломили!

— И как они, браты, вязью без топора переправу сладили?

— К хвосту коня плот камышиной, да сам как чорт плавает...

— Ну — мост! Как лишь из видов сошли — Волга ту переправу в Хвалын снесла!

— Волга — она не стоит, да и стоять не даст на месте!

---

[1]) Надолбы — частокол.

— Весь чорной камыш коло Астрахани посекли на переправу, а мост в две доски с жердиной...

— Чудеси! Весь скот перевели по экой сходне?..

— Ихние скоты — не наши, обучены к ходу, по единой жордке коль надо — море перейдут!

— Черной — от камыш матерой и леккой!

— Да, буде вам! Дайте чернцу сказать!

— И то, — сказывай, отец!

— И реку аз о знамении — по дорогам, путям, дворам и селам, братие, по захождении солнца дивное зрели людие многи — затмение истекало...

— Ты, отец, хмелен, так игумна страшишься, не идешь в монастырь?

— Я-те вот! Не мешай чернцу.

— От того солнечного западу в тьме являетца, аки звезда великая, и катитца та звезда по небу будто молния, и в тую меру — двоятца небеса, и тянетца тогда по раздранному небу яко змий — голова в огни и хобот, а выказавшись, стоит с получасье, и свет от того не изреченен словесы и в том свете выспрь в темя человеку зрак: глава, очи, руце и нози разгнуты и весь тот зрак огнян яко человек... Годя получасье, небеса затворяютца, будто запона сдвинута, и тогда от того знамения на пути, дворы и воды падет мелкий огнь, и тако не един день исходит, братие!

— Молви — что твое видение, чаешь, возвестит?

— Сие не изречено ту, где мног люд!

— Говорили всякое — доводчиков нет!

— Служилой люд зрю — стрельцов!

— Сказывай! Кто налогу тебе сделает — в кирпич закидаем!

— Ох, боюсь тюрьмы каменной монастырской — хладна она!

— Мы за тебя — весь народ!

— Скудным умом мню, братие — придет альбо пришел уж на грады и веси человек огненной, и быти оттого крови многой, ох, многой!

— Ты, отец, единожды узрел то знамение?

— Двожды удостоен аз грешный! Двожды зрел его...

Кто-то говорит тихо и робко:

— Сказывают, что в соборе Астраханском у Пречистой негасимая лампада сгасла?

— Сказывают! То истинно, оттого, что в сии времена у многих вера сгаснет.

— К тому ведут народ грабежом — бором воеводы!

— А еще быдто за престолом возжигаютца сами три свечи, их задуют — они же снова горят!

— Сказали то быдто преосвященному Иосифу митрополиту, он заплакал и рек: «Многи беды грядут на град сей!».

— Прошел, сказывают, кою ночь человек великой ростом и прямо в Кремль скрозь Воскресенские, да там как свеча сгорел, и то к тому гласит — сгореть Кремлю!

На башне прозвонил часовой колокол десять раз.

— Вот-те за полночь много!

— Помогай, Тришка! Еще два десятка примажем и спать...

Костер меркнул, никто больше не подживлял огня. В сумраке густом и черном, кто-то черный сказал громко:

— Не дайте головням зачахнуть — с головнями путь справим до дому!

В малой столовой горнице воеводской палаты, среди горок с серебром чинно уставленным по стенам, при слабом свете двух свечей и иконостаса в углу, мутно светившего пятнами лампадок, за столом сидел подьячий Алексеев в киндяшном [1]) сером кафтане, разбирал бумаги и беззвучно бормотал что-то под нос, потом насторожился, поправил ремешок на лбу, подвинулся к концу скамьи, крытой ковром — из дальних горниц княжеского дома шлепали чедыги [2]) воеводы. В шелковом синем халате поверх шелковой рубахи, в красных сапогах вошел воевода, подьячий встал со скамьи, поклонился поясно.

— Сиди, Петр! Не до поклонов нынче.

Подьячий сел, сел и воевода на другую скамью за столом против своего секретаря.

— Еще, Петр, кое-какие бумаги разберем и буде — сон меня долит, вот уж сколько ночей не спал — маялся на коне сидя, в глазах туман — бахмата и того замаял.

— Мочно ба, князинька, опочинути от трудов... завтре б справили все делы?

— Не успокоюсь, сон не крепок буде — хочу знать, подобрался ли ты к воровскому стану... Что замышляют казаки, и сам ли Разин тута, аль иной кто?

— Покудова, ась, князинька, в стану тихо — едино, что стрельцы с усть-моря бражничают с казаками, да кои горожане и городные стрельцы ходют к ним...

— Кто стрельцы? Какие имянно горожане, и о чем совет их?

— В лицо не опознал... Из городных стрельцов как-бы-те Чикмаз, да Красулин быдто? — угляжу и доведу без облыганья. Ямгурчеев городок татара кинули — я уж доводил то, и дальные улусы канули ж. И куды пошли — сгинут в пути без корму?

— Печаль велика — татарва поганая — да сгинь она!

— Ясак платили, ась, князинька, государеву казну множили.

— Теперь нам не до ясака, да и не сгинут — едино, что друг друга побьют... В степи тепло, есть луга середь песков, татарам искони те луга знаемы — весь их скот прокормить мочно... Ведомо, не без запаса пошли — кое охотой проживут... Зимой им опас большой — от воинского много-

---

[1]) Киндяк — бумажная ткань.

[2]) Мягкие сафьян. сапоги.

людья, калмыков боятца, застынут реки, грабеж видимой, всяк к юртам полезет, а нынче вишь время — ночь не спим за стенами каменными. Слухи множатся, горят поместя, чернь режет бояр... Ох, отрыгнула мать-сыра земля на Дону дива окаянного, ой, Петр! Чую я — много боярских голов с плеч повалитца, нам с тобой, гляди, тоже беда!

— Крепок, ась, город стенами и людьми...

Тусклые глаза воеводы на подьячего засветились строго:

— Ты меня не тешь, Петр! Кому иному — тебе же ведомо, какая сила копитца на боярство.

— Ведомо, ась, князинька, и не чаю, что будет!

— Молиться усердно надо господу богу, може он грозу отведет от Астрахани.

— Молиться завсегда надо, ась, князинька. Може минует нас погром.

— Слух есть, а правильной ли — что Черный Яр да Царицын воры взяли?

— Чул и то, ась!

— Кого лучше в наведчики того слуху послать?

— Едино все — уловят, князинька! Везде засеки [1]) да дозоры кругом казацки.

— Ну, и вот — беда! Сказывают волки откель взялись, век их не бывало?

— Чул и то...

— Воронья горазд много припорхнуло, эта птица в пусте не летит— беда множитца, парень!

— Оно и впрямь, воронья стало несусветно.

— Ты завтра же вели ко мне итти Тарлыкову Данилке — ловок и смел голова, надо его наладить в Москву к государю: «сидим-де ждем смерти — стрельцы почесть все сошли к ворам, а кои в городу, те шатки, горожане тоже не оплот, а дворянских людей мало... Заедино оповестить государя на Сеньку князя: «Бражничал-де с вором на двор свой — и палату примал, и спал Разин не единожды в его дому!».

— Князь Семен, ась, князинька, то дознал я плотно, был днесь в шатре у есаулов воровских!

— Был?! Явно теперь не есаулы и Васька Ус под городом, сам Разин стоит — вишь оборотил? Дорогой же в обрат, Черной Яр и Царицын занял — то явно, и слух проверять не надо. Отписать завтра же государю, окромя сказанного добавить: «Князь Львов посылан нами на Волгу разогнать воровские таборы, да Черной Яр крепить. Он же не врежон с пути оборотил и сказывал, «что-де стрельцы сошли к ворам», и то дело, государь, нам в сумление великое, не чаем от того мы — кому будет помогать — нам ли, или казакам Семен Львов воевода, ежели Разин на город Астрахань с боем грянет? В тое время, как мы нынче ежечасно господу богу молимся, крепим город и крамолу изыскиваем и выводим,

---

[1]) Засека — вал с тыном.

он князь Семен ходит тайно в становище казацкое, а кии речи ведет там не ведаем, видимо одно, что бражничает с ворами, и мы, воевода князь Иван Семенович Прозоровский, с дьяки своя ждем твоего великого государя указу в скорости, что чинить нам с князем Семеном Львовым по тому сысканному за ним воровству, или сие так оставить? Великий государь, пожалуй — смилуйся и прикажи в скорости». Завтра же чуть заря проводи ко мне Тарлыкова, изготовь грамоту, писать знаешь что, мы же с дьяками припечатаем и подпишем.

— Сделаю, ась, князинька!

— Еще вот — взял ли бумагу у немчина, кою велел я?

— Ту, что о городовой стене, взял, ась, князинька!

Подьячий из груды бумаг вытащил одну.

— Чти, да спать мне сошло время!

Алексеев громко начал:

— «Опись обхода городовой стены и башен капитаном государевой царевой службы немчином Видеросом, да капитаном немчином Бутлером собча с головой стрелецким Данилой Тарлыковым астраханцом. Писана опись не ложно подьячим и Наумом Курицыным, да Афонькой Каревым площадным в опознание для воеводы Астраханского князь Ивана Семеновича Прозоровского:

Кои пушки есть на башнях и припасы к ним для приходу ратных людей, а паки же воров набегу чаемому от атамана Стеньки Разина, буде он вор пойдет на государев великий город Астрахань.

П е р в о е — в Вознесенских воротах в подошвенном бою пищаль медная короткая в станке на колесах в кружале ядро три гривенки [1]), а к ней ядр сто шестнадцать.

Д р у г о е — подале от зелейна [2]) двора рядовые в стене решетчаты ворота, в башне их, в подошвенном бою пищаль медная полуторная в станке на колесах в кружале ядро шесть гривенок и к ней сто восемьдесят ядр.

Т р е т и е — на наугольной башке минуя прочие две с такими же пушки и ядры — на наугольной, что к слободе, в среднем бою пищаль медная ж короткая в станке на колесах в кружале ядро две гривенки, а к ней ядр сто пятьдесят два.

Ч е т в е р т о е — на красных воротах, кои из Кремля к Волге, в башне пищаль медная в станке на колесах же, в кружале ядро две гривенки, к ей сто двадцать пять ядр.

П я т о е — да в Мочеговской башне проездной с Волги три пищали медные в немецких станках, устроены для вылазок и походов. В первой, в кружале ядро три гривенки — к ней сто двадцать ядр. И еще две пищали ядра в кружалах по полуфунту, а к ним по сту ядр свинцовых, и на прочих башнях таковой же установ пищалей и запас оной же к огнянному бою.

1) Гривенка — фунт.

2) Порохового.

Окроме обсказанных пушек на всех шестнадцати башнях городовой Астраханской стены, да семнадцатой нутряной в углу зелейного двора и Кремля — города, в верхнем бою справны плотно ставлены в гнездах сто двадцать единорогов картаульного огня, ядро в кружале каждого единорога в полпуда вес».

— Мелкие пушки те гожи! Единороги в даль бьют, не к чему они... Недоглядка великая прежнего воеводы... Бить хорошо можно разве, что по ушедшей в степи татарве... В гнездах? Не уклонишь таковую пушку — куда уставлена — туда и бей... Эх, Петр! Недомекнули мы с тобой — я забыл, ты не подсказал допрежь оной поры сделать опись огню стен!.. Поди-ка вот, сыщи горницу спать, а я помолюсь, да тоже буду спать... Завтра обойдем башни с тобой, сызнова кой что испишем, да пушкарей надо опросить, им пушки ближе.

— Будь здрав, князинька, ась!

Подьячий забрал бумаги.

Воевода, когда ушел Алексеев, подошел в угол к иконостасу с пестрящими точками золотой кузни, с камнями драгоценными и пятнами ликов. Встал на колени, мотая пухлой рукой в перстнях, шевеля бородой, молился.

— Пронеси, господи, грозу! Утиши, господи, погром и сохрани, боже, государя, бояр, князей и весь род дворянской помилуй от покушения черни неосмысленной.

(Продолжение следует.)

Алые сугробы.

Повесть.

Вяч. Шишков.

Есть на свете такая диковинная страна, называется она — Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли, или еще где-то. Скрозь надо пройти степи, горы, вековечную тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой править, и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Зѐмли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница сама собою круглый год растет, — ни пахать, ни сеять, — яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравьи без конца, без счету стада пасутся — бери, владей. И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна — диковинная.

Молола бабка Афимья, безрукий солдат при медалях ей быдто сказывал:

— Беловодье под Индейским царем живет.

Врет бабка Афимья, врет солдат, Беловодье — ничье.

Когда-то, и не так давно, жили в селе Недокрытове два закадычных друга, Афоня Недокрытов, да Степан Недокрытов, так по селу и прозывались. Оба в самом прыску, ядреные, только по обличью не схожи.

Афоня мужик, как мужик — обыкновенный: запах от него крепкий, речь нескладная, весь он какой-то белесый, точно из крупчатки с мякиной сляпан. Степан же — угрюмый, черный, присадистый, голосом груб, взором грозен. Афоня тихий, задумчивый, весь в мечте, весь в сказке. Степан — чорту брат, повстречается медведь-стервятник — хвать ножом, как пить даст. Степан самый заправский охотник, медвежатник, Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, а ружья боялся.

И этих-то разных по виду людей судьба скрутила вместе в тугой аркан, вывела в чистое поле и, завязав глаза, стегнула кнутом мечты и отваги: — иди.

Дело случилось так:

— Ну, дак вот, с богом, ребята, со Христом, — сказало все согласье села Недокрытова. — Не жизнь нам здесь, а гроб. Эвот, поглядите-ка, что покойников-то на погосте, крестов, что лесу, сами понимать должны...

А земля наша — скрозь песок. А дождей который год нету, сами знаете... Чистая смерть, господи, помилуй...

— Еще вот что, ребята, — сказал староста Нефед, ласково посматривая на Афоню со Степаном из-под широкополой, жованой шляпы. — Ежели найдете Беловодье, век не забудем вас. Ей-бо... переселимся и работать не дозволим: сидите себе дома на печи, милуйтесь с хозяйками, да малину с медом кушайте. Ей-бо.

Поклонились путники всему согласью в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седла и в дорогу.

Степан еще раз попросил мужиков:

— Не забывайте баб-то наших. В случае чего, так...

— С богом! Езжай без сумленья. Сказано — поможем.

Их жены разливались слезами, выли ребятишки.

Мать Афони, сморщенная, маленькая, прытко бежала за сыном, заглядывала в лицо ему, стараясь улыбаться, но глаза захлебывались горем, в глазах качался, вянул белый свет.

— Буди благословение мое... буди благословение...

— Не плачь, мамушка, брось .. Ох, и сказок я тебе расчудесных привезу.

Долго крестила иссохшая старая рука взвившуюся на дороге пыль. Поворот, пригорок, — и всадников не стало.

Сначала в седле тряслись, потом на пароходе Волгой плыли — вот так река — до чугунки добрались, как пошли отмахивать, да как пошли крутить, Урал — вот так это горы — а там и Сибирь — плоская, ровная, а дальше опять река, да не река, речища — Обь... А за речищей опять горы начались, не горы, а горищи — сам Алтай. Господи, помилуй, господи, помилуй, этакие чу́деса на свете есть.

— Куда же это ваш путь принадлежит? — спросил их в селе Алтайском дядя сибиряк, чалдон.

— Правильную землю ищем, Беловодье, — робким Афоня ответил голосом.

— Беловодье? — переспросил сибиряк и насмешливо присвистнул, нахлобучивая картуз на брови. — Это сказки. Старухи на печи сказывают. Беловодья, братцы, нет. А езжайте-ка вы, братцы, вот куда... Езжайте вы прямым трактом в Онгудай, такое село есть. А там покажут, куда. Много вашего брата, самоходов, в тот край прет.

Долго ли, коротко ли ехали — горы, речки, луга, калмыки — и всех встречных спрашивали:

— А скоро ль Возгудай-то?

— Какой Возгудай?

— А вот этот самый... Как его...

Юрты, деревушки, церковка. Цветы, трава, дикий козел ревел на сопке по утру. А ночью в густо-синем небе — звезды. Афоня весь в порыве, в трепете: вспорхнуть бы, облетать бы, а крыльев нет.

— Степан, господи Сусе... Степан! Глянько-сь, глянько-сь.

Степан едет передом в седле, угрюмый, гложет на ходу баранью кость.

— Степан!

Но всему бывает свой черед: за рекой Катунью засерело на пригорке Онгудай-село. В Онгудае их снова опахнули холодком.

— Где это видно, чтоб такая земля была: реки молочные, берега кисельные. Эх, вы, лапотоны. Ничего вы, лапотоны, не смыслите. Эх, Рассея матушка!

Афоня было в спор, турусы начал разводить. Степан же отсек сразу:

— Киселей нам не надо никаких. Мы добрую землю ищем.

— Так и толкуй, — сказали сибиряки, чалдоны. — Добрую землю вам покажем. Это надо за Кемчик итти, в Урянхайский край.

— Чей же это край? — спросил Степан.

— Не то китайский, не то наш. Попросту сказать — ничей.

— Слава те Христу, — перекрестился Афоня. — Его-то нам и надо. Это самое Беловодье-то и есть. Оно!

Прожили в Онгудае путники целую неделю. От Онгудая через горы, сказывают, суток шесть пути, они заготовили провианта вдвое: сухарей, крупы, масла, пару хороших коней достали, выносливых, калмыцких, их и ковать не надо: сталь, а не копыта.

Степан суров, хозяйствен, быстр. Афоня же, так... все про пустяковину: а красива ли дорога, а какого, мол, цвета горы, а какие распевают там птицы, громко ли грохочет гром в горах, даже о том спросил Афоня, не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом, сказывала, мол, бабушка Афимья?

Только на прощанье по-серьозному проговорил Афоня:

— Ну, а ежели заблудимся, да погибать начнем?

Ему ответили:

— Тогда — аминь. Кругом безлюдье.

— Ни-ичего, — бодро протянул Степан. — Несчастья бояться — счастья не видать.

Выехали в солнечный воскресный день. Через первые хребты провожал их бывалый зверолов Иннокентий. Солнце блестело вот как. На перевал вздымались целый день. Солнце ниже, ниже, они все вверх, гнались за солнцем, не спускали с солнца глаз. Вот зацепилось оно за сопку, еще чуть-чуть — и нет его.

Степан как гикнет:

— Айда! — как вытянет коня нагайкой: гоп, гоп! Глядь: солнце опять над сопкой, снова светлый день.

Долго гнались за солнцем, долго не давали ему пасть на дно.

Остановились на ночлег в горах.

— Вот так это горы, — радостно, таинственно говорил Афоня, сидя у костра.

— Настоящих-то гор и не нюхали, — возразил Иннокентий. — Что буде — завтра.

Утром выбрались путники на самый перевал. Глянул Афоня, и все внутри его заплясало: весь Алтай всколыбался перед ним. Горы, как хребты страшных чудовищ, высились над землей: ближние — в ярко-зеленой щетине леса, на ободранных боках кровавые подтеки; а там — черные ребра обнажились, там — осыпь серых камней — курум. Дальше же яркая зелень блекла, голубой закрывались горы завесой, гуще, гуще завеса, и уж в правую руку, куда летел очарованный Афонин взор — было синим-синё. Налево лежали хребты нагие, словно звериные спины облысели от времени, или словно вся шкура была содрана с чудовищных хребтов до самого до мяса.

Все они высились серой массой, с черными впадинами балок и ущелий. Какие-то легкие тени скользили по освещенным солнцем склонам. Афоня догадался, что это тени плывущих в небе одиноких облаков.

А небо было голубое, спокойное, солнце недавно поднялось из-за хребтов и... что это там впереди блестит, больно глазам глядеть?

— Снег! — вскричал Афоня. — Гляди-ка, Степан, снег!

— Это вечные снега, вечные льды. Спокон веку так, — внушительно сказал Иннокентий. — По-нашему называется — белки.

Весь горизонт уставлен белыми хребтами: только ниже склоны голубели в сизой дымке, а вершины гор хлестали глаз резкой белизной.

— Чрез эти снега вам придется итти. Ничего, не бойтесь. Вот эту сопочку-то видите, эвот, эвот чернеет?..

Иннокентий толковал им целый час, все обсказал подробно, куда итти, в какой балке ночевать, какие речки в брод переходить, а там вот то-то будет, а там вот это-то. Ну, прямо, отпечатал.

— Самое трудное вам до белков добраться, — сказал сибиряк. — Как белки перевалите, близехонько и Беловодье ваше.

— До этих белков мы, поди, завтра же и доползем, чего тут, — проговорил Афоня, поглядывая из-под ладони козырьком на четко видневшийся снеговой хребет. — Рукой подать.

Сибиряк с презрением посмотрел на него — он видел в нем человека никудышного, — сказал:

— Нет, паря, дай бог на четвертые сутки подойти к белкам-то. Поболе сотни верст до них.

— Да ты сдурел! — крикнул Афоня.

Действительно, хребты казались совсем близко. Афоня поднял камень, раскорячился, швырнул.

— Нет, паря, не докинешь.

Афоня стал сибиряка просить:

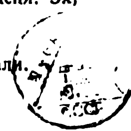
— Иннокентий, проводи нас, чего тебе.

Тот сверкнул глазами, как ожег:

— Каждого провожать, подохнешь. Поди, хозяйство у меня. Эх, ты, лапотон, чего сказал. Башка с затылком!

Степан сурово тряхнул головой:

— Не хнычь! Найдем и сами. Не в таких местах хаживали.



Афоня сразу поверил в силу друга, знал Афоня — в разных переделках бывывал Степан, жизнь Степана для Афони сказка, Афоня поверил другу, и весь испуг его прошел.

К следующему утру друзья осиротели. Они в глубокой котловине. Каменные стены окружили их со всех сторон так плотно, что, казалось, некуда итти: вот залегла едва приметным стежком их узкая тропа, а там упрется в стену и — шабаш. Громады каменных хребтов, клок неба сверху. В небе плавает орел. Зорко видит: две козяки еле движутся внизу. Ринуться камнем, ударить грудью, выклевать глаза. Зачем? Орлу простор и высь, и нет ему дела до земных козявок. Солнце, воля!

А в глубокой котловине сырой, обманный сумрак, остатки ночи еще не ушли отсюда, и жар-птица только к полдню вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер.

Афоня видит и орла в выси, мечтает о жар-птице за хребтами. Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков.

— Степан! А где же белые-то хребты? Со снегом-то? Ой, сбились мы с тобой.

Степан только улыбнулся:

— Настоящий ты Афоня.

Действительно, в их сегодняшней тюрьме взгляд упирался в стены, и только орлиным взорам был не заказан мрак и свет.

— Он ви-ди-ит, — улыбнулся и Афоня, подморгнув парящему в выси орлу.

Афонин чалый конь след в след шел за конем Степана. Степан сидел в седле прямо и уверенно, был с круторебрым конем своим одно. Он внимательным взглядом щупал все кругом, он чутьем охотника угадывал, куда вильнет тропа и что таится вот за тем зубчатым черным мысом, будет ли завтрашний день ясен и погож? За широкими плечами наискосок ружье, переметные кожаные сумы набиты туго, конь гриваст. Афоня же сидит мешком, ссутулился и будто дремлет. Он сорвал травинку, жует ее, рассеянно поплевывает, мечтает. Новизна поражает его ежечасно. Вот перед ним райское место, глаз не оторвать. Но стегнула тропа крутым взлетом вверх и вправо, ахнула душа Афони: все не узнать, все стало по-новому, занятней — краше. А там опять.

И кричит Афоня:

— Степан! Степан! Чего это?

Отдаленный шумливый гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. Все креп и надвигался этот гул, все мрачней, непроходимей становилось ущелье. Афоня недоуменно прислушивается, стараясь задержать дыханье. Но вот кони вынеслись на залитую солнцем равнину, всадники враз повернули вправо головы и остолбенели: с поднебесной высоты, возле самых путников грохотал осатанелый водопад. Падучая вода яростно била в камни, вся дробилась в облачную пыль, пыль взлетала туманными крыльями: вот один, вот другой крылатый призрак отделяются, тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам

седые ласковые руки, плавно повертывают в сторону и манят за собою, куда-то вдаль, в волшебную долину между гор. И вновь и вновь без конца встают из грохота и дыма белоснежные видения, их зрак и все кругом в тумане, крутая радуга мягким кольцом обхватила все, призраки преклоняют головы с разметавшимися волосами, осторожно опускают крылья, чтоб не коснуться самоцветной радуги, плывут в неведомую даль и исчезают.

Водопад кропил всадников золотой, в блестках солнца, пылью, их лица были мокры, алмазный бисер горел на траве, на иглах беззвучно шумевшего кедра. Суровым грохотом был оглушен весь свет, от земли до солнца. От грохота колыхались горы, и, казалось Афоне, тряслась земля.

— Степан! Голубчик! — что есть силы заорал он. — Вот так чудо! — Но голос его умер, грохот сдавил горло, запечатал слух. Афоня перекрестился.

— Ой ты, чудо-то какое, — бормотал он. — Вот так диво.

Он не мог и не пытался понять, что в нем творится, он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес, ему хотелось и хохотать и плакать, точно он распался надвое и обезумел. Торопливо и словно во сне он крестился, крутил головой, сморкался в подол рубахи, взглядывал сквозь радугу на живую сказку, и вновь его душу охватывал непереносимый трепет, тяжкая радость мешала ему дышать.

— Ой, смерть! Ой, поедем скорей, господи! — карабкался он на коня. И долго озирался на радугу, на встающих в тумане и уплывающих призраков, а грохот глуше, глуше и, когда уткнулись путники в стену гор, было совсем тихо, безмолвная стояла ночь.

Прошло три дня. Конь Афони рассек камнем ногу, стал хромать. Степан встревожился. Афоне нипочем. Он все мечтал о Беловодье, о радуге, рассуждал сам с собой, по привычке размахивал руками, иногда крестился и шептал молитвы. Степан был хмур: запасы убывали, дичь не попадала на пути, а главное — чем ближе подъезжали путники к снеговому перевалу, тем дальше, казалось, отодвигался он.

Теперь ехать поневоле приходилось шагом. Да и тропа стала капризной, озорной: как будто нарочно, играючи, она заманивала человека вдаль, крутилась меж огромных камней, подпрыгивала вверх, на уступ скалы, чтоб вновь упасть в бездну и там где-то схорониться в серых россыпях куру̀ма.

Путники поняли, что началась опасность, что горный дух Алтая — человеку враг.

— Ну, Афоня, теперича держись.

— Держусь.

Конец четвертых суток караулил их. У Афони с утра щемило сердце, лицо бледное, напряженное, взгляд растерянный и странный.

Солнце в горах садится рано: горный дух любит прохладу, одиночество и мрак.

Солнце садилось. Склоны ближних гор на западе начали темнеть, а гребни их обрамлялись золотой чертой заката. Стало вдруг холодно. Тропа предательски манила путников на высокую скалу. Они послушно поддавались. Тропа шла обрывистым карнизом, бомом. Внизу гремела реченка. Вода в ней кипела белой пеной. Из ущелий, к речке, выползал туман.

— Степан, чего-то боюсь я.

Путники были на большой высоте.

— Гляди мне в спину, не гляди вниз, — не поворачивая головы, проговорил Степан.

Горы на западе стали черными, туман поседел, обозначился резче. Солнце скрылось, и лишь световые мечи рыхлыми пучками шли от него из-за гор в пространство. Сумрак вырастал со дна, поднимал свой горб, вот выпрямится, встанет и растопырит над Алтаем расшитую звездами хламиду.

Скала, по откосу которой карабкались лошади, почти отвесно падала в невидимую речку. Тропа лепилась сбоку, как карниз, по случайным созданным природой выступам, а скала вздымалась над тропой и уходила вверх, в хмурую глубь небес. Иногда ширина тропы была в сажень и больше — кони шли вольготно, — то она суживалась до аршина, тогда даже Степана кидало в оторопь, сердце же Афони обмирало, он холодел, дрожал. Чтоб не загреметь в пропасть, кони в опасных местах шли внаклон, норовя прижаться к скале. Всадники помнили наказ сибиряка — сиди, не шелохнись, не мешай коню — всадники сидели смирно, Афоня чуть дышал. Кони отрывисто всхрапывали, бока дрожали: напряженный шаг их осторожен, точен. А тропа забирала выше, выше.

— Повернем назад, — слезно взмолил Афоня.

— Дурак, — ответил Степан, голос его сердит, безжалостен. — Как же назад, ежели коню не оборотиться?

Афоня понял, что обратно повернуть нельзя.

Кони всхрапывали все резче, в горах переливался, прыгал ответный храп. Копыта цокали о камень резко. Резко цокали в ответ копыта где-то там, в пространстве. И в пространстве, за хребтами, уже зачиналась ночь.

Афоня боялся глянуть вниз, но круча под ногами тянула неотразимо. Афоня вскидывал голову, искал в небе звезды, ощупывал глазом широкую спину Степана, но все нутро кричало, орало: взгляни вниз — и не было мочи противиться. Афоня видел внизу серую мглу: то наползали на речку туманы. И еще он видел, не глазами, а чем-то другим — видел такое, что...

— Ой, Степан, я слезу... Я пешком пойду.

Степан молчал. Степан сам был не в себе. Темнота сгущалась, а где конец тропы?

Конь его идет ощупью, дрожит, прядет ушами. Ступь все медленней, все осторожней. Сорвался из-под копыт камень, гулко покатился вниз,

задняя нога коня скользнула, Степан ахнул и враз облился холодным потом, едва удерживаясь в седле. Он быстро обхватил коня за шею. Коню передался ужас всадника, он всхрапнул и, остановившись, привалился боком к скале. Степан не знал, что делать. Все пространство, низ и верх, ослепло, стало совсем темно. А сзади молил Афоня:

— Степан, голубчик! Погибель наша.

— Стой, дожидай! В потемках куда, — дрожащим голосом проговорил Степан. Афоня вплотную подъехал к нему, но тот боялся повернуть голову: ухнешь с конем в пропасть.

Впервые в жизни Степан почувствовал полную беспомощность. Он ясно понял, что весь его жизненный опыт, отвага, сила — ничто. Может налететь ночная птица, может сверху оборваться камень — конь вздрогнет, неверный шаг и — смерть. Конь стоял смирно. Степан не смел понукать его. Но как же быть? Дожидаться до утра в седле? Задремлешь. Слезть с коня? Опасно: тропа в этом месте так узка, что четыре лошадиных ноги едва покрывают ее. Степан терял присутствие духа, злился.

Он уже ничего не мог различить перед собою: горы сгрудились вместе, враждебно придвинулись к путникам, черные, немые. Обложенное облаками небо мрачно. Слева едва серела скала, в холодный гранит которой упирался дрожащий локоть Степана. Мысль работала напряженно, она вся без остатка увязала в этой тьме, выхода не было, и Степан, зло сопя, скрипел зубами:

— Будь оно проклято, это дьявольское Беловодье.

И неизвестно, шло или остановилось время. Степан перестал чувствовать коня под собою, не ощущал земли, не знал, жив он или нет. Мрак убил его, он, как в могиле, весь холодный, недвижимый. Грудь переставала дышать, мысль пресеклась, он — мертвец.

«Фу ты, леший... Неужто смерть?» — вдруг вздрагивала вся его душа. Степана бросало в мгновенный жар, волосы на голове шевелились, сердце ударяло полной силой. Степану тогда представлялось, что кругом пусто, ни земли, ни неба, одна тьма, и что он, среди этой тьмы, подвешен на гнилой веревке, в пустоте. Один, совсем один. Веревка вытягивается, потрескивает, еще минута, и веревка лопнет: враз засвистит в ушах ветер, обомрет дух, тело будет падать, падать, падать — хрясь!

— Ох, ты...

Вот раздался грубый трубный звук. Тьма откликнулась и замерла. Это ревет горный козел. На душе стало легче: не умер, жив.

Афоня хныкал, бормотал:

— Экие страсти, батюшки мои... Голова чего-то у меня кружится.

— Ну?!.

— Тово гляди сорвусь.

— Держись. А то костей не соберешь.

— Пресвятая ты моя богородица... Заступница...

Вдруг облака стали серебриться.

— Никак месяц, — радостно сказал Степан.

Из-за хребтов взнялась луна, облака разорвались, пространство посерело, потом вдруг наполнилось ровным голубоватым светом. Столпившиеся горы враз отпрянули на свои места, внизу засверкала серебристым шнуром речка, из мрачных провалищ плыл туман.

— Батюшка, Степан... Сорвусь!

— Завяжи глаза.

— Страшно шевельнуться.

Степана покоробило. Он чувствовал, что Афоня вот-вот опрокинется в пропасть, и не было силы помочь ему. Степан шевельнул повод, лошадь вздохнула и осторожно двинулась вперед.

— Поезжай полегоньку. Ежели страшно — защурься! — крикнул Степан и привычным ухом поймал, как сзади цокают о камень копыта.

Тропа быстро пошла книзу, стала шире, от сердца Степана отлегло. Облака то наплывали на луну, то разлетались. Тропа чуть поднялась вверх и круто стала спускаться. Речка здесь разлилась широко, была молчалива и тиха: рухнувшие скалы подпирали ее течение. При лунном свете Степан ясно различал над ее поверхностью мокрые, блестящие лысины камней.

«Слава богу, выбираемся», облегченно вздохнул он.

Но, вот, его лошадь приостановилась, подобрала все четыре ноги в одну точку и скакнула вниз. Степан едва усидел, схватившись за шапку. Еще прыжок, Степану больно стукнуло ружье о спину.

— Эй, держись! — закричал он Афоне, но в этот миг что-то загрохотало сзади, Степан круто обернулся, обмер: лошадь Афони сплоховала: всхрапывая и цепляясь передними ногами о край скалы, она грузно сползает задом в пропасть.

— Афоня! Афоня!!

Еще мгновенье, и, высекая копытами искры, лошадь с визгом покатилась вниз.

— Афоня!!. — чужой, отчаянный крик вылетел из груди Степана, он соскочил с коня и бросился к краю пропасти: — Афоня, где ты? Эй!

Лунный сумрак молчал. Только разрывал сердце смертельный лошадиный визг внизу, сменявшийся тяжким кряхтеньем и почти человеческими ее стонами. Конь Степана тревожно ржал в ответ и бил копытом о камни.

— Степан, умираю... Степан... — слабо раздавалось возле Степана, немного ниже, во тьме. Степан, как лунатик, стал осторожно переступать с карниза на карниз, он не думал об опасности, его кто-то вел, указывал, куда ступить, он сделался легким, бездумным, странным, ноги враз прозрели, руки к скале — магнит к железу, крылья опасности поддерживали его над бездной, страх вел книзу бесстрашным для души путем.

— Помоги... Ради Христа.

Степан склонился над Афоней. Тот завяз в расселине скалы. Степан догадался: на том проклятом месте Афоня не усидел, упал и этим сразу нарушил точно рассчитанный прыжок коня.

— Руки, ноги целы? — спросил Степан, ощупывая старавшегося приподняться товарища.

— Кажись, целы... Бок зашиб, голову.

— Сиди. Дожидай...

Степан, так же по-кошачьи карабкаясь, стал быстро спускаться к лошади.

Он не знал, долго ли и как спускался, он был не свой, не здешний, тело подчинилось духу, дух спустил его, ослепшего, в пропасть и открыл глаза.

Степан увидел, содрогнулся. Чалая лошадь Афони, падая с огромной высоты, напоролась животом на остро торчавший ствол сломленного крепкого деревца. Она упиралась в камни передними ногами, зад же лошади, подпертый пронзившим ее стволом, висел в воздухе. Она визжала мучительно, с смертельной тоской, била задними копытами по воздуху и крутилась, стараясь освободиться. Но крепкое острее все глубже уходило в распоротый живот. Визжащий рот ее был оскален и покрыт пеной, голова бессильно моталась во все стороны. Степан смаху ссек топором лесину, лошадь стала на все четыре ноги и зашаталась. Степан потянул из живота ствол, вместе с хлынувшей кровью вывалились внутренности, как кольчатые змеи. Лошадь протяжно охнула, опустила голову и застонала по-человечьи, задние ноги ее отказывались служить, подгибались, словно она собиралась сесть. Степан засопел. Лошадь повалилась на бок. Шатаясь и скривив рот, Степан зашел спереди, опустился на колени и обнял лошадь за шею:

— Миленькая моя... Лошадушка... Детишка моя, лошадушка... Лошадушка!

Он целовал ей глаза и лоб. Глаза ее были влажны и под луной блестели умоляюще. Она вся затихла, чего-то ожидала покорно.

— Миленькая, лошадушка.

Степан глухо крякнул, перекрестил ее, вскинул ружье и выстрелил ей в ухо.

Гулко, перекидисто загрохотал в горах выстрел, долго перебрасывался от горы к горе, и последние отзвуки его где-то зарылись в туманах.

Теперь приятели плелись пешком, Степанов конь тащил на себе весь груз. Торбы с хлебом и сухарями стали тощи, а сказочное Беловодье не подавало о себе никакого голоса. Путники приуныли. Афоня шел с обмотанной головой и припадая на правую ногу. Тяжкая дорога и ушибы мешали ему молитвенно настроиться, но он все же молился молча и за убившуюся вчера лошадь, и за свое спасенье. Шли ровными лугами, блестело утреннее солнце, красовались цветы в траве, и от самоцветных гор веяло теплым смолистым запахом. Вчерашний ужас еще не иссяк в глазах Афони, бледное постное лицо его сосредоточено, думы там, среди мрака ночи, и слух наполнен липкими звуками предсмертного ржанья. Он не видел солнца, не замечал росистых трав кругом.

— Хоть бы чорт повстречался, — буркнул Степан.

— Что ты, такое слово вымолвил, — ответил Афоня и взглянул в хмурое, озлобленное лицо Степана.

Степан сказал укорчиво:

— У тебя, ведь, душа коротка. Ты все над землей привык порхать. по-птичьи. Сказки бы тебе бабьи слушать, а не... Я знаю, о чем ты думаешь... Вот ужо тебя богородица, али андел божий на крыльях прямо в Беловодье, к кисельным берегам. Нате, кушайте, Афонасий Митрич. Хы! А своими ногами не хочешь пошагать?

— Вовсе даже не об этом я думаю, — печально молвил Афоня и, помолчав, спросил: — Степан, отчего Чалка так визжала? Сердце за нее болит. Это я сгубил ее.

— Ничего не визжала. Тебе погрезилось... Сразу на смерть зашиблась.

— А пошто ты выстрел дал? Пристрелил?

— Ничего не пристрелил. Козла увидал, да промазал.

Афоня вздохнул, испытующе посматривая в притихшие глаза друга.

Обедали у ручья, в тени густого кедра. Степан набрал грибов. хлебово было вкусное. Афоня повеселел, глаза вновь окрылились сказкой. мысли отлетели от земли. Но Степан отрезвил его:

— По расчету вчера на месте должны быть, а еще и белков не видно. Шестые сутки путаемся. Поколеешь тут.

— В Беловодье отдохнем.

— Плохой ты товарищ. Беловодье... Кажись, сказано тебе ясно. что Беловодья на свете нет! — отрубил Степан.

— Куда же оно девалось? Есть. Мне виденье было, сон. Вот уснем в беде, а проснемся у молочных рек.

Степан насупил брови и махнул рукой.

Тропа опять ударилась в горы. Шли каменистыми россыпями. Путь труден и неподатлив. У коня из сбитых ног сочилась кровь.

Вдруг, на повороте, внезапно вырос всадник. За ним шла в поводу свободная, незаседланная лошадь.

Мрачные морщины на лбу Степана разлетелись, лицо ожило. «Ну. теперя доберемся», подумал он, с надеждой посматривая на приближавшегося всадника. «Кровь пролью, а лошадь будет наша».

— Куда? В Урянхай, что ли? — зычно спросил всадник, поровнявшись. — За хребты?

Путники рассказали ему все. Афоня захлебывался от радости. умильно посматривая в свинячьи глазки великана-всадника, и юлил перед ним, как повстречавшая хозяина заблудившаяся собака.

Всадник пудовой горстью огладил круглую бороду, сказал:

— Вертайте, самоходы, назад. В белках вам крышка.

— Выберемся, — возразил Степан, оглядывая огромную фигуру мужика. — Взад оглобли поворачивать не рука нам.

— За смертью идете, — угрюмо проговорил мужик. — Вьюга была, путь в снегах перемело.

— Продай, пожалуйста, коня, выручи нас, — стал просить Степан, чувствуя, как в сердце закипает неприязнь.

— Ты умен, — раздраженно ответил всадник. — Для себя его купил, эвот какую путину сломал.

— Продай! — решительно отсек Степан, глаза его сверкнули.

Мужик, не ответив, тронул коня.

— Продай! — с отчаяньем заорал Степан, хватаясь за ружье.

Мужик обернулся и, вмиг сорвавшись с седла, в два прыжка был за выступом скалы. Щелкнул затвор ружья, дуло нащупало Степанов лоб.

— Бросай ружье, язви тебя! Убью!! — взревел из-за скалы медвежий голос.

Афоня пал на колени, замолился:

— Дядя! Дядя!!

Степан подался назад, заскрипел зубами и покорно повесил ружье за плечи. Его била дрожь. Лицо налилось желчью и подергивалось. Мужик вперевалку подошел к Степану и спокойно сказал:

— Мой совет — назад. Упреждаю. Было бы сказано. Садись на мою лошадь и айда... А промежду прочим... Знаете дорогу? — и опять подробно рассказал им, как итти. Сел на коня и, не оборачиваясь, поехал.

Афоня кричал ему вслед:

— Ежели погинем, на тебе ответ перед богом!

— Всяк сам за себя ответчик! — гулко бросил тот.

Степан с ненасытной злобой сек взглядом широкую удалявшуюся спину, руки чесались пустить вдогонку пулю, но мощь и звериное бесстрашие всадника были защитой ему.

— Ну, и дьявол... — скрипел Степан зубами.

Афоня проговорил:

— Господь с ним.

— А подь ты к праху, фаля! Тьфу!!

На следующее утро, пробудившись, Афоня закричал спавшему товарищу:

— Степан, Степан! Глянь-ко, белки!

Степан приподнялся из-под шубы. Пред ними, совсем близко, высились громады гор, их подол и взлобки опушены густым лесом, выше — полоса леса обрывалась, обнажая серые, исчерченные черными ущельями склоны, а вершина хребта придавлена пластами снега, приветливо разодевшего в нежных потоках утренней зари.

Афоня был в одной рубахе. Не чувствуя холода, он дивился на вознесенные к облакам снега. Все гуще алели снежные вершины, все голубей становились сугробы на обрывах и кручах, в ребристых же гранях снег до боли глаз блестел расплавленным стеклом.

Афоня сложил молитвенно руки и шептал, умиляясь:

— Господи, Господи, снег-то какой... Красный... Так бы и погулял там.

— Может, там смерть наша сидит, — сурово сказал Степан, разжигая костер.

Но Афоня не слышал, не замечал его. Он опустился на колени и гнусаво, по-старушечьи, запел:

— «Заступница усердная, матерь господа выщая».

— Выщая, выщая, — брюзжал Степан и крикнул: — Где у тя чайник-то? Ишь замерзла в нем вода-то. Оболокись, заколеешь! — Степан знал, что эта видимая близость белков — прямой обман, дай бог хоть на вторые сутки дойти до снегового перевала.

Сегодня путникам придется пересекать топкое болото, отделявшее их от грани лесных трущоб, и сегодня же последний сухарь будет съеден.

Степан угрюм и молчалив, Афоня радостен:

— Ты не беспокойся. Вот помяни мое слово, как в лес вступим, живность найдем; рябков, либо зайчишек...

— Мерблюда на сосне, — буркнул Степан и почувствовал, что желудок его пуст.

Шли каменистым болотом целый день. Ноги вихлялись на кочках и проваливались по колено в воду. Сапоги текли, промокшие ноги зябли. Болото местами покрыто вереском, баданом, клюквой и брусникой: для куропаток рай. Степан держал ружье наготове, но — странное дело — кругом мертво.

Тропа то пропадала, то обозначалась снова, были видны следы лошадиных ног, путники двигались уверенно. К вечеру тропа исчезла. Искали, искали, не нашли. Решили ночевать на сухом взлобке, что скажет утро. Разделили остатки сухарей, пустые мешки разорвали на онучи. Афоня целую шапку прошлогодней клюквы набрал:

— Птица век свой ягодой кормится.

— А ты птица, что ли? — возразил Степан. — Сдохнешь... — Голос звучал печально, как ни старался бодриться Степан.

— А ты верь, ты верь! — выкрикнул Афоня, ударяя себя сухим кулаком в грудь, голубые глаза его вспыхивали, и белая бороденка хохолком тряслась. — Тогда, Степанушка, все будет хорошо.

Степан поднял на Афоню тяжелый взгляд, собираясь ударить друга злобным словом, но чувство нежности, подымавшейся от самого сердца, останавливало его. Он только вздыхал, дивясь беспечности товарища.

Утром моросил дождь, и белки задернулись тучей, голодные путники вновь принялись отыскивать тропу. Все выползали, вынюхали — нет. Степан сел верхом и взад-вперед ездил по опушке леса — нет.

Поиски длились очень долго, неудача злила Степана, плевки и ругань летели с его уст.

Подъехал Степан, весь мокрый и от неудачи позеленевший. Афоня приподнято сказал ему:

— Идем! Я знаю. Идем скорей.

Тайга разинула колючую пасть и поглотила их. И в яркий-то день в тайге живет сумрак, теперь же все небо в тучах: путники подвигались наугад, вслепую. Степан то-и-дело припадал к земле, шарил мох, пушистый и мокрый — не было никаких следов. Прошел вечер, прошла ночь.

Кружили еще целый следующий день тайгой и закружились окончательно: снеговые хребты пропали. Дождь все моросил.

— Надо солнца ждать. А то... — не докончил Степан и, отвернувшись, засопел.

Сделали шалаш из хвой. Лежали рядом с закрытыми глазами. Не спалось. Думали каждый о своем. Глухая ночь.

— Ты спишь? — спросил Афоня.

— Нет.

— Я все думаю. Деды-прадеды эту землю-то праведную спокон веку, сказывают, искали, не нашли. Вот уж, кажись, тут и есть, уж звоны слышны колокольные. Только бы войти, ан нет, лукавый сомустил, грех вышел, перегрызлись деды, и прощай, земля святая, идут назад ни с чем.

Помедлив немного, говорит Степан:

— Я звонов твоих колокольных не ищу.

— А что ж ты ищешь?

— Чернозем. Да всякое угодье чтобы... Пущай мужики на землю крепко сядут. Отъсдятся хоть.

— Эх, брат, брат... Ты все о брюхе...

— О чем же еще прикажешь?

— А ты о душе бы...

— Душа попу нужна.

— Ведь в той земле живут народы без греха, по правде. А у нас как? Сердечушко во мне все изболелось. Бывало, уйдешь по весне в бор соловьев ловить, да и думаешь... Я люблю думать по ночам...

— Ночью спят, днем работают, — попыхивал трубкой Степан, — а ты все в розмыслах каких-то бабьих... Анхимандрит...

Афоня вздохнул и проговорил не громко, в нос:

— Какие вы все обидчики.

День был пасмурный, накрапывал дождь. Степан тщетно искал с ружьем добычи, принес к обеду только двух малых дятлов. Тайга на всем пространстве покрыта мохом и лишайником, бока у лошади от бескормицы ввалились.

Беспокойство в душе Степана все нарастало, сердце ныло нехорошим предчувствием. Ослабевший Афоня дремал в шалаше и сквозь дрему посматривал на друга, как больной ребенок на отца.

Степан начал перебирать вещи в мешке. Ему нужна коробка с пистонами и пороховница. Сначала движенья его были неторопливы и уверенны, потом стали быстрей и суетливей, потом... Дрожащие руки его судорожно хватались за тряпье, как за раскаленное железо: трепал, встряхивал,

швырял, обшарил все карманы, вытряс сапоги, шапку, сорвал с себя и перетряс всю одежду, вновь кинулся к мешку. Лицо сделалось мертвенно бледно, волосы прилипли к запавшим вискам, в глазах безумный страх.

— Что ищешь? — тоскливо спросил Афоня.

— Ножик, маленький такой, — помедля, дрожащим голосом проговорил Степан.

— А эвот он, эвот...

Степан сел на пень, под морду лошади, обхватил колени и весь согнулся. Долго глядел в землю, потом сердито плюнул, кого-то ругнул с плеча и завалился спать. Сон его был глубок и крепок.

Афоня охал, бредил, звал мать с женой.

На другое утро засияло солнце.

Степан поднялся нехотя. Глаза его были потерянны, пусты, но рассеянный Афоня не прочел в них ничего.

— Жрать, Афоня, жрать, — хриплым басом буркнул Степан в бороду и приподнялся, большой и крепкий, как медведь.

— Нету, — уныло вымолвил Афоня. — Вот заячьей капустки, травки кисленькой пожуй.

Молчаливо, отчаянно пили пустой чай. В животе бурлило.

Пошли на восход, чуть левее солнца.

— Солнышко красное, укажи путину верную,— приговаривал Афоня.

Шли прямиком. Попадались огромные, скатившиеся с гор обломки скал и в три обхвата валежины. Ругаясь, обходили. Сапоги истрепались вдрызг, одежда об сучки трык да трык — в клочья.

Начался пологий подъем — тянигус. Афоня охал, хватался за бок, отставал. Он весь сделался каким-то шершавым, взъерошенным, согнулся и походил на старика.

Степан бодрым, но вкрадчивым голосом спросил:

— А не попала ли к тебе коробочка с пистонами? Да порох еще?

— Куда мне? Не брал.

Ну, да, дело ясно, значит, обронили на прежних стоянках. Только чудо могло спасти их теперь. Но Степан в чудеса не верил. В усах и бороде его едва промелькнула язвительная улыбка.

— Да, Афоня, любезный друг, — начал он тихо и подавленно. Его поджигало брякнуть сразу всю страшную правду, чтоб ошеломить Афоню, но опять кто-то заградил уста, и сердце Степана облилось последней любовью к другу:

— Теперича мы, Афоня, оживем... Лишь бы снега перевалить.

— Бог поможет. Только бы вот маленечко поесть, — откликнулся Афоня и тяжело вздохнул.

Вдруг Степан бросил повод:

— Козел... — и быстро пал за валежину, взводя курок.

Афоня метнул глазом на высокую, торчавшую поверх сосен скалу. На остряке прямо и неподвижно стоял круторогий зверь, подставляя грудь. Степан волновался. Решалась судьба. Руки дрожали.

— Не торопись, промажешь, — шепнул Афоня. Устремленное к скале лицо его вытянулось и застыло.

Раскатился выстрел, хохочущий, нахальный. Козел подпрыгнул и кувырнулся рогами вниз.

— Готов, готов! — закричал Афоня и, забыв про ушибленную ногу, побежал к скале. Степан же сердито поднялся, сорвал с головы шапку и бросил о земь. Лицо озверело, рот плевался и шипел:

— Анафема. Пропастина... Змей.

Он видел: пуля ударила возле козла в скалу, от камня брызнула мелкая пыль осколков. Остался единственный дробовой заряд. И неизвестно, для чего теперь его беречь.

«Для себя. В рот», — без всякой жалости подумалось.

Афоня возвращался медленной, вихлястой походкой, сгорбившись, обхватив живот.

— Сам видел, как он мякнулся. Все обползал — нету, — сказал Афоня скрипучим, задыхающимся голосом.

— Целехонек. На рога пал, да и умчался. Они завсегда на рога кидаются.

Афоня лег на траву и прикрыл глаза рукою.

— Измаялся я, Степанушка... Тяжелехонько мне.

— Пойдем. Валяться некогда.

На ходу Степан поддерживал его. Голод морил их, высасывал соки, как жоркий клещ. Афоня опустил голову и шагал не твердо, враскарячку.

— Трое суток не ели мы с тобой.

Лишь к позднему вечеру истомленные путники выбрались на край тайги, к густому большетравью. Впереди было мрачно, взор упирался в серый склон хребта, заслонявшего почти все небо.

Вот он, хребет со снеговой спиною, перевали его и вступишь в теплый, безмятежный край. Надо бы радостно кричать и целовать камни, скатившиеся с заоблачных высот, но путники угрюмыми, почти враждебными взорами встретили эту мрачную твердыню: в них все приникло, ослабело, съежилось.

Степан лениво и вяло, двигаясь как во сне, стал разводить костер. Афоня в бессилии лег и укрылся шубой, у него звенело в ушах, ныла грудь, дрябло трепыхалось сердце. Хотелось напиться холодного, кислого. Он взглянул в сторону хребта и порывисто повернулся к нему спиною, как к врагу.

Думы Степана были тяжелы и черны. Ему казалось, что смерть ходит по пятам за ним. Но кто же накликал ее? Он — Степан.

Он так загряз в этих думах, что, обрубая сучья, ударил себя топором по руке и долго сосал липкую кровь из пальца. Афоня застонал. Степан покосился на него:

— Афоня, друг... Желанный мой... — мысленно прошептал Степан и засопел. Он подошел к спящему товарищу, пощупал его голову — голова пылала.

— Сидеть бы тебе дома, с бабой, а я, чорт-дурак, сманил тебя — пойдем, мол, чужие края усматривать... Да в могилу и завел, — вслух думал он. — Э-эх!

Едва нашел воды, вскипятил чаю, а в другом котелке сварил какую-то бурдамагу: ягода, трава, неизвестные коренья и грибы. Есть хотелось неимоверно. «Аж от голодухи пупок к спине присох». За эти дни он очень исхудал, плотно обхватившая синяя поддевка висела мешком, ноги дрожали, руки обессилели, и весь он одрях, словно разбитый хворью старец.

— Хоть бы ломоть хлеба, черствого, покрытого плесенью. Неужели больше не суждено досыта наесться? Мяса бы, мяса, вареного, с желтым жиром!

Степан сплюнул и вытер рукавом свисавшие в бороду усы.

— Нет, врешь, — бодрясь, шептал он, помешивая бурдамагу. — Авось, фартанет. Жизнь — штука темная, словно лес в ночи. — Но сердце не верило обману слов, сердце мучительно сжималось, и Степан рычал, как раненый зверь, уносящий в себе пулю.

— Вот и обед, ха-ха! Будить иль не будить?

Афоня подал голос:

— Я кусочек съел бы. Дай мясца. Горяченького. Козлятинки...

— Нету, товарищ, нету, милячок.

— А? — поднялся на локтях Афоня. — Ты чего, Степанушка, сказал?

— Нету, мол. Какая козлятина? Вот суп без круп.

Афоня сбросил шубу, сел:

— А козел? Я нашел. Я притащил. И спереди, и сзади по башке... А рога в сапогах... Э-эвот какие!..

Он снова повалился, почавкал пересохшим ртом, сказал:

— Пить...

Степан вытаращил глаза и на четвереньках подполз к нему:

— Ой, ты... Никак огневица. Заговаривается... Афоня, Афоня!

Больной лежал с закрытыми глазами, будто спал, на пылавшем лице улыбка, губы шевелились и вытягивались, искали чего-то. Льняные волосы нависли шапкой на белый потный лоб.

— Вот грех... В больницу надо бы... — горько улыбнулся Степан, вздыхая. Потом помочил в холодной воде утиральник, обмотал голову товарища.

Бурдамага была отвратительна. Но Степан жадно пожирал поволчьи, горькие коренья и грибы глотал целиком. Достал бутылку с водкой и, разглядывая, повертывал ее перед пламенем костра. Водки было немного, она искрилась желтым и синим.

— Чортово пойло... А?

Он берег ее для перевала через снега, но соблазн огромен: скулящая тоска и голод требовали дурмана. Степан задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил. Последний глоток долго задерживал во рту, было жаль расстаться. Зажал в горсть бороду, искоса посматривал на костер, не

видя его, и прислушивался к себе, ждал волшебства. Как будто стало легче, веселей, но эта веселость не настоящая, она обуяла лишь голову, а там, на сердце, в исподе, все так же одиноко, мрачно:

— Только разбередила... Тьфу!

Где-то надрывно стонала выпь, и поухивал филин. Над головой теплились звезды крупные, четкие. Выплыл месяц. Склоны хребта стали видимы сквозь сизую мглу ночи, от каменистых гребней и деревьев пала густая тень.

Степану показалось, что воздух вдруг похолодел, а жаркое дыханье костра ослабло. Он уставился на месяц и начал вслух думать, роняя бессвязные слова:

— Эвот ты куда взобрался, месяц-батюшка, какую высь. Поди, и деревню нашу видишь? Известно. Вот и скажи, крикни нашим-то, эвот рот у тебя, и глаза, и нос... Усмотрел, мол, я человека у костра, прозывается Степан Недокрытов, не вашей ли деревни он?

Степан помахал месяцу шапкой и силился улыбнуться, но улыбка вышла жалкая, плаксивая, язык заплетался, в отуманенной голове пляс и чехарда.

— Да ты ничего, понимаешь, такого не сказывай. Эй, месяц! Все, мол, честь честью... очень примечательно... Любови Офросимовне скажи, хозяйке моей... Сидит, мол, твой супруг, Степан Недокрытов, у костра, жив, здоров, и таковы ли радостные думы у него во всех мозгах... Очень даже радостно у него на кипучем сердечушке... Так все чередом, брат, и обскажи... Могилкам тоже посвети, батюшке с матушкой. Пускай не дожидаются гостя во сыру землю, пускай одни поляживают... вот-вот... А ты зубы-то не скаль, знай, слушай!

Степан огляделся кругом и зябко повел плечами: ему почудилось: живая тень бродит меж деревьев, прячется. Не медведь ли стервятник? Пусть, Степан не струсит. А, может, леший лесовой?

— Эй! — вскочил Степан, в сердце его бурлило. — Чорт! Леший! Бери душу! Продаю! Отрекаюсь! Себя не жаль, товарища жаль. Бери! Только укажи дорогу. Брось водить. Не озоруй... Бери душу! Чорт, сатана с хвостом! Кажи харрю! Эй!!! — и Степан по-цыгански свистнул.

— Степан, Степан! — резкий раздался Афонин голос. — Какие слова мелешь... Окстись!

Степан покачнулся. Словно проснувшись, он сразу отрезвел, пнул ногой пустую бутылку, подошел к Афоне и присел возле него на корточки.

— Тяжело чего-то стало, — тоскливо сказал он. — У души ноги ослабели, Афонюшка, не держат, вшат пошли.

— Возле нас чорт... Чу, гайкает.

В голубоватых зыбких далях посвистывало, пересмеивалось, пискливо завывало.

Афоня заохал, перекрестился.

— Ну, как? — спросил Степан.

— Плохо. Порешился я весь.

Степан долго не мог заснуть. Месяц укатился за горы, Сохатый перекинулся вправо. Степан лежал у потухавшего костра, не смыкая глаз. Чортово гуканье затихло, тягучая настала тишина. Степан ворочался, приподымался, жадно затягивался трубкой, валился вновь. Он не находил себе покоя. Все внутри ныло, тосковало страшно. Хотелось схватить нож и разом покончить неодолимую тоску. Такого душевного состояния он сроду не знавал. Впрочем, года три тому назад его мучил сгнивший зуб. Степан бросался тогда от боли на стену, брал в рот ледяную воду, боль вдруг стихала, но чрез мгновенье с удесятеренной силой валила его с ног. Потом, помнит, загнул железный гвоздь, вбил его под корень зуба и вырвал наболевшую гниль вместе с куском десны. Страданье кончилось.

— Ничего не остается, — сказал сам себе Степан, и рука его крепко сжала нож.

«Не смей», — ясно отпечаталось в самых ушах его. Он боднул головой и стал напряженно вслушиваться. Было тихо. Над лесом тянули птицы, крылья их торопливо свистали в ночном воздухе. Отфыркивался конь.

— Матушка, матушка... Родимые мои детушки... Женушка ненаглядная, — шептал из-под шубы Афоня.

Степан различил ухом, как Афоня плачет, и настороженная рука Степана выронила жадный до крови нож.

Утро было теплое, яркое, веселое. Степан встал бодрый. Отчаянье перегорело в нем и провалилось вместе с ночью в тартар. Он верил в наставший день — будет удача — в жилах гуляет взбудораженная кровь, в небе горит солнце. Светло, тепло. День будет удачный, верный.

Степан выпил ледяной воды, взял ружье с последним зарядом дроби и, посматривая на сверкавшие снега перевала, уверенно зашагал сквозь лес. Он сейчас принесет козленка, либо зайца, либо большую птицу.

Последний выстрел будет смертелен.

Чтоб не заблудиться, он делает на деревьях затесы топором. Вот только мучает голод, подтянуло живот. Ничего, сейчас. Горячее варево, парное мясо. А пока он обламывает молодые нежные верхушки у приземистых елок, очищает их и с аппетитом ест.

Полянка, мох. Степан бросил взгляд в можжевеловый, облитый солнцем, куст и замер. Под кустом кормилась крупная тетеря с цыпленком. Сердце заработало безостановочно, буйно. В глазах замелькали мухи, по пищеводу прокатилась судорожная волна, рот наполнился слюною.

«Афоня, Афонюшка, голубчик», — и, припав к земле, Степан, как ящер, стал красться к добыче. Тетеря совсем близко. От нее наносит ветерком вкусный дух. Так, так. Сейчас зажарят и съедят.

Хрустнул под коленкой сук, тетеря сорвалась, заклохтала и, описав круг, вновь села к тетеревенку. Сзади чуфыкнул тетерев-черныш, тетеря чуть растопырила крылья и завертела головой. Степан, вновь вминаясь в мох и не дыша, ползет все ближе, ближе. Осталось шагов десять. Пора.

Цыпленку захотелось поразмяться: он вытянул одну ногу, потом другую и весь встряхнулся, как молодой щенок. Тетеря позвала его «клу, клу» и клюнула ветку с кровавыми ягодами.

В Степане ожил хищник, сверкнули ненасытно глаза, но от волнения, бессонной ночи руки тряслись, и направленное в тетерю ружье ходило, как солома в ветер. С пихты, под которой притаился Степан, вдруг посыпалась хвоя: над самой головой его предупреждающе крикнул подлетевший тетерев. Тетеря тотчас отозвалась и приготовилась сорваться.

«А, ну!»

Степан спустил курок и вместе с грохотом кинулся вперед. Тетеря снялась с места и полетела низом, в чащу, маня за собой тетеревенка. Тот с испуганным гвалтом носился меж кустов, удирая от настигавшего его врага.

— Врешь, не уйдешь!.. Стегнуло!

Степан пал на него, он выскочил, понесся, Степан за ним. — Ага! Папороток перешиблен!.. Папороток! — Тетеревенок взлетел на сук, отдышался и, перепархивая с дерева на дерево, улетел на зов матери.

Степан, сжав кулаки, долго смотрел им вслед. Рот его был полуоткрыт. Потом свирепыми прыжками бросился к ружью, сгреб его в обе руки и, рыча, со всех сил стал бить им о дерево. Ложа — вдребезги, ствол изогнулся в колесо. Он отшвырнул изувеченную сталь и привалился плечом к сосне. Закрыл ладонями свое крупное, бородатое лицо, ссутулил широкую спину, съежился и стал жалок видом. Крепкий, своевольный мужик не мог сдержать малодушного, язвительного стона. Чтоб заглушить его, Степан до боли стиснул зубы, тогда из ноздрей вырвалось звериное мычанье. Степан хрипел, плевался. И вдруг сразу захотелось выкричать все, что накопилось внутри за сорокалетнюю жизнь его.

Тут представилась вся его каторжная участь с малых лет и до последнего месяца, вся русская мужичья жизнь. Безземелье, голод, нищета. А кругом: болезни, смерть, тяжкий, черный труд впустую, из-за корки хлеба. И единая радость — царев кабак. И единая радость — на шею петля. Для чего ж родился, для чего он жил, слепой и темный? Ведь вот другие люди, в городах, те все знают, им многое дано, вся мудрость жизни у них, как на ладони.

— А мы кто? Ни зверье, ни люди... Эх! Скотинка, тварь...

Кто же в этом повинен? Судьба. Будь проклята судьба отныне и до века! А кто загнал его и уложил в этот каменный гроб, в чужом краю? Мужики, односельчане. Будь они трижды прокляты! Но, ведь, он и сам темный, нищий мужик... Дак как же? Как?!. Черти, дьяволы! Ответьте, успокойте...

И лишь одна особая мысль кружилась над сердцем Степана. Издали, намеками она хотела ему открыться, и не открывалась, не могла: так ласточка среди бушующего океана безнадежно ищет, куда присесть.

«Жалеючи шел. Для миру старался. Мужиков жалел...» скользнуло было в сознании и пропало. Самое главное, огромное. И не осенило большим светом и не оправдало: слишком темна была ночь в душе.

И опять на маленькое, ничтожное, внутрь себя, внутрь своей личной жизни: тетеря, потерянный порох, неудачи.

Ноги его подгибались, плечо скользило по стволу, он присел к самым корням и, стиснув голову руками, выл. Вой был темный, страшный, необузданный: все человеческое, вечное, тонуло в нем, осталась одна земля, один допотопный зверь.

Потом быстро встал, вздохнул, отмахнулся рукой — разом все свалилось с крутых плеч — и твердым шагом пошел к костру. Был в душе холод, мрак, ярая ненависть к самому себе. Будь, что будет, но он расквитается с собой. Он отрубит свою проклятую, предавшую его руку, он выткнет себе оба глаза. Он... О, погоди, погоди.

Афоня лежал с открытыми глазами.

— Что, милячек, каков? — спросил Степан ласково.

— Неможется мне.

— Ничего, как-нибудь. Недалечко теперь. Да и солнышко...

— Степанушка, мне плохо.

Губы Афони были белы, лицо желтое, скуластое, щеки ввалились.

— Ничего, как-нибудь, — утешал его Степан, свернул шубы и навьючил лошадь: — Пойдем.

— Не выдюжить мне... Я бы тут подождал тебя.

— Пойдем!

Афоня повиновался. Степан взял его под руку, Афоня пошатывался, охал. Степан ощущал чрез свою рубаху, как от тела друга пышет жаром.

— Как же мы с тобою в снегах-то поплетемся? Афоня, друг...

— Не знаю. Заслабел я шибко.

— А там, за хребтом — кисельные берега, радуги, петухи индейские, калачи крупитчатые на березах... — Степан говорил, как сказку сказывал, улыбаясь, заглядывал в его глаза. Афоня не говорил ни слова. Степан недоумевал, почему Афоня не спросит про ружье?

Вот луга кончились, пошел крутой подъем, усеянный обломками скал и крупными окатными камнями. Начинался склон хребта. Афоня едва переставлял ноги. Степан выбивался из последних сил, в глазах от голода темнело, голова кружилась, позванивало в ушах.

По пути в полугоре одинокая приземистая сосна. Она словно вышла из лесу прогуляться, да тут и расселась лениво: крут подъем. Афоня со стоном повалился в ее тень:

— Не пойду... Хоть зарежь... — и заплакал.

Солнце палило. С хребта струились по склонам ручейки — дозорные вечных снегов. Над разогревшимися камнями дрожал, переливался

воздух. Под ногами Степана прошмыгнула зеленая ящерица. На соседний камень вскочила маленькая зверушка и посвистывала. Ей откликались другие свистунки. Вверху, под бледно-голубым небом, кружился орел. Он видел холодные снега, тайгу, край неба, еще видел за хребтами — вот тут и есть, рукой подать — жилища людей, табуны, зеленое приволье. А! Вот и эти две серые, припавшие к земле козявки... живы! Раскидистым винтом, плавно орел спускался, орлиный клекот слетел к земле. Свистунчики стремглав, вниз головой, за камни.

— Орел, — сказал Степан, подымая к небу взгляд.

Афоня молча лежал с открытыми, мокрыми глазами.

— Как же быть, Афонюшка? Надо итти.

— Силушка кончилась. Нету силушки.

— Ты сам посуди, милячек: назад итти — об одном коне, без корму, ближний ли свет? И помыслить страшно. Нежить кругом, безлюдье.

— Ку-у-да тут, — уныло протянул Афоня.

— А тут, может, два шага и жительство. Сказывал крестьянин, снега не широко лежат. Авось, как не то... А, может, и повстречается человек какой, как знать?

— Может, и повстречает.

Степан говорил ровным голосом, улыбался через силу: хорошо он знал, что снеговой путь — убойный, и человека встретить — не надейся. Степан понимал, что с полумертвым другом далеко не уйдешь, что их жизнь оборвется скоро. Но не лечь же под сосну, вот тут, да скрестить на груди руки и ждать конца. Нет, Степан со смертью еще поспорит.

И вдруг:

«Убить коня».

Лицо его сразу прояснилось, глаза загорелись. Вот оно! Отъедятся, отдохнут, а там разыщут путь: «с сытым брюхом куда угодно: вперед, назад».

— Посади ты меня на лошадь, — скрипуче заохал Афоня, — может, усижу.

— Дело, — согласился Степан, и мечта его камнем в омут.

«Нет, действительно, не гоже...» Назад без коня — голод замучит, вперед пешком — прямая смерть в снегах.

Едва хватило сил посадить в седло безжизненного Афоню. Степан задохнулся от натуги и присел на камень, обливаясь холодным потом. Мучил голод, ни на что бы не смотрел. Заморенный в тайге конь тоже обессилел: велик ли груз высохший Афоня, а коню в тягость.

Подъем делался все круче, израненные ноги лошади отказывались служить. Пойдет, пойдет, да станет... Степан понукает — стоит, дерет — стоит, только глазами говорит Степану — «пожалей».

— Зарезать падину, съесть! — кричит Степан...

— Да я лучше на осине удавлюсь... что я турка, что ли? Тьфу!

Согнувшись в три погибели, обхватив лошадь за шею, Афоня был как мертвый, голова моталась.

— Привяжи! свалюсь я... Ой, смерть, — как сквозь сон, тянул Афоня.

Становилось холодно, из балки, по которой подвигались, несло зимой.

Измученное тело Степана тоже требовало покоя, но пока солнце высоко, надо залезть на хребты, авось, сверху что-нибудь и досмотрит глаз. Авось...

Вот и снега. Белый, ослепительно сияющий погост. Степан щурится, едва перенося резкий свет, у Афони глаза прикрыты тряпкой. В начале, по северному склону плотный наст снега вздымал коня, но лишь перешли на солнце, конь сразу увяз по брюхо. Больших трудов стоило освободить его. Степан стал искать твердого места, но и сам провалился: снег раздрязг от солнца. На Степана напало равнодушие и желание все это разом кончить. Ему припомнилось предостереженье мужика не сворачивать с тропы: путь опасен, в ледниках встречаются огромные трещины, обманно перекрытые снегом: шагнешь — могила. Уж если сбились, надо друг с другом связаться веревкой, итти гуськом. Где она, тропа? Где веревка? Скорей бы провалиться.

А солнце снижалось, может быть, ночью станет твердый наст, но разве можно дожидаться ночи? Куда во тьме пойдешь, как заночуешь без огня?

Афоня совсем стал плох. Он стонал, хныкал, валился с лошади.

— Погубитель, погубитель... Что ты со мной делаешь? Куда завел? — бессвязно шептал он и, сорвав с глаз повязку, позвал шагавшего рядом Степана. — Степанушка, где ты! Не давай ему, не давай...

Степан шел, увязая вместе с лошадью, безжалостно хлестал ее по глазам плетью и не откликался. Лошадь вдруг ухнула передними ногами, смаху ударившись мордой о камень. Из рассеченной губы лилась кровь, лошадь вылизнула два выбитых зуба. Степан изозлился, исстегал ее. Выдираясь из густо рассеянных прикрытых снегом камней, она оборвала себе все копыта, щурила поврежденный плетью глаз, поджимала больные ноги. Степан плюнул, бросил плетку, сел. В душе пустота, ни одного желания, ни одной мысли. Лицо его вспыхивало и бледнело, белки глаз покрывались желтым налетом. Он перестал себя чувствовать, обратился в пень: дерево срублено, пень будет торчать серой кочкой, пока метель не навеет над ним сугроб.

Афоня сполз с лошади и, скрючившись, валялся возле, прямо на снегу.

Вечерело. Лучи солнца косо ударяли в снег. Все заалело кругом. От грудастых сугробов и неровностей по алому полю ложились голубые тени, алмазы горели в снегу огоньками. Разливался зимний холод. Лошадь дрожала, от нее клубился пар. А позади, внизу, было лето, зеленела тайга, шумели травы.

— Мороз на дворе, зима... На печку бы... — Это Афоню мучила хворь, он бредил. Рука его самовольно поддевала снег, прикладывала к горячему лбу.

— Степан, — тихо позвал он, очнувшись... — Поди ко мне...

Степан взглянул на солнце:

— Ого! Фу ты, чорт... Вечер! — и подошел к Афоне. Афоня дрожал, глаза были возбужденные, большие, в темных кругах.

— Вот и отходили мы с тобой, Степанушка. Беловодью конец. Умираю. Трудно. Дух сперло.

«Баба... — подумал Степан. — Из-за тебя гибну», — и колючим взглядом в Афоню, как стрелой. Потом сказал, кривя губы:

— А ты верь. Что же ты хнычешь?

— Верю.

— Верь, верь. Авось, бог валенки тебе пришлет, ангелы в баню поведут: парься! Эх, дура.

Молчание. Потом тусклый, рыхлый, как вата, голос:

— Смерть, так смерть... Когда-нибудь надо же... За мир старались.

Трудно. Больной замолк, глаза закрылись, дышал тяжело, прерывисто.

Степан стоял в одеревенении.

— Матушке кланяйся, батюшке кланяйся... Жене, ребяткам... — Афоня замотал головой.

— Отец твой давно померши. И матерь также.

— Все равно, кланяйся.

Степана что-то ударило в сердце.

— Скажи им, скажи... — Туть полились у Афони слезы, и лицо его исказилось.

Степан сказал:

— Пойдем.

— Закрой шубой, перекрести... Ступай.

— Пойдешь, или нет?

Афоня молчал. Алые снега и небо жадно вслушивались в человеческую речь, но были спокойны, холодны.

— Коня бросим. Я тебя поведу, пойдем. Я тебя, Афоня, на закукорах. Слышишь? Солнце закатается. Слышишь?!

Афоня заметался:

— Домой, домой! Я вперед тебя... Ковер такой — жар-птица... А ты верь, Петрованушка. Петрович... Ваня...

Степан снял с себя полушубок и сел пред умирающим на корточки. От Афони шел жар, дыханье вылетало хриплое, горячее. Степан укрыл товарища своим полушубком, огляделся вправо, влево и, в одной рубахе, неторопливо пошел вперед.

Итти было недалеко: громадная трещина саженной ширины пресекла путь. Снег тут сдуло, обнажился темный лед. Острые, словно обсеченные, края льда отвесно спускались в бездну, они отливали зеленоватым цветом, как бутылочное стекло.

Степан боялся подойти к краю: скользко. Он стал ползти. Заглянул в провалище. Бездонная тьма. Сделал руки козырьком, смотрел

вниз пристально, долго. Тьма. Стало жутко. Вздрогнул и — ползком назад. Руки закоченели. Всего облепило холодом, сжало, заморозило. Степан взмахнул несколько раз руками, подпрыгивая и стараясь ударить себя по спине, чтоб согреться. Из груди его рванулся какой-то лающий, скулящий крик. Еще и еще. Зубы стучали. Степану ясно: это он скулит, его замерзающее тело мечется, требует: спаси, спаси. Вдруг как-то все ожило, что позади, все вспомнилось, смотавшись в непереносимо яркий клубок. Назад бы, в жизнь бы. Глаза Степана расширились: «Помоги-и-те!». И другая, в левое ухо, кровь огнем кричит:

«Так тебе, чорту, так... Торчмя башкой... Ну!»

— Помоги-и-те!!

Резкий, отчаянный голос упал тут же, в ноги, и подхлестнул и взвил душу. Страшно напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в этих алых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же:

— Сам сдохну, а тебя, Афоня, выручу... Выручу, выручу, выручу...

Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула, задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь и урча. И все закровянилось: лицо, борода, рубаха. Глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная, звериная мощь.

Крякнул Степан и перевел дух:

— Сыт.

Афоня лежал под двумя шубами недвижимо.

— Афонюшка, товарищ... Повремени чуть-чуть, запри дух... Выручу, не умирай.

Осторожно стащил и с него свой полушубок, оделся, плюнул в пригоршни теплой кровью, ударил ладонь в ладонь:

— Айда! Рррработай!

И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает: вот и край перевала. Увидит внизу: дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям: «Братцы, спасайте человека. Человек замерзает, Афоня... Братцы!..» И чувствует как коченеет, замерзает сам. Руки совсем зашлись, грудь едва дышит от усталости. Опять та проклятая щель. И нет ей краю. Как попасть? Волку не перепрыгнуть, широка... Дьявол!

И видит: там, за провалищем, на посеревшем небе, четко маячит всадник.

— Эй!.. — не веря глазам своим, радостно закричал Степан.

Но всадник не остановился.

— Эй! Стой! Стой!

Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, готовил к ночи вьюгу. Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, отыскивая узкое место, чтоб перескочить.

— Стой!.. Стой!.. Стой!..

Ветер еще раз ударил вихрем, и не понять: сюда идет, или удаляется всадник. Уходит. Ага! Вот, кажется, здесь поуже. Надо перескочить... Уйдет, уйдет...

Вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах: «Спасай». Вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно: «Сто-о-ой!!.» — перекрестился:

— Эх, пропадай, душа... — и взвился над провалищем.

Страшный смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.

Сугробы алели.

Афоня подходил к нездешней райской земле. Он шел по облакам, по тучам.

Пастухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. «Куда?» — «Туда». — «А тут медведь с исправником в орлянку бьются». — «Подайся, Мишка, я исправник». И Афоня: — «Поддайся». Глядит: медведь знакомый, в третьем годе валенки ему, Афоне, подшил. — «Маши крыльями, маши!» — кричит орел. — «А скоро?» — «Бог даст, к вечеру».

Поля, поля... Будто все выжжено. Саранчи много на нивы пало, надлетают, ударяют Афоню в лоб. Афонин лоб звенит, как колокол: ба-а-ам. Мир поет: «Радуся, Афония, великий чудотво-о-рец!» — «А я, ведь, земли-то, братцы, не нашел... Сугроб нашел». Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. — «Пустите! Эй, посторонись!» — взрявкал медведь.

В это время стало так темно, так одиноко. Кой-где, кой-где огоньки.

— Нишяво, нишяво, лежи...

Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги калачиком, сидел на полу татарин в тибитейке и ласково смотрел на него.

— Помогать надо друг дружке, жалеть надо. Мухамет велел. Исса велел. Нишяво, нишяво... Ладна...

— А где товарищ мой, Степан?

— Какой товарищ? Нету товарищ.

Едва шевеля языком, Афоня объяснил.

— Яман дело... Совсем наплевать... Уж десять дней притащил тебя... Давно.... Нишяво, нишяво, лежи. Мой пойдет искать. Соседа забирал, шабра, с ним пойдем. Яман дело.

— Он за меня душу положил, Степан-то мой, — проникновенно, горестно сказал Афоня. — Сам загинул, а я живой... Собака я, — он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул.

— Который за людей сдохла, эвот-эвот какой большой, шибко якши, — дружески сплюнул татарин. — Шибко хорош, ой, какой хорош!..

— Из-за меня он... Собака я... — замотал головой Афоня. — Сидеть бы мне, собаке, дома.

Татарин опять сплюнул и сказал:

— Земля шибко якши тут... А-яй, какой земля самый хорош. Работать мало-мало можно, денга колотить можно.

Афоня слушал, то закрывая, то открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги этому черномазому, скуластому человеку, что спас жизнь, и плакать, плакать.

— Нишяво, лядна. Конь твой колоть надо, махан, мало-мало износился. Двух коней тебе дам: все равно зверь, все равно ветер... Вот какой... На! Денга не надо... Помогать надо. Вот-вот.

Афоня увидал на окне пороховницу Степана и коробочку с пистонами... Как?! Значит, они были у него, у Афони?!. А где ж ружье? Но не спросил.

Опять вспомнился Степан, вспомнился белый погост в горах. Но волна ликующей радости, все побеждая, гулко била в берега.

Растратчики.

Повесть.

Валентин Катаев.

Глава первая.

В тот самый миг, как стрелки круглых часов над ротондой московского телеграфа показали без десяти минут десять, из буквы А вылез боком в высшей степени приличный, немолодой гражданин в калошах, в драповом пальто с каракулевым воротником и каракулевой же шляпе пирожком, с каракулевой лентой и полями уточкой. Гражданин тут же распустил над собой сырой зонтик с грушевидными кисточками и шлепая по сплошной воде, перебрался через очень шумный перекресток на ту сторону. Тут он остановился перед ларьком папиросника, обосновавшегося на лестнице телеграфа. Завидев гражданина, старик в голубой фуражке с серебряной надписью «Ларек» высунул из шотландского пледа свои роскошные седины, запустил руку в вязаной перчатке с отрезанными пальцами под мокрый брезент и подал пачку папирос «Ира».

— А не будут они мокрые? — спросил гражданин, нюхая довольно длинным носом нечистый воздух, насыщенный запахом городского дождя и светильного газа.

— Будьте спокойны, из-под самого низу. Погодка-с!

После этого заверения гражданин вручил папироснику двадцать четыре копейки, сдержанно вздохнул, спрятал розовую пачку в карман брюк и заметил:

— Погодка!

Затем он запахнул пальто и пошел мимо почтамта вниз по Мясницкой на службу.

Скучно, товарищи, на Мясницкой улице в середине ноября, в тот утренний, тусклый час, когда мелкий московский дождик нудно и деятельно поливает прохожих, когда невероятно длинные прутья неизвестного назначения, гремящие на ломовике, норовят на повороте въехать в самую морду своими острыми концами, когда ваш путь вдруг преграждает вывалившийся из технической конторы поперек тротуара фрезерный станок или динамо, когда кованная оглобля битюга бьет

нас в плечо, и крутая волна грязи из-под автомобильного колеса окатывает и без того задрипанный подол пальто, когда стеклянные доски трестов оглушают зловещим золотом букв, когда мельничные жернова, соломорезки, пилы и шестерни готовы каждую минуту тронуться с места и, проломив сумрачное стекло витрины, выброситься на вас и превратить в кашу, когда на каждом углу воняет из лопнувшей трубы светильным газом, когда зеленые лампы целый век, с утра, горят над столами конторщиков — ух, как скучно тогда, товарищи, на Мясницкой улице!

Гражданин свернул в переулок и вошел в первый подъезд углового дома. Тут он отряхнул и скрутил зонтик, потоптался калошами на вздувшейся сетке проволочного половика, а, пока топтался, с отвращением прочитал от доски до доски прошлогоднее объявление спортивного кружка, намалеванное синей краской на длинной полосе обойной бумаги.

Затем гражданин не торопясь поднялся по заслякоченной мраморной лестнице на третий этаж, вошел в открытую дверь налево и двинулся по темноватому коридору вглубь учреждения. Он свернул направо, затем налево, по дороге сунул нос в каморку, где курьер и уборщица усердно пили чай, разговаривая о всемирном потопе, и наконец очутился в бухгалтерии.

Большая комната о пяти сплошных окнах, доходящих до самого пола, разгороженная, как водится, во всю длину деревянной стойкой, была заставлена столами, сдвинутыми попарно.

Гражданин открыл калитку, проделанную в стойке, заглянул мимоходом в ведомость, которую проверяла, щелкая на счетах, надменная девица в вязаной голубой кофте с выпушками, похожей на гусарский ментик, провел усами по пачке ордеров, разложенных меж пальцев рыжеватого молодого человека, плюнул в синюю плевательницу и проследовал за стеклянную перегородку, устроенную на манер аквариума в правом углу бухгалтерии. Тут на двери висела печатная таблица:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Ф. С. ПРОХОРОВ.

Покуда главный бухгалтер, упираясь рукой в стенку, снимал кряхтя калоши с буквами и разматывал шерстяной шарф, вошел курьер и поставил на красное сукно письменного стола стакан чаю.

По всем признакам курьер был не прочь поговорить.

— Газетку, Филипп Степанович, просматривать будете? — спросил он, вешая бухгалтерское пальто на гвоздик.

— Газетку?

Филипп Степанович многозначительно подмигнул почечным глазом, сел за стол, выложил пачку папирос и разгладил платком длинные свои, зеленоватые усы, словно бы сидящие верхом на голом как пятка подбородке с кисточкой под нижней губой, чем дал понять, что может и поговорить.

— А что в ней может быть интересного, Никита? — сказал он.

Никита установил в угол зонтик, облокотился спиной о дверной косяк и скрестил руки на груди.

— Многое может быть интересное, Филипп Степанович, — не скажите.

Главный бухгалтер вытащил из пачки длинную папиросу, постукал мундштуком по столу, закурил, поворотился боком на деревянном кресле и подмигнул другим почечным глазом.

— Например?

— Например, Филипп Степанович, бывают напечатаны довольно интересные происшествия. Вроде критики советской власти.

— Эх, Никита, — заметил главный бухгалтер с чувством глубокого превосходства и сожаления, — зря из тебя, Никита, неграмотность ликвидировали. Ну, какой же ты читатель газет, если тебе самому непонятно о чем ты читаешь?

— Никак нет, Филипп Степанович, понятно. Зачем же тогда читать, если непонятно? Очень интересная критика бывает запущена.

— Какая может быть критика?

— Да ведь вы и сами знаете, Филипп Степанович...

Никита переступил с ноги на ногу и застенчиво заметил:

— Насчет бегов, то-есть, критика.

— Бегов? Да ты просто пьян! Каких бегов?

— Бега у нас теперь известно какие, — со вздохом сказал курьер: — бегут один за другим, и все тут.

— Да кто же бежит?

— Растратчики же и бегут. Дело ясное. Садятся с казенными суммами на извозчика и едут. А куда они едут — неизвестно. Надо полагать, по городам едут. Например, я сегодня такую критику вычитал, что за октябрь месяц кругом по Москве из различных учреждений не менее как полторы тысячи человек таким образом выехало.

— Да... — заметил главный бухгалтер, разглядывая кончик тлеющей ягодкой малины папиросы и выпуская из ноздрей дым. — Н-да...

— Что же это будет, Филипп Степанович, вы мне скажите, если все таким образом разъедутся? Очень скучная служба получится. Возьмите к примеру нашу Мясницкую улицу. Конечно, сколько на ней приходится различных учреждений — в точности неизвестно, но что касается, то в этом угловом доме есть всего пять, а вместе с нашим — шесть. Считайте первый этаж — два: главная контора «Уралкварц» и «Все для радио», второй...

— Для чего ты мне все это говоришь?

— А для того, — сказал Никита, быстро загибая пальцы, — что весь второй этаж занимает «Электромаш», итого три, третий этаж мы и «Тросстрест», итого пять и четвертый этаж «Промкуст», итого шесть.

— Никита! — строго сказал главный бухгалтер.

— Теперь примите во внимание, Филипп Степанович, что «Уралкварц», «Все для радио», «Электромаш» и «Тросстрест» уже растратились на прошлой неделе, — захлебнувшись в невероятной быстроте речи, выло-

жил Никита, — а из «Промкуста» только-только кончили вывозить сегодня на рассвете. В семь часов последняя подвода отъехала.

— Никита, что ты мелешь! Почему подвода?

— Дело известное, на извозчике осьмнадцать тыщ медной монетой с четвертого этажа на вокзал не увезешь.

— Кто ж это держит такую крупную наличность в медной монете? — строго изумился бухгалтер. — Ты просто выдумываешь, Никита. Уходи.

— Не я это выдумал. Председатель ихнего правления распорядился, для того, чтобы казенные суммы предохранить. Надо быть думал, что как начнут они, то-есть кассир, извините, с бухгалтером мешки с четвертого этажа по лестницам таскать, тут их голубчиков кто-нибудь и пристегнет. Оказывается, и ничего подобного. Да я сам, едва стало развидняться, вдруг слышу на лестнице шум. Накинул шинелку, выхожу. Вижу: тащат мешок. У меня и подозрения никакого на этот мешок не явилось. Мало ли что. Может, они какую-либо кустарную продукцию на рынок выбрасывают. Или же, допустим, простая картофель. Я себе немного постоял и ушел с лестницы, ах ты, боже мой! А там, значит, у подъезда уже подводы — и на вокзал. Через это у них сегодня жалованье сотрудникам не выдают. Потому что нечего выдавать. Одни мы нерастраченными на весь угловой дом и остались...

— Ты, наверное, врешь, Никита, иди, — сердито молвил Филипп Степанович, — нету у меня времени с тобой беседовать, — этот стакан остыл, принеси горячий.

— Филипп Степанович, — тихо сказал Никита, убирая чай, — и вы обратите внимание, что как у нас на этой неделе собираются выплачивать жалованье, то ни у кого из сотрудников нету денег, а которые числятся по шестому разряду сетки, так у тех, могу сказать про себя, копейки не осталось от прошлой получки...

— Ступай, Никита, — строго прервал его главный бухгалтер. — ты мне своей болтовней мешаешь работать. Уйди пожалуйста.

Никита потоптался на месте, но лицо Филиппа Степановича было непреклонно.

— А то ведь это что же такое, ежели все разъедутся, — пробормотал Никита, боком выходя из аквариума, — очень скучная служба получится без жалованья.

Филипп Степанович наладил на нос пенснэ, со скрипом разогнул толстую конторскую книгу и, подтащив к себе костяшки, погрузился в заботы. Изредка разогретый трудом он откладывал в сторону пенснэ и сквозь стеклянные рамы загородки окидывал превосходным взглядом помещение бухгалтерии. И тогда ему представлялось, что он — никто иной, как опытный генерал, мужественно и тонко руководящий с возвышенности некими военными операциями чрезвычайной сложности.

Вообще надобно заметить, Филипп Степанович был не чужд некоторой доли фантазии, весьма опасной в его немолодые годы.

С самой японской кампании, которую он проделал в чине поручика и закончил, выйдя в запас, штабс-капитаном, вся его дальнейшая жизнь, скромно посвященная финансово-счетной деятельности в различных учреждениях и служению пенатам, отличалась, впрочем, образцовой умеренностью и похвальным усердием. Война 1914 года не слишком потревожила капитана запаса. Благодаря связям жены и стараниям торгового дома Саббакин и сын, где он служил в то время, Филипп Степанович словчился и получил белый билет. Наступившая затем революция также коснулась его не более, чем всех прочих бухгалтеров, проживавших в то время на территории бывшей Российской империи, т.-е. почти вовсе не коснулась. Одним словом, Филипп Степанович был исправнейшим гражданином. И при всем том в его характере совершенно незаметно водилась этакая чертовщинка авантюристической складки. Например, история его необычайной женитьбы еще свежа в памяти старых московских бухгалтеров, и если хорошенько порыться в Румянцевской библиотеке, то можно, пожалуй, отыскать тот номерок «Московской Брачной Газеты» за 1908 год, где отпечатано следующее объявление:

ОТКЛИКНИСЬ, АНГЕЛ!

ВОИН, ГЕРОЙ ПОРТ-АРТУРА и КАВАЛЕР ОРДЕНОВ,

ВЫШЕДШИЙ В ЗАПАС В ЧИНЕ ШТАБС-КАПИТАНА,

трезвый и положительный, а равно лишенный физических дефектов, решил перековать

МЕЧ НА ОРАЛО

с целью посвятить себя **финансово-счетной** деятельности, а также **тихой семейной жизни.**

СЫН МАРСА ИЩЕТ ПОДРУГУ ЖИЗНИ!

Желательно пышную вдову, блондинку, **обеспеченную небольшим состоянием или же делом,** с тихим кротким характером. Цель — брак. Анонимным интриганкам не отвечу. Предложения только серьезные, адресовать до востребования предъявителю трехрубл. ассигнации № 8563421.

И что же! Пышная вдова явилась. Она спешно прикатила из Лодзи в Москву и вскружила голову одичавшему сыну Марса. Она немедленно устроила ему тихое семейное счастье и через месяц стала его законной женой. Правда, впоследствии оказалось, что где-то в Варшаве у нее имеется двухлетняя дочка Зоя невыясненного происхождения, но великодушный штабс-капитан охотно усыновил малютку. Что же касается

обеспечения небольшим состоянием или же делом, то небольшого состояния не оказалось вовсе, но зато дело было: вдова умела превосходно изготовлять бандажи, корсеты и бюстгальтеры, что давало семье небольшой добавочный доход. Словом, штабс-капитан запаса не имел никаких оснований жаловаться на брак, заключенный столь авантюрным способом, а глава фирмы Саббакин и сын, старик Саббакин, даже как-то под пьяную лавочку на блинах заметил: «Вы, господа, теперь с Филипп Степановичем не шутите, ибо он у нас помощник главного бюстгальтера». Хороший был старик!

Кроме чертовщинки авантюристического свойства, в характере Филиппа Степановича проявлялась иногда еще одна черта: — легкая ирония, незаметное чувство превосходства над окружающими людьми и событиями, терпеливое и безобидное высокомерие. Очень возможно, что она родилась давным-давно, именно в ту минуту, когда Филипп Степанович, лежа на животе среди гаоляна в пикете под Чемульпо, прочел в походном великосветском романе следующую знаменательную строчку: «Граф Гвидо вскочил на коня»...

Сам великосветский роман года через два забылся, но жгучая фраза о графе навсегда запечатлелась в сердце Филиппа Степановича. И что бы он ни видел впоследствии удивительного, какие бы умные речи ни слышал, какие бы потрясающие ни совершались вокруг него события, Филипп Степанович только подмигивал своим почечным глазом и думал — даже, может быть, и не думал вовсе, а смутно чувствовал: — «Эх вы, а все-таки далеко вам всем до графа Гвидо, который вскочил на коня, да-ле-ко!»... И, как знать, может быть, представлял самого себя этим великолепным и недоступным графом Гвидо.

Около двух часов, подписав несколько счетов и финансовых ордеров, Филипп Степанович закурил третью по счету за этот день папиросу, вышел из своей загородки и направился к кассе.

Касса была устроена в таком же роде, как и загородка самого Филиппа Степановича, с той только разницей, что была сделана из фанеры и окошечком своим выходила в коридор.

Филипп Степанович приоткрыл боковую дверцу, заглянул в кассу и сказал негромко:

— Ваничка, какая у тебя наличность?

— Тысячи полторы, товарищ Прохоров, — ответил изнутри, также негромко, озабоченный, молодой голос. — По счетам платить сегодня будем?

— Надо бы часть мелких заплатить, — сказал главный бухгалтер и вошел в кассу.

Кассир Ваничка сидел перед окошком за маленьким прилавочком на литом фоне несгораемого шкафа и разбирал зажигалку. Аккуратно разложив на алом листе промокательной бумаги ладные винтики, колесики, камушки и пружинки, Ваничка бережно держал в пальцах медный патрон, то дуя в него, то разглядывая на свет.

Сильная полуватная лампа под зеленой тарелкой висела как раз по середине кассы. Она ярко освещала Ваничкину нестриженную, нечесанную голову, где спелые волосы росли совершенно естественно и беззаботно, образуя на макушке жиденький водоворотик, а на лбу и на висках мысики. Ваничка был одет в черную гимнастерку, горчичные штаны галифэ и огромные, выше колен, неуклюжие яловые сапоги, делавшие его похожим на кота в сапогах. Поверх ворота гимнастерки, вокруг шеи был напущен толстый ворот рыночного бумажного свитра.

Ваничка был чрезвычайно маленького роста. Может быть, именно за этот маленький рост, за молодость лет, а также за тихость и вежливость, все в учреждении, даже сам председатель правления, кроме, разумеется, курьера и уборщицы, называли его по-семейному, Ваничкой.

Ваничка нежно и заботливо любил свое небольшое кассовое хозяйство. Он любил свой большой, красивый, всегда хорошо очиненный карандаш — наполовину красный, наполовину синий — и даже про себя называл его уважительно Александром Сидоровичем: Александр — красная половинка, Сидорович — синяя. Любил яркую полуватную лампу, любил баночку гуммиарабика, чернильницу, ручку и другую ручку на прилавке кассы, привязанную за веревочку, чтоб не утащили. Любил и уважал также Ваничка свой большой, толстый несгораемый шкаф иссиня керосинового цвета, великолепные, длинные, никкелированные ножницы и пачки денег, тщательно рассортированные, разложенные в столе.

И не было для Ванички большего удовольствия в жизни, как, отметив Александром Сидоровичем синюю птичку против чьей-нибудь фамилии в ведомости, тщательно отсчитать пачечку ассигнаций, придавить их столбиком серебра, подбросить для ровного счета несколько медяков и, выдвинув в окошечко, сказать: «Будьте полезны. Как в аптеке».

В промежутках же между платежами Ваничка опускал стеклянную раму окошечка, на котором было написано снаружи золотыми буквами «Касса», и, читая изнутри наоборот — «ассак», принимался возиться с зажигалкой. Разберет, нальет из бутылочки бензину, завинтит, щелкнет, пустит багровое пламя, задует, потянет пальцами фитилек, снова зажжет, задует и, напевая: «ассак, ассак, ассак» — начинает разбирать сызнова. Потому и ассигнации, выдаваемые Ваничкой, слегка попахивали бензином.

Так и служил Ваничка. А что он делал вне службы, где жил, чем интересовался, что читал, куда ходил обедать — было совершенно неизвестно.

Ваничка поднялся навстречу вошедшему в кассу главному бухгалтеру и поздоровался с ним так почтительно и низко, точно пожимал ему руку поверх собственной головы.

— Вот что, Ваничка, — сказал Филипп Степанович — тем деловым и негромким голосом, смахивающим на бурчание в животе, каким обыкновенно совещаются врачи на консилиуме, — вот что, Ваничка. Завтра надо будет выплачивать сотрудникам жалованье. Кроме того, у нас есть

несколько просроченных векселей. Ну, конечно, и по остальным счетам. Словом, надо завтра так или иначе развязаться с задолженностью.

— Так, — сказал Ваничка с готовностью.

— Ввиду болезни артельщика тебе, Ваничка, значит, надо будет сходить в банк получить по чеку тысяч двенадцать.

— Так-с.

— Ты вот что, Ваничка... Отпусти сначала людей, — Филипп Степанович показал усами в коридор, где через окошечко виднелись люди, томящиеся на деревянном диване с прямой спиной, — отпусти, Ваничка, людей и через полчаса загляни ко мне.

— Как в аптеке.

Ваничка отложил в сторону зажигалку, открыл окошечко и, высунув из него голову, ласково сказал:

— Будьте любезны, товарищи, расписывайтесь кто по ордерам.

Филипп Степанович между тем отправился к члену правления по финансовым делам за чеком.

Член правления выслушал Филиппа Степановича, повернулся в профиль и страдальчески взял в кулак свою изящную, шелковистую, оборудованную по последней берлинской моде, бороду.

— Все это очень хорошо, — сказал он, жмурясь, — но зачем же посылать именно кассира? Знаете, теперь такое время, когда каждую минуту ждешь сюрпризов. И потом, откровенно говоря, не нравится мне этот Ваничка. Между прочим, откуда он взялся?

Филипп Степанович с достоинством поднял брови.

— Ваничка откуда взялся? Как же, он у нас уже полтора года служит, а порекомендовал его, если помните, еще сам товарищ Туркестанский.

— Полтора года? Не знаю, не знаю, — кисло поморщился член правления, — может быть. Но, понимаете, он мне не внушает доверия. Войдите наконец, в мое положение, ведь я же за все отвечаю... Как хотите... В конце концов... Одним словом, я вас убедительно прошу — отправляйтесь в банк вместе с ним... Лично... А то знаете Ваничка, Ваничка, а потом и след этого самого Ванички простыл. Уж вы будьте любезны. После истории с «Промкустом» я положительно не знаю что и делать... Хоть стой возле кассы на часах с огнестрельным оружием. И потом, я вам скажу, у этого вашего Ванички глаза какие-то странноватые... Какие-то такие очень наивные глаза. Словом, я вас прошу.

Обессилев от столь долгой и прерывистой речи, член правления подписал чек, приложил печать, помахал чеком перед своими воспламененными волнением щеками и, наконец, не глядя на Филиппа Степановича, отдал ему бумажку.

— Пожалуйста. Только я вас прошу. И главное — не выпускайте его из виду.

Через полчаса высокий Филипп Степанович под зонтиком и маленький Ваничка в пальтишке солдатского сукна, с портфелем под мышкой, шагали под дождем вниз по Мясницкой.

Глава вторая.

Курьер Никита долгое время лежал животом поперек перил, свесившись в пролет лестницы, и прислушивался.

— Ушли, — прошептал он, наконец, покорно, — ушли, так и есть.

Он ожесточенно поскреб затылок и аккуратно плюнул вниз. Плевок летел долго и бесшумно. Никита внимательно слушал. Когда же плевок долетел и с треском расплющился о плиты, наполняя лестницу звуком сочного поцелуя, Никита поспешно сполз с перил и рысью побежал к себе в каморку. Тут он, суетясь, влез в длинный, ватный пиджак, просаленный на локтях, нахлобучил картуз и пошел искать уборщицу.

Уборщица сидела в коридоре за перегородкой и мыла стаканы.

— Уборщица, живо пиши доверенность на жалованье.

— Нешто платят?

— Пиши, говорю, не спрашивай. А то шиш с маслом получишь.

— Не пойму я тебя, Никита, — проговорила уборщица, быстро вытирая руки об юбку, и побледнела. — Ушли, что ли, они?

— Нас с тобой не спросились. У них в руках чек на двенадцать тысяч.

Уборщица всплеснула руками.

— Не вернутся, значит?

— Уж это их дело. Доверенность-то писать будешь? А то чего доброго упустишь их, тогда пиши пропало. В Москве, чай, одних вокзалов штук до десяти; побежишь на один, а они в это время с другого выедут. Пиши, Сергеева, пиши, не задерживай.

Уборщица перекрестилась, достала из ящика пузырек с чернилами, четвертушку бумаги, корявую, ядовито розовую ручку и обратила к Никите неподвижные свои, белые глаза. Никита присел на край табуретки, расправил ватные локти и, трудно сопя, написал витиеватую доверенность.

— Подписывай!

Уборщица подписала свою фамилию и тут же вспотела. Никита аккуратно сложил бумажку и хозяйственно спрятал ее в недра пиджака.

— Поеду теперь по банкам, — сказал он, — если в «Промбанке» не найду, так наверняка они в Московской Конторе получают. Дела.

С этими словами Никита быстро удалился.

— В пивную, Никита, смотри не заходи, не пропей! — слабо крикнула ему вслед уборщица и принялась мыть стаканы.

Под проливным дождем Никита добежал до Лубянской площади. Уже порядочно стемнело. Стены домов, ларьки, лошади, газеты, фонтан посредине — все было серо от воды. Кое-где грязь золотела под ранними, еще не яркими фонарями автомобилей. Автобусы с тяжелым хрюканием наваливались вдруг из-за угла на прохожих. Люди шарахались, ляпая друг друга грязью. Сорвавшаяся калоша, крутясь, летела с трамвайной подножки и шлепалась в лужу. Мальчишки-газетчики кричали:

— Письмо Николай Николаевича Советской власти! Манифест Кирилла Романова! Речь товарища Троцкого!

Брызги и кляксы стреляли со всех сторон. Противный холод залазил за шиворот. Было чрезвычайно гнусно.

Никита терпеливо дождался трамвая и, работая локтями, втиснулся на площадку. Вагон был новенький, только что из ремонта, сплошь выкрашенный снаружи свежим крапплаком и расписанный удивительными вещами. Тут были ультрамариновые тракторы на высоких зубчатых колесах, канареечно-желтые дирижабли, зеленые, как переводные картинки, кудрявые деревенские пейзажи, тщательно выписанные — кирпичик к кирпичику — фабричные корпуса, армии, стада и манифестации. Знамена и эмблемы окружали золотые лозунги «Земля крестьянам — фабрики рабочим», «Да здравствует смычка города и деревни», «Воздушный красный флот — наш незыблемый оплот» и многие другие. От мокрых стен вагона еще пахло олифой и скипидаром. В общем весь он был похож на тир, поставленный на колеса и выехавший к общему удивлению в одно прекрасное воскресенье из увеселительного сада.

Подобных вагонов ходило по Москве немного, и Никита ужасно любил в них ездить. Они приводили его в состояние восхищения и патриотической гордости. «Вот это я понимаю, — думал он, неизменно протискиваясь на площадку, — трамвай что надо. Вполне советский, нашенский».

Попав в любимый вагон, Никита сразу повеселел и окреп духом. — «Ладно, — думал он, — я их живо отыщу. Трамвайчик не выдаст».

И действительно, едва Никита вошел в вестибюль банка, как увидел Филиппа Степановича и Ваничку. Они сидели на диванчике под мраморной колонной и совещались. Никита осторожно, чтобы не спугнуть, зашел сбоку и стал слушать.

— В портфель, Ваничка, суммы класть неудобно и опасно, — говорил поучительно бухгалтер. — Того и гляди хулиганы вырежут. Мы сделаем так: шесть тысяч ты у себя размести по внутренним карманам, а шесть я у себя размещу по внутренним карманам, — верней будет.

— Вот, вот, — прошептал Никита, дрожа от нетерпения, — поспел-таки. Делются.

Ваничка озабоченно пересчитал пачки хрустящих, молочных червонцев и половину отдал Филиппу Степановичу. Бухгалтер расстегнул пальто, и уже собрался определить сумму в боковые карманы, как Никита вышел из-за колонны и снял картуз. Он вытянул руки по швам и склонил голову.

— С получкой, Филипп Степанович.

Прохоров вздрогнул, увидел курьера и нахмурился.

— Почему ты здесь, Никита? Кто тебя прислал?

Никита быстро засунул руку за борт пиджака и молча подал изрядно отсыревшую доверенность.

— В чем дело? — проговорил Филипп Степанович, обстоятельно надевая на нос пенснэ и слегка откидывая голову, чтобы прочесть документ.

Он прочел его, затем снял пенснэ, посмотрел на Никиту взором высшего гнева и изумления, замотал головой, хотел что-то сказать, но не нашел слов, и получилось грозное мычание. Филипп Степанович очень покраснел, отвернулся, надел пенснэ, покрутил перед своим лбом пальцами, покосился на Никиту, протянул бумажку Ваничке.

— Попрошу вас быть свидетелем, товарищ кассир, до чего обнаглели курьеры в наше время, — произнес он довольно официальным, вибрирующим голосом.

Ваничка прочитал бумажку и укоризненно покачал головой.

— Как же так, Никита, — сказал он по возможности ласково, — разве можно приставать к людям до такой степени, чтоб ходить за ними даже в банк? Завтра все будут получать, и уборщица Сергеева получит, с удовольствием.

— Дозвольте получить сегодня как за себя, так и за уборщицу, — сказал Никита, не трогаясь с места и не отводя глаз от ассигнаций. — Сделайте исключение из правила.

— Это еще что за новости, — воскликнул бухгалтер в сильнейшем волнении, — а вот я на тебя за такие штуки подам заявление в местком. Распустился!

— Пожалуйста, Филипп Степанович, — тихо, но настойчиво сказал Никита.

— Я даже разговаривать с тобой не нахожу нужным, такая наглость! — заметил бухгалтер и уложил деньги в боковой карман: — пойдем, Ваничка.

Филипп Степанович и Ваничка быстро двинулись, как бы сквозь Никиту, и вышли на улицу, придерживая пальцами боковые карманы.

Никита слегка забежал вперед и надел шапку.

— Выдайте, Филипп Степанович.

— Что за нетерпение, я не понимаю. Во всем нужен хоть какой-нибудь порядок. Ведь если за мной все сотрудники начнут бегать таким образом по улицам, так что же из этого получится!

— Не будут, Филипп Степанович, бегать. Сотрудникам что, сотрудники не меньше как по 12 разряду получают, перетерпят. Выдайте, товарищ Прохоров.

— Завтра, Никита, завтра. Не помрете ж вы с Сергеевой до завтра.

— Не помрем.

— Ну, вот видишь, так в чем же дело?

— Сегодня это, Филипп Степанович, одно, а завтра может быть совершенно другое. Выдайте.

— Фу, чорт! не выдам! Да что же, в конце концов, вот тут осередь улицы без ведомости под дождем, в темноте вынимать суммы и выплачивать? Уж если тебе действительно так приспичило, так ты поскорей иди в учреждение, а мы с Ваничкой сейчас подъедем на извозчике. Там и выдадим. Не задерживай. Время темное, а у нас казенная наличность. Иди, Никита.

При словах извозчик и казенная наличность Никита взмахнул локтями, точно подрубленными крыльями; пестрый свет электрических лампочек упал из витрины магазина радио-принадлежностей на его побелевший от волнения нос. Курьер издал горлом короткий, ни с чем не схожий тоскливый звук и схватил бухгалтера за рукав.

— Это зачем же, товарищи, на извозчика садиться с казенной наличностью. Пока пятое, десятое... И вы также, товарищ кассир, войдите в положение людей... А что касается выдавать под дождем, так тут за углом в двух шагах есть тихая столовая с подачей. Займет не больше двух минут времени, а тогда хоть и на извозчика, хоть и на вокзал, в час добрый, а я себе пойду. Вон она светит. Сделайте снисхождение.

— Ну, что с ним поделаешь, Ваничка? Выдать сумму, конечно, недолго, но ведь если бы ведомость была, а то главное ведомости нету. Нет, Никита, никак невозможно без ведомости.

Между тем, Никита как будто нечаянно напирал с флангу и подталкивал Филиппа Степановича и Ваничку в переулок.

— Чего там без ведомости, — бормотал он. — Ничего, что без ведомости. Дело вполне возможное. Всем известно: шестой разряд по тарифной сетке, за полмесяца, без вычетов — есть двенадцать рублей и пятьдесят копеек, и столько же причитается уборщице Сергеевой по доверенности. А товарищ кассир пускай потом птичку в ведомости отметят, и дело с концом.

— Это незаконно, — слабо заметил бухгалтер, торопливо изворачиваясь под ударами воды, низвергавшейся с барабанным боем на зонтик.

— Куда ты нас ведешь, курьер, у меня сапоги насквозь мокрые, ни черта не видно! — воскликнул Ваничка и тут же попал ногой в черную, глубокую воду.

— Будьте покойны. Уже подошли. Тут через дом. И можно обсушиться, — засуетился Никита, боком перепрыгивая через лужи, — держитесь, Филипп Степанович, правее. Займет — пустяки. Товарищ кассир, правее держитесь. Такая собачья погода, будь она трижды... Пожалуйте.

Невидимый до сих пор дождь вдруг стал резко виден, падая сплошной сетью мимо жемчужного поля, неярко освещенного стекла, на котором густо просвечивал багровый рак. Никита отодрал потную, набухшую, как в прачечной, дверь. Она отчаянно завизжала. Отрадный свет ударил в глаза, уставшие от дождевой тьмы. «Икар и овип», механически прочел Ваничка по привычке справа налево плакат, прибитый над стойкой. Филипп Степанович закрыл зонтик, постучал им об пол и украдкой потрогал боковой карман. Две длинные капли слетели с кончиков его усов.

— Пожалуйте, пожалуйте, — приговаривал, между тем, Никита, деятельно бегая вокруг них и подталкивая в пустоватый зал, где горело всего два рожка, — сюда вот, за этот столик, под елочку. Здесь будет вроде как в лесу.

Филипп Степанович строго надулся, потер переносицу, на которой возле глаз виднелись коралловые рубцы от пенснэ, и мигом оценил положение в том смысле, что вообще не следовало бы, пожалуй, заходить в пивную, но уж раз зашли, то отчего бы не погреться и не выпить бутылочку пива, с подчиненными сослуживцами. В былое время даже старик Саббакин иногда захаживал со своими конторщиками в трактир Львова, у Сретенских ворот, послушать машину и выпить водки, а ведь какой человек был! Что же касается учреждения, то время приближалось к пяти, к концу занятий, так что не имело ни малейшего смысла торопиться. Рассудив все таким образом, Филипп Степанович расстегнулся, повесил на сук елки зонтик и шляпу, раскинулся на стуле, накинул пенснэ и превосходным взглядом осмотрел пивную.

— Чего прикажете? — спросил официант в серой толстовке и в фартуке, тотчас появляясь перед ним.

Филипп Степанович припомнил, как старик Саббакин в таких случаях лихо расправлялся у Львова, искоса поглядел на Никиту и Ваничку, выставил ногу в калоше и быстро заказал графинчик очищенной, селедочки с гарниром, порцию поросенка под хреном и пару чаю.

— Водкой не торгуем, только пивом, — со вздохом сказал официант и, горестно улыбаясь, свесил голову. — Патента не имеем.

— Что ж это за трактир, если нету водки? — насмешливо и вместе с тем строго спросил Филипп Степанович. Официант еще ниже опустил голову, как бы говоря: «Я и сам понимаю, что без водки настоящему трактиру не полагается, да ничего не поделаешь: время теперь такое».

Филипп Степанович, разумеется, очень хорошо знал, что в теперешних пивных водки не подают, но жалко было упустить случай щегольнуть перед подчиненными и слегка унизить официанта.

— В таком случае, — сказал он баритоном, — дай ты нам, братец, парочку пивка да раков камских по штучке, да воблы порцию нарежь отдельно, если хорошая, да печеных яиц почернее подбрось.

— Слушаю-с.

Официант, сразу оценив настоящего заказчика, почтительно удалился задом, на ходу быстро поворотился и, как фокусник, щелкнул выключателем. Сразу стало втрое светлее.

Ваничка робко кашлянул, почти с ужасом восторга поглядел на Филиппа Степановича и тут только в первый раз в жизни вдруг понял, что такое настоящий человек.

Между тем, заметив произведенное им впечатление, Филипп Степанович, тонко улыбаясь, разгладил платком мокрые усы, точь-в-точь как это некогда проделывал старик Саббакин, закурил папироску, откинулся и сказал в нос, выпуская вместе со словами дым:

— Ну-с, товарищ курьер, я вас слушаю. Изложите.

Никита встал с места, вытянулся, отрапортовал свою просьбу и сел.

— Я, Никита, в принципе против авансовых выдач, но в исключительных случаях это возможно, при наличии в кассе свободных сумм. Товарищ кассир, какая у нас в кассе наличность?

— Хватит, Филипп Степанович. Можно выдать.

— В таком случае, выдайте под расписку.

Ваничка услужливо достал новенькую пачку червонцев, химический карандашик, четвертушку бумаги, сказал свое загадочное слово «аблимант», и в ту же минуту операция была оформлена по всем правилам бухгалтерского искусства.

Филипп же Степанович макал усы в пивную пену и, с достоинством выпуская из ноздрей табачный дым, предавался отдыху. Повеселевший Никита выпил два стакана, потряс в воздухе пустыми бутылками и попросил разрешения по случаю получки поставить на свой счет еще пару. Главный бухгалтер разрешил. В пивной заметно прибавилось народу. Ваничка заметил, что фонари, висящие с потолка, ни дать ни взять похожи на облупленные куриные яйца. Это обстоятельство его необычайно развеселило, и он, придвинувшись к Филиппу Степановичу, сказал, что не мешало бы сбегать в МСПО за половинкой горькой. Филипп Степанович погрозил пальцем, но Ваничка шопотом побожился, что ничего такого не может произойти, тем более, что все так делают и что завтра все равно получка. Бухгалтер еще раз погрозил пальцем, после чего Ваничка исчез и вскоре появился румяный, запыхавшийся и мокрый. За это время на столе появилось еще три бутылки пива.

Никита под столиком распределил водку по стаканам. Сослуживцы как заговорщики выпили, сморщились, закусили воблой, и официант, ловко прикрыв порожнюю посуду, как грех, полотенцем, унес ее на кухню.

Потом Филипп Степанович наклонился к Никите и Ваничке и сказал, дыша спиртом и раками, что в России не было, нет и не будет такого замечательного человека, как старик Саббакин, глава торговой фирмы Саббакин и сын. Сказавши это, бухгалтер в глубоком раздумьи поник головой и опрокинул рукавом пустую бутылку. «Виноват»,— закричал Ваничка, подхватывая на лету бутылку, и тут же опрокинул полный стакан. Никита расстегнул верхний крючек пиджака, надвинулся вплотную на Филиппа Степановича и, суя ему в ухо мокрый нос, жарко зашептал нечто очень туманное, но жгучее насчет казенных сумм и вокзала.

— Постой, Никита, дай мне высказать, — проговорил Филипп Степанович, освобождаясь от курьера, и припал к Ваничке.— Постой... Я тебе, Ваничка, сейчас все объясню... Жизнь наша, Ваничка, есть ничто иное, как сон... Возьмем к примеру старика Саббакина. Ты меня понимаешь, Ваничка? Скажем — Никита. Вот он тут сидит совершенно пьяный и замышляет растратить жалованье курьерши Сергеевой... Что такое Никита и что такое Саббакин, ясно?

Филипп Степанович значительно и мудро подмигнул налившимся, как виноградина, глазом, взял Ваничку за воротник, потянул на себя и улыбнулся так лучезарно, что весь пивной зал пошел вокруг него золо-

гистыми морщинами. В коротких словах, но не вразумительно, он разъяснил разницу между ничтожным Никитой и великим Саббакиным. Он помянул при этом случае японскую кампанию, лодзинскую вдову, трактир Львова и многие другие неизгладимые подробности своей жизни. Он дышал на очарованного Ваничку раками и, покрывая бестолковый шум, уже стоящий в переполненном зале, раскрывал перед ним необыкновенные перспективы, точно снимал туманную оболочку с вещей, казавшихся кассиру до сих пор скучными и не стоящими внимания.

Вдруг заиграла бойкая музыка. Русый чуб тапера упал на белые и черные костяшки стонущей клавиатуры. Три руки задвигали мяукающими смычками над складными пультами. Постыдно надутые губы заплевали в тесную дырочку флейты, извлекая из черного дерева чистый, высокий и волнистый, ангельский вой. И все это, соединенное вместе разжигающим мотивом, ударило по самому сердцу обещанием несбыточных каких-то и вместе с тем очень доступных удовольствий.

Яйцевидные лампочки под потолком стали размножаться со сказочной быстротой. Ваничка сидел очень прямо, как деревянный, и так широко улыбался, что казалось, будто его щеки плавают сами по себе, где-то поблизости, в синеватом воздухе. Никита стоял, вытянувшись по-солдатски, в картузе и говорил нечто неразборчивое.

— А что такое? — закричал оглохший бухгалтер.

— Счастливого пути, говорю, товарищи! — выкрикнул Никита, проплывая вправо, — и вам счастливого пути, товарищ кассир. Приятного путешествия. Разрешите для последнего знакомства одну разгонную.

— Валяй! — закричал Ваничка, ничего не понимая.

— Никита! — погрозил пальцем Филипп Степанович, — ты пьян... Я вижу это ясно.

Официант выстрелил из холодной бутылки, как из пистолета. Пена поползла в стакан. Ваничка рылся в карманах, вытаскивая деньги, чтоб расплатиться.

— А теперь, Филипп Степанович, хоть и на извозчика, — сказал Никита, почтительно подавая бухгалтеру шляпу и зонтик.

— Поедем, Ваничка, — мутно проговорил Филипп Степанович, опрокидывая на опилки стул страшно отяжелевшей полой своего пальто.

Было совершенно ясно, что разойтись по домам и расстаться с Ваничкой именно теперь, в тот самый момент, когда жизнь только начинала улыбаться, было никак невозможно; просто — глупо. Надо было каким-то образом обязательно продолжать так приятно и многообещающе начатый вечер. В конце концов все равно завтра получка, и можно ж раз в жизни немножко кутнуть.

— Поедем, Ваничка, — повторил Филипп Степанович, выбираясь из пивной во тьму.

— Куда же мы, Филипп Степанович, теперь поедем? — жалобно спросил Ваничка, ужаснувшийся от одной мысли, что ехать может оказаться некуда и все расстроиться.

Филипп Степанович раскрыл зонтик, остановился и поднял руку.

— Едем, Ваничка. Ко мне. Я тебя приглашаю к обеду. Милости просим. И точка. Жена будет оччень рада. Захватим по дороге закусочки, коньячку, карнишончиков. Увидишь мое семейство. Все будут ужасно рады. Постой, Ваничка, я тебе должен сказать, что ты мне невероятно нравишься. Дай я тебя поцелую. И не потому, что пьян, а уже давно.

При этих словах Филипп Степанович обнял Ваничку и пребольно уколол его усами в глаз.

— А может, ваша супруга, Филипп Степанович, будут недовольны? — спросил Ваничка.

— Если я говорю, что все будут рады, значит будут... И карнишончиков... Приедем, а я сейчас же и скажу: — Приготовь ты нам, Яниночка (это мою жену зовут Яниной, потому что она из Лодзи), приготовь ты нам, Яниночка, этакую селедочку с лучком и поросенка с хреном. Все будет, как нельзя лучше. Суаре интим в тесном кругу, как говорил старик Саббакин... Только ты, Ваничка, того! Я ведь вас молодых людей хорошо понимаю. Сам, небось, помню. Насчет моей приемной дочки держись. Такая девица, что сейчас врежешься, как чорт в сухую грушу. А после обеда — не угодно ли — кофе... С ликерами... Шерри-бренди... Будьте любезны... — болтал Филипп Степанович, уже сидя на плещущем извозчике и нежно поддерживая захмелевшего на чистом воздухе Ваничку за спину.

Перед его взорами носилась картина великолепной дубовой столовой, стола накрытого, крахмальной скатертью на шесть кувертов, деревянных зайцев на буфете и тому подобного.

Никита постоял некоторое время под дождем на середине мостовой без шапки, глядя вслед за удаляющимся извозчиком, развел руками и с горестным вздохом сказал про себя:

— Разъехались... Такая, значит, им написана планета, чтоб ездить, теперь, по разным городам. А я себе пойду...

После этого он плотно надел на уши картуз и пошел через лужи, бормоча:

— С такими-то деньгами еще бы не поездить!.. Половину земли можно объездить... А все-таки, очень скучная у нас служба получится, если все кассиры и бухгалтера разъедутся. Пойти, что ли, напиться?

И мрак окутал Никиту.

Глава третья.

Примерно через полчаса, нагруженные кульками и свертками, бережно поддерживая друг друга, Филипп Степанович и Ваничка поднялись по лестнице на третий этаж некоего дома, в районе Покровских ворот, где жил Филипп Степанович. Они позвонили четыре раза. Пока дверь еще не отворили, Ваничка поглядел на Филиппа Степановича и сказал:

— А может, Филипп Степанович, неудобно беспокоить вашу супругу?

Бухгалтер грозно нахмурился.

— Если я приглашаю к себе в дом обедать, значит удобно. Какие могут быть разговоры? Милости просим. Я и жена будем очень рады. Суаре интим. И точка.

В этот момент дверь быстро открылась, и на пороге предстала дородная, немолодая женщина в домашнем капоте с большими розами. По выражению ее лица, по особому содроганию волос, мелко и часто скрученных папильотками, похожими на билетики лоттереи-аллегри (наверняка с проигрышем), — по тому ни с чем не сравнимому и вместе с тем зловещему изгибу толстого бедра, который красноречивей всякого грома говорил о семейной погоде, по всем этим признакам можно было безошибочно заключить, что суаре интим в тесном кругу вряд ли состоится.

Однако Филипп Степанович, мужественно загородив собою Ваничку, выступил вперед с покупками и сказал:

— А я не один, Яниночка. Мы, Яниночка, вдвоем как видишь. — Я и наш кассир. Я его, знаешь ли, прихватил с собою к обеду. Ведь ты нас покормишь, киця, не правда ли? А я тут кой-чего прихватил вкусненького к обеду. Ну и напитков, конечно, хе-хе. Прошу любить, да жаловать... Суаре, как говорится, интим... И конфеток для дам... В общем все останутся довольны. В семейном кругу.

Говоря таким образом, Филипп Степанович угасал и, медленно шаркая калошами, приближался к супруге, которая продолжала неподвижно и немо стоять в дверях, озирая мужа совершенно беспристрастным взглядом. Только розы на ее бедре колыхались все глубже и медленней. Но едва Филипп Степанович приблизился к ней на расстояние своего тщательно сдерживаемого дыхания, и едва это дыхание коснулось ее раздувшихся ноздрей, как дама схватилась пальцами за свое толстое голое горло, другой рукой деятельно подобрала капот и плюнула Филиппу Степановичу в самую кисточку на подбородке.

— Пошли вон, пьяные паршивцы! — закричала она истерическим, нестерпимым тенором на всю лестницу.

Затем вспыхнула всеми своими рябыми розами и с такой необыкновенной силой захлопнула дверь, что казалось, вот-вот из всех окон парадного хода с грохотом и звоном выставятся наружу цветные стекла.

— Яниночка, что с тобой, ну я тебя, наконец, прошу. Неудобно же,— слабо и ласково произнес Филипп Степанович и поцарапался в дверь ручкой зонтика.

Но за дверью захлопнулась еще одна дверь, за этой еще одна, потом еще одна — где-то в самой глубине квартиры — и все смолкло. Из дверей напротив высунулась подвязанная физиономия, посмотрела равнодушно и скрылась.

— Пойдемте, Филипп Степанович, я же вам говорил, что будет не совсем удобно, — покорно сказал Ваничка и пошатнулся. — в другой раз можно будет зайти.

— Вздор, вздор, — смущенно заворчал Филипп Степанович, — ты, Ваничка, не обращай внимания. Она у меня, понимаешь ли, страшно нервная женщина, но золотое сердце. Сейчас все уладится. Можешь мне поверить.

Филипп Степанович вытер рукавом подбородок, навел на лицо терпеливую строгость и позвонил коротко, отчетливо и раздельно четыре раза. Никакого ответа не последовало. Не распуская с лица того же достойного выражения, он повторил порцию звонков и сел рядом с Ваничкой на ступеньку.

— Зато, какая у меня, Ваничка, приемная дочка, — как бы в утешение сказал он, обнял заскучавшего кассира за талию. — Обязательно, как увидишь, так сейчас и влюбишься. Любой красавице сто очков вперед даст. Сейчас я вас за обедом познакомлю. Я ведь не то, что другие сволочи — отцы, я понимаю, что наш идеал — кружиться в вихре вальса.

Замечание насчет вальса очень понравилось Ваничке, и он очнулся от легкой головокружительной дремоты.

— Я, Филипп Степанович, ничего себе. Не подкачаю.

В это время дверь опять открылась. На этот раз ее открыл бледный, стриженый мальчик, лет двенадцати, с веснушчатым носом и в валенках.

— А! — воскликнул Филипп Степанович. — Узнаю своего законного сына. Это, Ваничка, позволь тебе представить, мой сын Николай Филиппович гражданин Прохоров — пионер и радио-заяц. Где мать?

Мальчик молча поворотился и косолапо ушел в комнаты.

— Небось, разогревает на кухне обед, — сказал сопя Филипп Степанович и подтолкнул Ваничку в совершенно темную переднюю.

— Ты уж извини, пожалуйста, но у нас тут лампочка перегорела. Держись за меня. Иди, брат, все прямо и прямо, не бойся. Тут в коридоре дорога ясная.

При этом Ваничка трахнулся глазом об угол чего-то шкапоподобного. Филипп Степанович нашарил во тьме и открыл дверь. Они вошли в довольно большую комнату, наполовину заставленную разнообразной мебелью. Посредине стоял обеденный стол, покрытый клеенкой с чернильными кляксами. Через всю комнату тянулись две веревки, на которых сушились полосатые кальсоны. Одна лампочка слабого света горела в розетке большой, пыльной, столовой люстры. На краюшке стола сидел стриженый радио-заяц и, высунув на бок язык, старательно прижимал к розовому уху трубку самодельного радио.

— Милости просим, — сказал бухгалтер, кладя на стол свертки и делая жест широкого гостеприимства, — ты уж извини, Ваничка, у нас тут, как видишь, белье сушится. А то с чердака здорово прут, сукины дети. Но мы это все сейчас уладим. Присаживайся. А где же Зойка?

— На курсах, — не отводя трубки от уха, ответил сын.

— Вот так штукенция, не повезло нам с тобой, Ваничка. Она, понимаешь, на курсах стенографию изучает. На съездах скоро будет

работать. Острая девушка. Такое дело. Ну, мы сейчас все устроим. Колька, где мать?

Мальчик молча кивнул на дверь.

Филипп Степанович снял калоши и, в пальто и шляпе, на цыпочках подошел к двери.

— Яниночка, а у нас гость.

— Пошли вон, пьяные паршивцы! — закричал из-за двери неумолимый голос.

— Такая нервная женщина, — прошептал Филипп Степанович, подмигивая Ваничке. — Ты посиди, Ваничка. Ничего, разворачивай пока закуски и открывай коньяк. Сейчас я все устрою.

Филипп Степанович снял шляпу и на цыпочках вошел в страшную комнату.

Мало сказать розовый куст, мало сказать цветущая клумба, нет — целая Ницца бушующих, ужасных роз обрушилась в ту же минуту на Филиппа Степановича.

— Вон, вон, негодный пьяница, чтоб духу вашего здесь не было! Вот я перебью сейчас об твою голову все бутылки и псам под хвост раскидаю твои закуски. Дома кушать нечего, в жилтоварищество за три месяца не плачено, Колька без сапог ходит, лампочки в передней нету, а ты, старый алкоголик, кутежи устраиваешь! Из каких средств? Я не позволю у себя дома делать вакханалию! Это еще что за мода! И где же это видано, шляйка несчастная, у-у!

Тщетно пытался Филипп Степанович отгородиться руками от грозного изобилия этих горьких, но справедливых упреков. В панике он начал подобострастно лепетать нечто, ни на что не похожее насчет кассира, которого можно (и даже очень просто) женить на Зойке. И точка. Что кассир не прочь жениться, что партия вполне подходящая и прочее.

Жена только руками всплеснула от негодования и в следующий миг закатила Филиппу Степановичу две таких оплеухи, в правую и в левую щеку, точно выложила со сковородки два горячих блина. Белые звезды медленно выпали из глаз Филиппа Степановича, ярко зажглись и померкли.

— А, ты так, — закричал он придушенным голосом, и вдруг старинная, дикая злоба против жены подступила к его горлу и задвигалась в кадыке. — А... Так ты так...

Закрыв глаза от наслаждения, он погрузил скрюченные пальцы в папильотки жены, судорожно их помял и нежнейшим шопотом спросил:

— Будешь, стерва?

Голос его заколебался и окреп.

— Будешь, стерва? — повторил он громче и выставил желтые клыки. — Будешь, стерва?

С этими словами он, не торопясь, разодрал сверху донизу усеянный ненавистными розами капот и с заведенными глазами, поддернутыми синеватой пленкой, обвел комнату. Он быстро снял со стены японский

веер, лаковую этажерочку, клетку с чучелом щегла, сдернул с комода гарусную попону, поймал на лету голубую вазочку, все это кучкой сложил по середине комнаты и принялся, приплясывая, топтать ногами.

— Молчать! Молчать! — орал он в исступлении неправдоподобным голосом, от которого сам глох и покрывался пеной, как лошадь. — Молчать! Я покажу, кто тут хозяин! Прошу, прошу! Накрывай на стол, дрянь! Я требую. И точка!

А Ваничка, отставив мизинчик, старался не слышать воплей и грохота скандала и в тихой тоске откупоривал бутылки карманным пробочником, горестно вынимал из бумажек, как ожерелье, плохо нарезанную, краковскую колбасу.

Наконец, побоище кончилось. Обливаясь потом, Филипп Степанович появился в дверях столовой.

— Прошу прощения, — сказал он, переводя дух, и вытер переносицу дрожащим носовым платком. — Дело в том, что моя супруга плохо себя чувствует и не может выйти к столу. Прошу извинить. Эти дамские мигрени! Впрочем — ерунда. Мы поужинаем сами.

Филипп Степанович сунулся к буфету, долго в нем шарил и наконец хмуро поставил на стол две фаянсовых кружки с отбитыми ручками. Он потер руки и косо взглянул на Ваничку.

— Рюмку коньяку?

Они хлопнули по кружке коньяку, от которого сильнейшим образом пахло туалетным мылом. Закусили колбасой.

— «От бутылки вина не болит голова»,—пропел Филипп Степанович дрожащим, голосом и налил по второй,—«а болит у того, кто не пьет ничего». Верно, кассир? И никаких баб. И точка. Ваше здоровье.

От второй кружки у Ванички глаза полезли на лоб, и страшно зашумело в голове, а уже Филипп Степанович совал ему в ухо слуховую трубку радио, из которого мелким горошком сыпался острый голосок: «И будешь ты царицей ми-и-ра, подруга вечная моя».

— Пошли вон, пьяные паршивцы! — нудно произнес длинный голос из будуара.

— Молчать! — вскользь заметил Филипп Степанович и бросил в дверь кусок колбасы. Колбаса шлепнулась плашмя и прилипла к филенке.

Смотрите здесь, смотрите там
Нравится ль все это вам? —

с горечью пропел бухгалтер, тускло глядя на качающуюся колбасу, и заплакал, уронив голову на Ваничкино плечо.

— Замучила-таки человека, стерва! Один ты, Ваничка, у меня на свете и остался. Заездила, подлая баба. Всю мою жизнь, всю мою молодость съела, чтоб ее черти взяли. А ведь какой человек был Филипп Степанович Прохоров! Боже, какой человек! Орел! Зверь! Граф! Веришь ли... Под Чемульпо со взводом стрелков... С одним единственным взводом...

Филипп Степанович хлебнул полчашки беленького типа Шабли № 63 и вцепился в Ваничкин рукав.

— Кассир, могу я на тебя положиться? Кассир, не выдашь?

— Положитесь, Филипп Степанович, — жалобно закричал Ваничка, не вынеся муки, скривился и заплакал от любви, жалости и преданности, — положитесь, Филипп Степанович, ради бога, положитесь! Не выдам!

— Клянись!

— Клянусь, Филипп Степанович!

Филипп Степанович встал во весь рост и качнулся.

— Едем!

— Куда это едем? — раздался шипящий голос жены, появившейся в дверной раме, как картина.

— Куда это вы собираетесь ехать, уголовный преступник?

— Молчи, стерва, — сонно ответил Филипп Степанович и вдруг, замечательно ловко сорвав с веревки полосатые кальсоны, шлепнул ими супругу по щеке.

— Разбойник! Преступник! — завизжала жена, заведя над головой голые локти, — держите! Избивают!

— Ваничка, за мной, — скомандовал Филипп Степанович, размахивая кальсонами, — не теряй связи! Вперед!

Отбиваясь портфелем и раскачиваясь, Ваничка ринулся следом за Филиппом Степановичем сквозь темный коридор и благополучно вырвался на лестницу. Толстый локоть, несколько исковерканных роз и испуганное лицо радио-зайца метнулось где-то очень близко — позади — в пролете распахнувшейся двери. Вслед за тем дверь с пушечным выстрелом захлопнулась. Ступеньки стремительно бросились снизу вверх, сбивая с ног сослуживцев. Перила поползли, как разгоряченный удав, поворачиваясь и шипя в скользких ладонях. Кричащее эхо носилось от стены к стене. Опухшая лампочка в проволочной сетке пронеслась, как пуля, в умопомрачительной высоте и сдохла. Возле поющей входной двери, прижавшись спиной к доске объявлений жилищного товарищества и прижав к груди рыжую сумочку с тетрадкой, стояла, кусая губы, девушка в синем, дешовом пальто и оранжевой, вязаной шапочке.

— Зойка? — закричал Филипп Степанович, подозрительно всматриваясь в ее испуганное лицо, окруженное русыми кудерьками, на которых блестели дождевые капли, и погрозил пальцем. — Зойка!

— Куда это вы, папаша, в таком виде без зонтика и без калош? — прошептала она, всплеснув руками.

— Тебя не спросились. Молчать. Распустилась. И точка. За мной, кассир!

И, косо ухватившись за ручку двери, он почти вывалился на улицу.

Ваничка же, держась за стенку, стоял, очарованный, перед девушкой улыбался, не в состоянии выговорить ни слова. Милое лицо с нахмуренными бровями неудержимо проплывало мимо его развинтившихся глаз, и он делал страшные усилия, чтобы остановить его. Но оно все плыло,

плыло и вдруг проплыло и пропало. Раздался смех. Это все продолжалось не больше секунды. Ваничка пошатнулся, схватился обеими руками за медную палку и вывалился вслед за Филиппом Степановичем на улицу.

— В центр! К Пушкину! — кричал бухгалтер извозчику. — Лезь, Ваничка. А Зойка, а? Острая девица! Извозчик, Тверской бульвар, духом!

Ваничка залез под тесную крышу экипажа, приник к плечу бухгалтера, и тотчас ему показалось, что они поехали задом наперед. Дождь хлестал сбоку на штаны и в лицо. Проплыла разноцветными огнями вывеска кинематографа «Волшебные Грезы». Черный город расползался вокруг гадюками блеска. Фосфорные капли с треском падали с трамвайных проводов.

Высоко над Красной площадью, над смутно светящимся мавзолеем, над стенами Кремля, подобно языку пламени, струился в черном небе, дивно освещенный откуда-то, словно сшитый из жидкого стекла, насквозь красный флаг ЦИК'а.

Потом, в три ручья светящаяся Тверская вынесла их сквозь грохот извозчиков и трубы автомобилей к Страстному. Экипаж остановился. Они вылезли. Непреодолимая суета охватила их. Здоровенные оборванцы, не давая проходу, размахивали перед самыми их носами мокрыми букетами несвоевременных хризантем. Улюлюкали лихачи. Цинично кричали шофферы, предлагая прокатиться с девочкой в «карете любви». Серебряная мелочь посыпалась в пылающую лужу. Сноп белого автомобильного света ударил и разломил глаза.

— Ваничка, где ты? — раздался смутный голос Филиппа Степановича, — держись за мной.

— Я здесь.

Ваничка побежал на голос и увидел мельком Филиппа Степановича. В одной руке он держал букет, к другой — деловито и торопливо прижималась полная дама необычайной красоты в каракулевом манто и белой атласной шляпе. Она тащила Филиппа Степановича через площадь и быстро говорила:

— «Шато де Флер». Я лично советую. Там есть кабинеты. Определенно.

— Ночные приключенья
Сулят нам наслажденья... —

пропел возле самого Ваничкиного уха многообещающий голос, и мягкая рука просунулась под его локоть.

— Молодой человек, пригласите меня в ресторан.

Ваничка обернулся и совсем близко увидел бледное лицо с прекрасными глазами. Белая вязаная шапочка, надетая глубоко, до самых бровей, касалась Ваничкиного плеча.

— Пойдем, миленький, пойдем, а то вы своего товарища потеряете.

— Вы... Зоя? — спросил Ваничка с трудом, — нет, постойте, вы мне сначала скажите: вы... Зоя?

— Можете считать, что и Зоя, — ответила девушка, захохотала и прижалась к плечу. Они быстро перебежали площадь, со всех сторон обдаваемые брызгами.

— Ваничка! Где же ты? Держись за мной!

— Я тут, Филипп Степанович... Такая темнота...

Два электрических фонаря, два бешено крутящихся, гудящих сатурна пронеслось над входом в ресторан.

Филипп Степанович увидел девицу в белой шапочке, погрозил Ваничке пальцем и, галантно пропустив свою даму вперед, не без труда открыв двери «Шато де Флер».

...Странно и непонятно перед ними возникла фигура Никиты...

— Граф Гвидо вскочил на коня! — в упоении закричал Филипп Степанович на всю Страстную площадь, и словно в ответ на это из дверей ресторана вырвался оглушительный шум струнного оркестра.

(Продолжение следует).

Дневник Кости Рябцева.

Очерк второй.

Н. Огнев.

Второй триместр 1923—24 г.

Первая тетрадь.

ЯНВАРЬ.

1 января 1924 года.

На праздниках я вместе с нашими комсомольцами участвовал в «комсомольском рождестве» в рабочем клубе. К этой фабрике, наверное, припишут и нашу ячейку. Мы пришли с Сильвой в 10 часов вечера, и ничего еще не начиналось, хотя зала была полная, и было очень жарко и тесно. Часов в 11 приехал лектор и стал рассказывать про разных богов. Может быть, было бы и интересно, да только лектор охрип и устал, и все следили, как он пьет воду. Потом он вдруг, в середине лекции, взглянул на часы и говорит: — Товарищи, извините, я должен здесь кончить, потому что мне еще в пять мест нужно поспеть, — сорвался со сцены и уехал. Так лекция и осталась неоконченной. По-моему, тогда уж и начинать не нужно было. После этого очень долго ничего не было, и мне уже захотелось спать, как вдруг занавес открылся, и началось представление. В этом представлении попы разных государств спорят друг с другом, чей бог лучше, потом вдруг входит рабочий с метлой и всех разгоняет. Зачем-то тут еще вертится буржуй, он хотя ни к чему, а играл всех лучше и очень смешно. Самое смешное было то, что у него подштанники высовывались из-под брюк. Он их все время поправлял: только-только поправит, а они уж опять вылезли. Зал гремел от хохота. По-моему, раз антирелигиозная пропаганда, то нужно обязательно что-нибудь смешное, тогда она достигает цели. А разные доклады да лекции, особенно такие, как была, могут оттолкнуть.

Потом еще я был вчера, под новый год, в нашей школе в I ступени на спектакле, и тоже с Сильвой. Было представлено: «Красная Золушка». Будто бы были какие-то две сестры — буржуйки, а третья — прачка. Кто это сочинял, я не знаю, только по-моему так не бывает, особенно что

живут они все трое вместе. А потом, будто бы эти буржуйки уезжают на бал, а Красная Золушка остается мыть посуду. И вдруг приходит какой-то хлюст в красной рубашке и дает этой самой Золушке читать прокламацию. Золушка читает, переодевается в сестрино платье и убегает. Во втором действии — бал, на этом балу танцуют Золушкины сестры и еще какие-то, в пестрых костюмах. И вдруг вбегает Золушка и тоже начинает танцовать. К ней лезет принц, но она его боится и убегает, и теряет башмак... Потом, в третьем действии, принц приезжает к ним домой и начинает примеривать башмак. Никому не подходит, только Золушке подходит. Принц собирается на ней жениться, но вдруг является тот самый агитатор в красной рубашке, провозглашает, что началось восстание, и начинает этого принца бить по шее. Принц — дралка через публику, а в красной рубашке гонится за ним, и в это время на сцену выходят все, кто был ряженые на балу, и вместе с сестрами поют «Интернационал». Тут много было неправдоподобного, но, конечно, с маленьких ребят спрашивать нечего, а играли они очень здорово, — так, что мне самому захотелось на сцену. В самом деле: почему у нас никогда не бывает спектаклей? Надо будет поговорить с Никпетожем. По-моему, вообще-то интересней бывать в кино, чем в театре, потому что в кино не нужно думать, но самому представлять интересней в театре — ведь на экране будет одна только твоя тень.

После представления маленькие начали танцовать. Я сейчас же пошел к ихней шкрабихе, Марь-Иванне, и говорю:

— А вы знаете, товарищ, что танцовать вообще — запрещено?

А она отвечает:

— Во-первых, вы не лезьте не в свое дело, товарищ Рябцев, от вас вторая-то ступень плачет, а вы еще в первую лезете. А во-вторых, если вам не нравится, можете уходить. И потом, я вообще не знаю, что вы здесь делаете?

Я страшно обозлился, но сдержался и решил сделать доклад на ячейке. Потом смотрел, как танцуют, и спросил Сильву, умеет ли она танцовать. Она говорит, что умеет, только не любит, — а у самой глаза так и горят, и все лицо раскраснелось, и бант подпрыгивает под музыку, — и я думаю, что, если бы меня здесь не было, она обязательно бы стала танцовать. По правде сказать, и я чувствовал себя не так, как всегда. Было очень светло, все лампы были зажжены, и музыка, хотя и простая рояль, так захватывала, что хотелось что-нибудь выкинуть необыкновенное. Напр., сказать блестящую речь, или пройти впереди всех со знаменем в руках. Или хотя перекувыркнуться. Но из своих ребят, кроме Сильвы, никого не было. И вдруг Сильва берет меня за руку и говорит:

— Владлен, я больше здесь не останусь ни за что. (У нас такой уговор был, что она будет звать меня Владленом.) Ты, если хочешь, оставайся, а я уйду.

Я, конечно, тоже ушел. Одному — скучно. По дороге Сильва мне говорит:

— Мало ли, что кому хочется, но при чем же тогда будет идеология?

С этим нельзя не согласиться.

5 января.

Я заметил за собой, что очень мало сплю по ночам. Я стал искать причину этого. Можно было бы подумать, что от усиленных занятий — но во время этого перерыва я занимался очень мало, хотя зачеты у меня запущены, и, не говоря уже о декабре, — за ноябрь, и то некоторые предметы не сданы. Гуляю и катаюсь на коньках я достаточно, так что никак не могу понять причину бессонницы. Я пошел к Сережке Блинову и спросил его об этом. А он и спрашивает:

— А читаешь много?

Я ответил, что много, и Сережка сказал, что будто бы от этого. Уйдя от него, я стал проверять себя. Оказывается, за перерыв я прочел не так много, но некоторые места особенно запомнились, и по ночам я много о них думаю. Вот, напр., я читал один рассказ под заглавием: «Свидание». В этом рассказе француженка-гувернантка показывает свою ногу мальчишке выше колена. Хотя он потом от нее и убежал, потому что от француженки пахло потом, а все-таки это место очень запомнилось. Рассказ этот — в желтенькой универсальной библиотеке. И вот получается такая вещь, что учишься рядом с девчатами, и дерешься с ними, и лапаешь их, и это не производит никакого малейшего впечатления, а прочтешь что-нибудь про это, и уже спать не можешь. Отчего бы это такое?

А главное, что противно, после таких мыслей поневоле — фим-фом пик-пак. (Так в подлиннике. *Н. О.*)

12 января.

Капустники! Вот, должно быть, весело-то! Это мне под страшным секретом и даже клятвой сообщил Веня Палкин из 4-й группы. Пока ничего писать не буду, а то можно засыпаться. Меня только берет сомнение, не противоречит ли это комсомолу?

13 января.

Сегодня после занятий одна из девчат уселась за рояль и принялась наяривать танцы. А девчата — и большие, и маленькие, словно сговорились между собой — и пошла вывертывать ногами.

Я очень хорошо знаю, что танцы запрещены, поэтому подговорил кое-кого из ребят, и мы стали подставлять девчатам ноги. Тут, конечно, раздались писк и визг, сбежались шкрабы, и началось летучее общее собрание. Я такие летучки гораздо больше люблю, потому что на официальном собрании — скучища с протоколом, а на летучке — крик, и все воодушевляются, и всегда по какому-нибудь боевому вопросу.

Зин-Пална прежде всего спросила, почему ребята против танцев.

— Потому что это идеологическая невыдержанность, — отвечает Сережка Блинов. — В танцах нет ничего научного и разумного, и содержится только половое трение друг об друга.

Тут выскочила Елникитка и говорит:

— А по-моему, мальчики потому против танцев, что сами танцовать не умеют. В футболе тоже нет ничего разумного и научного, а одна грубость, однако мальчики в футбол играют.

Тут все ребята закричали, что футбол — это физкультура.

— Тогда и танцы — физкультура, — говорит Черная Зоя.

— Ну, с этим я тоже не согласна, — сказала Зинаидища. — Мне кажется, что физкультурой танцы уж никак назвать нельзя. Но, во всяком случае, танцы — захватывающее развлечение, и если их отменять, то необходимо заменить чем-нибудь другим. Вопрос только — чем. Я бы посоветовала применить организованные игры в здании. Я могу дать руководство.

На это возразил я:

— У нас прежде всего не детский сад, чтобы с девчатами тут хороводы водить. А потом есть разумное развлечение, против которого, я думаю, возражать никто не будет. Я вот был в первой ступени и видел, как там маленькие на сцене играли. И мне самому захотелось на сцену. Почему у нас не устраивается спектаклей? Это, по-моему, упущение.

— Вполне правильно, — отвечает Зин-Пална, — у нас просто взяться за это было некому. Если кто-нибудь из школьных работников возьмется, то я не против.

Мы с шумом прилезли к Никпетожу, и он согласился, сказал, что только подыщет подходящую пьесу.

После этого мы разошлись, а Веня Палкин отозвал меня в сторону и сначала взял с меня страшную клятву, что я не разболтаю. А потом сказал, что по случаю старого нового года будет капустник и сказал адрес. Нужно итти в девять часов, а сейчас уже половина девятого. Папаньке сказал, что ухожу в киношку, в хорошие места, и взял лимард денег.

14 января.

Про капустники ничего писать нельзя, а то бы я написал очень много. Но это — страшная тайна. Видел там Лину и страшно удивился.

15 января.

Занятия в школе идут своим чередом, и теперь мне гораздо легче, потому что я уже не учком. Сдал все за ноябрь и часть за декабрь.

Сегодня Никпетож притащил какую-то книжку и собрал всех в аудиторию.

— Вот, — говорит, — Рябцев предлагает ставить спектакль, и, по-моему, это очень хорошая его инициатива. Только современных пьес хороших нету, поэтому я предлагаю поставить одну из пьес Шекспира: «Гамлет». Правда, в ней на первый взгляд нет ничего революционного,

это я предупреждаю, но это только с внешней стороны. Зато в ней есть колоссальный внутренний протест.

Потом он стал читать вслух. Читает он очень хорошо, и его приятно слушать, только в пьесе страшно много бузы. Это, конечно, можно простить, потому что пьеса написана чуть не пятьсот лет тому назад, и Шекспир писал для королевы, а не для пролетариата.

Я запишу на всякий случай, как я высказывался в аудитории насчет ошибок Шекспира.

В «Гамлете» рассказывается сначала, как стража стоит на крыльце, и появляется дух. Потом приходит Гамлет, и этот дух заводит его к чорту на кулички и там начинает ему рассказывать, как его, т.-е. духа, отравили. Оказывается, это дух его отца, и отца его на самом деле отравил отцов брат, стало быть, Гамлетов дядя, а сам женился на Гамлетовой матери и стал на место Гамлетова отца — королем. Мне кажется, тут две вещи — невязка. Во-первых, никаких духов не бывает, а если уж появился дух, то я на месте Гамлета задал бы дралка, чем с ним разговаривать: ведь с духом никаким оружием не справишься, если он полезет драться или душить. Во-вторых, этот дух плетет, что его отравили тем, что налили яду в ухо, когда он спал. Это я что-то не слыхал, чтобы травили таким образом. Ну, да это — ладно: может, пятьсот лет назад так и было.

Гораздо главней ошибка Шекспира в следующем. Там есть Полоний, это такой старик; у него дочь Офелия и сын Лаерт. Гамлет шьется с этой Офелией и вроде как в нее втюрился, хотя это не очень ясно. А Лаерт живет во Франции, и старик все беспокоится, чтобы сын там не сбился с панталыку. Потом все начинают замечать, что Гамлет чего-то расстроился, и думают, что это от любви к Офелии, а на самом деле он нервничает из-за духа и даже притворяется сумасшедшим. А притворяется он нарочно: ему нужно узнать, правду сказал ему дух, или наврал, это насчет отравления-то. Вот, сумасшедший Гамлет и устраивает спектакль, в котором показывается, как отравляют его отца, короля. А новый король, это, стало быть, Гамлетов дядя, приходит вместе с Гамлетовой матерью на этот спектакль. Вот, тут главная невязка и есть. Я думаю, что и в те времена никакому сумасшедшему не дали бы устраивать спектакли, а просто посадили бы в сумасшедший дом. Как бы то ни было, король и королева спокойно садятся смотреть этот сумасшедший спектакль, а когда видят, что такое представляют, то скорей дралка. А Гамлет нарочно свое сумасшествие показывает во-всю. Во-первых, садится на пол, вместо стула, во-вторых, перебивает спектакль разной белибердой, а потом, как вскочит, как заорет:

— Оленя ранили стрелой!!.

Большинство голосов было за то, чтобы эту пьесу поставить. Я воздержался, потому что думаю, что что-нибудь современное было бы лучше. Чтобы с баррикадами и революционной борьбой.

Черная Зоя была на чтении, но держалась тихо. А Лины почему-то не было.

16 января.

Я до сих пор про капустники — никому ни гу-гу. Строжайший секрет. Веня Палкин говорит, что все вообще не болтают. Это очень важно.

А меня все-таки берет сомнение: соответствует ли это идеологии комсомола и вообще коммунистической борьбы. Сильве я в этом отношении не доверяю почему-то. Да и Веня Палкин говорит, что ее не посвящать. Веня говорит, что она какая-то не такая. А больше посоветоваться не с кем. Веня Палкин не комсомолец, а так. Спросить у кого-нибудь из старых комсомольцев — можно провалить все дело. Прямо не знаю, что делать.

17 января.

Сегодня был окончательный конец нашего бунта против Дальтона. Приезжал инструктор, и было общее собрание. Разбирался вопрос о школьных распорядках и о работе по Дальтон-плану. На собрании была скучища, и я почти все время рисовал плакат. Зин-Пална рассказала, как мы сжигали чучелу «Лорда Дальтона». Это, по-моему, совершенно напрасно: была мальчишеская шалость, а она сейчас то инструктору. Инструктор посмеялся, потом говорит:

— Вот, вы жили себе и жили, и не приходилось призывать посторонних людей. А теперь не сумели договориться — в этом, конечно, виноваты и школьные работники, и ребята — и похоже на то, что в школу приходится вводить хирургический инструмент в виде хотя бы моего вмешательства. Я думаю, что на будущее время можно будет обойтись и без такого инструмента. Теперь же я вас спрашиваю, ребята: в чем вы видите недостатки Дальтон-плана и как, по-вашему, от них избавиться.

Тут посыпались разные обвинения Дальтона: говорили, что пособий в лабораториях нету, и времени не хватает, особенно должностным лицам, и много всяких других обвинений. Потом встал я.

— Дело не в лабораториях, — говорю, — а в том, что от Дальтона голова разваливается, и делается дрожанье в руках.

Все как захохочут.

— Вы чего смеетесь? — спрашиваю я. — Приходилось ночами не спать, особенно когда был учкомом, и смеяться над этим нечего. Все в таком положении. Потом, с Дальтоном пошло учение хуже. Раньше не бывало в нашей группе отставших, а теперь есть.

— Кто же? — спрашивает Зин-Пална.

— Я, — ответил я, — и опять все захохотали.

— И тут смеяться нечего, — сказал я и обозлился. — Дальтон висит на мне постоянно, как мешок с хлебом. За что я ни взялся — все вспоминаешь, что такие-то и такие-то зачеты не сданы. То математика, то естественный, то диаграммы не начерчены. Заниматься негде да и некогда. Ни тебе — ни почитать, ни на коньках побегать...

— А я вас как раз видела, Рябцев, во время перерыва вы очень часто на коньках бегали, — ввертывает тут эта ехида, Елникитка.

— Что же, значит, — по-вашему, я так и должен сидеть в четырех стенах?

Тут инструктор говорит:

— А почему вы, Рябцев, своевременно не сдаете зачетов?

— Не успеваю, к тому же учкомом был.

Тогда инструктор спрашивает:

— Зинаида Павловна, а другие — тоже отстают?

— Нет, большинство школы идет нормально.

Так я и сел в калошу и ботиком прикрылся. Дальтон-план остался. Дальтон все равно бы остался, если бы большинство и отставало. Наша школа все еще в таком положении, когда все решается шкрабами, а ученики вроде как крепостные крестьяне, про которых нам Никпетож рассказывал: свободны только тогда, когда отбудут барщину. А инструктор и всякое другое начальство — всегда за шкрабов. В других школах, по-моему, не так. Что всего обидней, это — то, что нас, вторую ступень, продолжают рассматривать, как маленьких. На прощанье Зин-Пална сказала:

— Теперь школа окончательно вошла в берега. Будем учиться, учиться и учиться! Вы помните, кто это сказал?

Все закричали:

— Ленин! Ленин!

На том и кончилось.

18 января.

Было распределение ролей, и Гамлета досталось играть Сережке Блинову. Я бы ничуть не хуже его сыграл. А теперь придется играть Лаерта. Там хоть и с фехтованием, а все-таки уже не то. Чорт с ними, сыграю и Лаерта! Все лучше, чем ничего. Я сегодня уже пробовал фехтовать и умирать. Ничего, — выходит. В особенности, это место:

... Что это?! Я ранен!
Моей рапирой бился Гамлет — я погиб...

И еще:

Тебя и королеву погубил
Король... Король...

Последнее: «король» нужно произносить шопотом, как будто комунибудь подсказываешь на уроке.

С девчатами вышло хуже. По-настоящему, за исключением всяких там прислужниц, в пьесе только две женских роли: королева и Офелия. И, конечно, все девчата хотели играть Офелию. Их пришло тридцать две штуки, из разных групп. Ну, Никпетож одну за другой пробовал и на чтение, и как ходит, и разные там жесты. Долго он не знал, на ком из девчат остановиться, да так и отложил до завтра. Как только он ушел из аудитории, так и пошла потеха. Все девчата как заорут. Одна кричит: —

У тебя ничего не выходит, у тебя даже голос не подходящий. А другая: — А у тебя рост мал. А третья: — Если мне не дадут роли, я совсем не буду участвовать... И все орут сразу — ничего не разберешь... Я предложил им разыграть на узелки, а они все на меня, насилу я из аудитории убежал... Лины опять не было, да ее и в школе не было, а Черная Зоя и не пробовалась, а держалась в сторонке. Она вообще теперь редко выступает, после того случая, когда она с Линой хотели самоубиваться и испугались. А Сильва не пришла на распределение — она считает, что у ней нет драматического таланта. Я ее всячески убеждал, но она — ни в какую... Я, говорит, пробовала, и ничего не вышло.

18 января.

Венька Палкин, хотя и сухаревский (у него отец — палаточный торговец), а учится в четвертой группе лучше всех. Шкрабы говорят, что у него способности очень большие. И правда: как я ни обращался к нему с задачками или растолковать историю, он мне всегда очень хорошо помогал. Мне кажется, у него фантазия очень богатая: в прошлом году он начал мне расписывать про Америку, и вдруг говорит, что он сам там был, это в Америке-то. Я тогда сразу же не поверил, потому что для этого нужно ведь знать по-американски, а Венька сам говорит, что не знает. Но я сделал вид, что поверил, и тогда Венька мне под страшным секретом сообщил, что опять собирается в Америку и, может быть, возьмет и меня. Я тогда понял, что это буза, но виду опять не показал. А вот насчет капустников — не соврал... Только мне все продолжает казаться, что капустники не соответствуют идеологии.

Сегодня была репетиция «Гамлета», и уже к вечеру в стенной «Катушке» появилась карикатура, на которой нарисован Сережка Блинов, потрясающий кулаками, отовсюду бегут ребята, и подпись:

— Что случилось, граждане? Зарезали кого-нибудь?

— Почему такой крик?

— А это репетируют «Гамлета».

Действительно, крику было много. У Сережки — хриплый бас, и он разоряется во-всю. В Офелии пробовалась Черная Зоя — и Никпетож сказал, что ничего. У нее правда ничего выходит, только мне кажется, можно бы лучше... Я уже натренировался владеть рапирой (то-есть палкой), и очень мне хотелось, чтобы показать всем, но до этого дело не дошло: не успели прорепетировать последнего действия.

22 января.

Мне кажется: все на свете кончилось, и на землю опустился черный мрак. Сейчас уже три часа ночи, а я сижу у стола и ничего не могу обмыслить и сообразить. Я сначала думал, что напускаю на себя, но нет, вправду. Все наши школьные дела кажутся очень маленькими и противными, словно мы все козявки какие-то, которых можно разглядеть только в микроскоп...

На окнах — завитушки от сильного мороза, и мне кажется, что они похожи на украшения, которые бывают у гробов. В ушах все еще звучит печальная музыка, а в глазах — траурные ленты.

В голове все растекается, и я ничего сообразить не могу.

Дальше в дневнике три страницы сплошь замараны чернилами.

30 января.

Это я хотел написать стихи и описать все, что я видел. Но у меня выходило все как-то не так. Для этого нужны какие-то другие слова, чем у меня. Я вот знаю, что постаршел за эти дни лет на десять, и тех слов, какие, может, мальчиком и выдумал бы, теперь у меня нет.

31 января.

До сих пор школа не пришла в настоящий порядок.

Смерть В. И. Ленина всех так поразила и так разбила обыкновенную, нормальную жизнь, что ни занятия, ни развлечения не могут наладиться.

О зачетах шкрабы и не разговаривают. Всем понятно, что хоть учиться и нужно, но сразу ученье пойти не может. Никпетож нам последние дни много читает вслух. Девчата часто ревут по углам.

Офелию будет играть Черная Зоя, теперь это окончательно выяснилось. Сегодня была репетиция, но она тоже не шла. Все читали как-то вяло, не было настроения.

Зинаида Павловна говорит, что учиться, это теперь самое важное, и мы должны напрячь все усилия, чтобы преодолеть препятствия.

В этом она права.

Вторая тетрадь.

ФЕВРАЛЬ.

3 февраля.

«Катушка» устроила среди первых трех групп анкету по вопросу:

— Какая цель жизни.

Все в эти дни очень серьезно настроены, поэтому «Катушка» получила много ответов. Списываю со стены самые интересные:

Первая группа А.

1) Жить нужно для того, чтобы учиться и узнавать, что до сих пор неизвестно. (Вот буза-то! Владлен Рябцев.)

2) Мы живем для того, чтобы учиться, радоваться, страдать, помогать ближним. Да и мало ли для чего мы живем.

Первая группа Б.

1) Мы живем и учимся для того, чтобы создать сильную и культурную страну и помогать ближнему. Мы должны знать, что капля по капле составилось море, и каждый человек есть капля, которая живет, работает

и совершает разные великие, малые и средние дела. Если же эта капля ничего не делает, то она должна знать, что мешает морю. Тогда ей не место в море, и она должна уйти. Так будем стараться приобрести знания, чтобы стать на защиту Советской России против проклятой буржуазии.

2) Мы живем для того, чтобы видеть наслаждение. Мы учимся для того, чтобы были благонравные условия во время отдыха от работ. Мы чувствуем наслаждение во время чтения интересной книги и слушания интересных рассказов. Сдав зачет, мы тоже чувствуем наслаждение.

3) Живу я для того, чтобы учиться и быть в будущем образованной. Необразованной я быть не хочу, потому что все меня будут угнетать.

Вторая группа.

1) Учиться, приносить пользу государству, а также отчасти и себе. Если я себе не буду приносить пользу, то я умру не живши, значит надо жить с пользой.

2) По-моему, надо жить для того, чтобы жить.

3) Человек бедный живет, трудится, теряет все свое время для того, чтобы прожить, человек-буржуа тоже живет для того, чтобы получше прожить (конечно, несознательный). Человек, который несет какой-нибудь общественный труд, делает это опять-таки для того, чтобы лучше была жизнь; хотя сам он часто гибнет, но другие живут лучше. Итак, по-моему: живут для того, чтобы не себе, так другим чтобы жизнь была лучше. И мы сейчас учимся тоже, чтобы жить лучше самим или улучшить жизнь другим. В этом нам пример недавно скончавшийся учитель Владимир Ильич.

4) Жить нужно для того, чтобы удовлетворять свои потребности. (Интересно знать, кто это написал. Но редакторы «Катушки» нипочем не хотят сказать. А ведь такой ответ доказывает полную несознательность и даже не человека, а скота. Владлен Рябцев.)

5) Цель жизни заключается в созидании прочного будущего для последующих поколений.

6) Жить для того, чтобы с оружием в руках отстаивать завоевания пролетариата.

7) Говорят обыкновенно, что цель жизни — это создание новой культуры для подрастающего поколения. Но это меня нисколько не удовлетворяет. По-моему, цель жизни,—это прожить ее безмятежно и спокойно, только с маленькими волнениями. (Откуда у нас в школе столько буржуев? Владлен Рябцев.)

Третья группа (наша).

1) Конечно, не хлопать глазами на то, как другие борются и завоевывают победы, а бороться и побеждать самому.

2) Не давать никому ни в чем отчета, до всего доходить самому. (О-го-го. Владлен Рябцев.)

3) Задавший этот вопрос редактор «Катушки», очевидно, решил пуститься в дебри философии, или же его просто обуял великий страх и трепет перед ничтожеством человеческой жизни. В первом случае хорошо, во втором — плохо. И вот почему. — «Жить для того, чтобы жить» — это единственный ответ на заданный вопрос, как ни странен и ни односторонен этот ответ. Вся цель и сущность жизни для человека заключается лишь в самой жизни, в ее процессе. Для того, чтобы постичь цель и сущность жизни, необходимо прежде всего любить жизнь, всецело войти, что называется, в круговорот жизни; и лишь тогда почувствуется смысл жизни, станет понятно, для чего жить. Жизнь — это такая штуковина, что не нуждается в теории в противовес всему, созданному человеком: когда постигнешь практику жизни, будет ясна ее теория.

5 февраля.

Вчера был капустник. Несмотря ни на что, мне было невесело. Я все думал о цели жизни. Видел там Лину, спросил ее, почему она не ходит в школу, она ответила: — не твое дело. Я обозвал ее дурехой.

6 февраля.

Сегодня была репетиция «Гамлета». Прошла она очень здорово, так что до сих пор у меня сердце радостно бьется. Сережка Блинов рычал, ревел быком и мотался по сцене, как угорелый: настоящий сумасшедший. Потом он выдумал вот что: когда разговаривает с могильщиком, он не бросает череп в могилу, а запускает черепом в могильщика, чтобы и ему доказать, что он, Гамлет, сумасшедший. Это очень хлестко выходит. А когда мы фехтовали с ним, то я у него выбил рапиру, а не он у меня. И так продолжалось до тех пор, пока Никпетож сказал мне, что это, ведь, сцена и надо так, как у Шекспира сказано. А зачем Сережка не научится фехтовать по-настоящему?

Черная Зоя, совершенно неизвестно когда, успевала переодеваться к каждому действию по-новому и говорит, что так и на спектакле будет, и теперь переодевается для того, чтобы привыкнуть. Когда она уже сходит с ума и приходит с пением безумных песен, то Зоя вся убралась бумажными цветами, спутала и распушила волосы, закатила глаза и тихо-тихо пела, так что на меня прямо жуткое впечатление произвела. А потом она мне показалась гораздо красивей, чем всегда: вот что значит платье-то меняла.

У королевы — десять прислужниц, а сцена у нас, по необходимости, очень тесная, а прислужницы почти все время толкутся на сцене, так что повернуться негде. Все время дрались и ругались, так что из-за этого даже репетиция несколько раз прерывалась.

8 февраля.

Еще с неделю назад я выпросил у Никпетожа книжку «Гимназисты», из которой он нам вычитывал про Карташова и Корневу. И в этой книжке

меня поразило одно место, где рассказывается, как Тема Карташов, возвращаясь домой, увидел у горничной Тани белую ногу выше колена и... Я теперь почти не сплю, мне все представляется эта Таня и, конечно, фим-фом — пик-пак. Это очень мучительно, голова у меня тяжелая, и почти не могу заниматься.

10 февраля.

Вышел ИКС и звонит насчет «Катушки» и ее анкеты о цели жизни. Там такая статья:

О цели жизни в нашей школе.

Недавно «Катушка» занялась глубокой философией и поставила проблему: выяснение цели жизни вообще. А ИКС, как уже неоднократно писалось, старается утилизировать все для нашей школы и потому пользуется случаем поговорить о цели жизни в нашей школе. Для этого мы будем пользоваться методом индукции, т.-е. от частного к общему. Для краткости возьмем квинт-эссенцию всех течений, существующих на этот счет в школе, а именно лозунги их:

1) Узнавай, что до сих пор неизвестно. Пример: открывай перпетуум мобиле.

2) Ученье — свет, неученье — тьма!!!

3) Да здравствуют танцы!

4) Да здравствует спокойная жизнь с маленькими волнениями!!

5) Удовлетворяй свои потребности! В частности, не забывай сморкаться и ходить в...

6) В наш юношеский возраст вредно много учиться. Да здравствует свобода времени!!!

И, переходя от частного к общему, восклицаем:

— Бей его, я его знаю, он на нашей улице живет!!!

По-моему, это очень глупо и даже вовсе не смешно. Цель жизни — очень серьезная вещь. Зная цель жизни, знаешь и как поступать. И очень, очень трудное положение, когда не знаешь, как поступать.

11 февраля.

Вчера я виделся с дорогим моим товарищем Ванькой Петуховым. Он теперь на фабрике, хорошо зарабатывает и содержит всю семью. Звал и меня на фабрику, но я ответил, что раньше надо доучиться. Разговаривал с ним насчет цели жизни. Он ответил мне просто и ясно:

— Живем для того, чтобы на место прогнившего старого строя построить новый, светлый и радостный: коммунизм.

Я и сам раньше так думал, да анкета «Катушки» меня смутила.

Потом мы с ним рассуждали о половом вопросе. Он говорит:

— Да у нас на фабрике и вопроса-то никакого нет. Просто, если кому нравится девчина, подходит и говорит: — Ты мне нравишься, Манька

или Ленка. Хочешь гулять со мной? Если не хочет — повернет спину. А если хочет — гуляет.

— То-есть как: по-настоящему? — спросил я.

— Ну да, по-настоящему. Как муж с женой. Ведь это такое же необходимое, как еда. Без еды не можешь жить, и без этого не проживешь.

— Ну, а если ребенок?

— Да кто ж о ребенке думает, когда гуляет, чудак ты эдакий?!

— И ты так же, Ванька?

— А то как же.

Мне кажется, он бузит, про себя, по крайней мере.

12 февраля.

Репетиции идут полным ходом. Сережка Блинов сорвался с голоса, но так у него выходит еще страшней. Потом он все выдумывает новые и новые выходки. Вот, сегодня, например, когда королю нужно уходить со спектакля, то Гамлет кричит:

— Оленя ранили стрелой!!

Сережка прокричал, да как бросится за королем. Схватил его за горло и давай душить. Я подумал, что он и вправду с ума сошел. А Никпетож бросился на сцену, схватив Сережку за плечи и спрашивает:

— Что с вами?!

— Да ведь я же должен доказать королю, что я сумасшедший!

— Но ведь этого у Шекспира нету!

— Так что ж из того, что нету? Это режиссерская выдумка.

— Прежде всего, режиссер я, а не вы, — говорит Никпетож, — и кто-нибудь один должен распоряжаться. А потом, если итти по вашему пути, то Гамлет должен лезть на стену и поджигать дом.

— Режиссер должен давать свободу артистам, — отвечает Сережка, — иначе мы будем не артисты, а марионетки, мертвые куклы.

— Я вам даю свободу, только пожалуйста без душения.

— И тут шкрабы угнетают, — проворчал Сережка.

По-моему, конечно, режиссер должен давать ход артистам. Вот, например, я играю Лаерта, и Гамлет вышибает у меня рапиру. А я бы сделал так: сначала я бы вышиб рапиру у Гамлета, потом из великодушия дал бы ему поднять, а потом он бы у меня вышиб.

12 февраля.

Сегодня я прихожу из школы, а папанька меня встречает с растерянным лицом. Я спрашиваю, что такое, а он вместо ответа сует мне какую-то бумагу. И руки у него дрожат. Я стал читать:

> «Обратите внимание на поведение сына вашего Константина. За последнее время он сильно изменился к худшему. Костя бывает в обществе, где пьет вино до полного опьянения, кроме того Костя выучился курить крепкие папиросы. Но все свои похождения Костя от вас тщательно скрывает. Костя,

внеся 2 миллиарда, вступил с несколькими девочками и мальчиками в компанию, не совсем для него подходящую и очень развратную. В субботу все члены этой компании собираются где-то в Ивановском парке провести ночь в буйном кутеже, с большим количеством вина. Поэтому, вероятно, под более благовидным предлогом Костя в субботу ночевать дома не будет. Все это письмо вам покажется глупой, невероятной выдумкой, но вы можете найти способ проверить его содержание. Костя давно научился вас ловко обманывать, и только вы можете на него повлиять».

Я так и сел. Папанька спрашивает:

— Костя... скажи старику... правда все это?

— Нет, папанька, неправда, — отвечаю я, а у самого круги в глазах. — А если бы и была правда, ты бы уже давно это заметил. Что, я возвращался когда-нибудь домой, чтобы от меня вином пахло? Скажи-ка по совести? Ну-ка?

— Нет, как будто не было этого. Да ведь я не нюхал.

— Да глаза-то, папанька, у тебя есть или нет? По виду разве заметить не мог? Ведь я каждый день у тебя при глазах.

— Так-то так, а все же...

Не верит старик. Чем его убедить?

— Ну, где мне время вино пить? Сам знаешь, почти каждый день у нас собрания всякие, домой придешь, как собака усталый, и сейчас же за книжки — минутки свободной нету... Что я курю, это верно, только тебе не хотел показывать, чтобы не огорчать. А насчет вина — буза.

А у самого в голове:

— Какая сволочь это написала? Написано печатными буквами и без подписи, чтобы не узнали почерк. Неужели... неужели...

Ничего понять не могу. А папанька ходит по комнате, руки у него трясутся, и мне стало его так жалко, так жалко, что и выразить не могу. Подошел я, обнял его:

— Папанька, — говорю, — верь моему слову, что все это буза. Ведь я тебе никогда не врал, — зачем же сейчас-то врать буду? И ты успокойся, пошамай и ложись спать. А завтра, коли хочешь, иди в школу и спроси у нашей заведующей, похоже это на меня — или нет. Согласен?

Тут он посмотрел мне в глаза и говорит, что никуда не пойдет, и так верит. А я вот — не успокоился. Жив не буду, а расследую это дело. Кто это писал?

До сих пор заснуть не могу. В первый раз в жизни убедился, как тяжело врать такому старику, как мой.

13 февраля.

Ну, и дела! Оказывается, такое письмо не только моему папаньке прислали, а еще и другим отцам и матерям. Сегодня пришло их в школу человек шесть, и все на Зин-Палну. Зин-Пална сейчас же собрала всех

ихних ребят и долго что-то с ними выясняла. Все ребята вышли от нее распаренные, как после бани. Я сейчас же их расспрашивать — никто ничего не сказал. Венька Палкин ходит весь бледный и ни с кем не разговаривает: думает, что кто-нибудь дознался про капустники, и очень боится, как бы его не припаяли за это дело. А по-моему, теперь уж бояться нечего. Если раскроют, нужно просто сказать: да, мол, так и так. А все-таки стараться, чтобы не раскрывали.

16 февраля.

В школе появилась Лина. Отсутствовала она будто бы по болезни. Пришла она с заплаканными глазами: оказывается, ее отцу тоже прислали такое письмо. Ходила и целый день плакала. Наконец, я не выдержал, подошел к ней и говорю:

— Будешь реветь, нас всех засыплешь! Ведь никто ничего толком не знает, и все будет шито-крыто.

А она еще пуще разревелась и сквозь слезы — на меня:

— Это все из-за тебя! Ты, ты, ты во всем виноват! Один ты. Если бы не ты, я бы...

И в окончательный рев. А при чем тут я — не понимаю? В чем я могу быть виноват? Говорили, что она самоубивалась из-за меня, но это буза. И даже если так, то я-то чем виноват, что она в меня втюрилась? А в капустниках я столько же виноват, сколько она: ходил, и больше ничего.

17 февраля.

Сегодня Зинаида Павловна просила учком созвать общее собрание. Вопрос она поставила об анонимных письмах.

— Прошу, — говорит, — тех, кто хоть что-нибудь знает о происхождении этих писем и есть ли в них хоть капелька правды, сказать об этом общему собранию. Все видят, что многие из ребят подавлены и не могут как следует учиться.

В ответ — все молчат. Я в это время переживал тяжелые чувства. С одной стороны я был связан страшной клятвой, как и все остальные. А с другой стороны, мне было ясно видно, что вопрос как-нибудь надо решать.

— Ну, хорошо, — говорит Зин-Пална, — я вижу, что никто ничего не знает. В таком случае, предадим это дело забвению. Я убеждена, что во всем виновата богатая фантазия автора анонимных писем. Со своей стороны я чрезвычайно была бы ему обязана, этому автору, если бы он направил свою фантазию в какую-нибудь другую сторону, а не в сторону срыва школьных занятий. Кроме того, думаю, что следует ускорить подготовку постановки «Гамлета». Следует устраивать репетиции каждый день. Спектакль может в значительной степени проветрить головы и очистить атмосферу, а то она достигла большого давления.

Большинство тут засмеялось, а мне стало еще тяжелей. Мне стало стыдно, так же, как тогда, когда я врал отцу. В самом деле, Зин-Пална нам всем верит и готова когда угодно выгородить, а мы ей врем.

Постановили: устроить спектакль 20 февраля (это с согласия Никпетожа) — и пригласить на спектакль ячейку той фабрики, к которой мы приписаны.

18 февраля.

Все-таки, я должен найти какое-то решение половому вопросу, потому что он измучил меня вконец. Дошло до того, что сегодня на репетиции, когда девчата все были в костюмах и причесаны по-другому, и было страшно тесно на сцене, я нарочно стал их затискивать в угол, не из озорства, а из-за другого. Девчата на меня все время ругались, а Никпетож пригрозил меня выставить и заменить кем-нибудь, хотя бы это было в ущерб спектаклю. Хорошо, что ни Никпетож и никто не заметил, что это было не из простого озорства. Наоборот, все кричали, что я былопритих последнее время, а теперь опять распустился.

А если бы они знали?

19 февраля.

Вышло так, что я теперь не смогу больше, должно быть, разговаривать с Сильвой. Даже не знаю, как это записать. Все время мы были с Сильвой, как хорошие товарищи, и теперь, по совести, я ничего другого к ней и не могу чувствовать, кроме самого товарищеского отношения, но меня словно кто-то дергал за язык, и я не удержался.

Сильва — главный член костюмерной комиссии, потому что другие костюмеры ничего не делают, а она почти одна все костюмы устроила. Поэтому Сильва бывает на всех репетициях, и сегодня, на генеральной, была. И вот, в естественной лаборатории, где устроена артистическая уборная, Сильва мне зашивала (на мне) костюм Лаерта.

И вот, я ее спрашиваю:

— Сильва, а ты могла бы со мной гулять? Это я принципиально спрашиваю.

— То-есть, как гулять? — спрашивает Сильва. — Ведь мы с тобой много гуляем?

— Нет, не так, а по-другому. По-настоящему.

Она даже шить остановилась:

— Да мы разве не по-настоящему гуляем?

— Ты не понимаешь, — сказал я, и мне стало очень неловко. — Ну, вот, например, как... муж и жена.

Я думал, она рассердится, а она ничего. Опустила глаза и спрашивает:

— Ты что же, на мне жениться хочешь? Тебе еще рано, а мне и подавно.

— Да ты не понимаешь, Сильва, — сказал я, а сам думаю, как бы удрать из костюмерной. — Это не так, я совсем не про женитьбу, я хотел сказать... вот... могла бы ты гулять со мной... вот, теперь, еще в школе.

Она на меня подняла глаза:

— А как же ты это будешь делать?

— Ну... вот... например, я тебя поцелую.

Она подумала и говорит:

— Этого я, пожалуй, и не позволю. Ну, допустим, позволю. А потом что ты будешь делать?

— Пошла ты к чорту! — крикнул я, рванул изо всей силы нитку, которой она пришивала, и выбежал вон.

И во всю репетицию не мог глядеть ей в глаза.

22 февраля.

До сих пор не успел записать про спектакль: все занимался расследованием писем.

А спектакль удался на славу. Сережка Блинов ревел, как гром, и колбасой носился по сцене, всех сшибал, так что король ему даже довольно громко сказал: — Да тише ты, чччорт. Потом дух — это был Венька Палкин — был очень удачный. Он весь был закутанный простыней, и лицо вымазано мелом, и голос загробный, особенно когда он из-под пола в рупор говорил. Только он должен был вылезать из люка, а люк испортился, поэтому ему пришлось выходить прямо из-за сцены. Никпетож волновался больше всех. Он засел сбоку с книжкой в руках и подсказывал, как суфлер, ведь будки у нас нету. Потом ребята говорили, что кто сидел поближе, мог слышать сразу два текста: один из-за кулис, а другой — со сцены. Я все-таки вышиб у Сережки рапиру, потому что он не умеет фехтовать, и никто не заметил, что это — не по Шекспиру.

Черная Зоя играла здорово, лучше всех. Говорят, что многие девчата даже плакали, глядя на нее.

25 февраля.

Сегодня меня Черная Зоя удивила. После спектакля она ходит, задрав нос, потому что ее много вызывали. Вообще, у ней вид переменился. Свое черное платье она перестала носить, стала веселая: не такая, как раньше. И про мертвецов разговаривать больше не хочет, хотя ее, по старой памяти, кое-кто дразнит мертвецами. Так вот, она меня вывела в коридор и говорит:

— Знаешь, я хочу тебе сообщить секрет.

— Какой секрет? Пожалуйста, без секретов.

— Нет, очень важный. Ты знаешь, я в тебя влюблена.

— Чтооо!

— Да ты не штокай. Ты не думай, пожалуйста, про себя очень много, влюбление не от нас зависит, а от природы. И не воображай, что я из-за тебя что-нибудь натворю. А только я думала-думала и решила сказать

тебе прямо, потому что так на сердце легче станет. И это тебе никаких прав надо мной не дает.

— Пойди, выпей холодной воды, — ответил я и пошел прочь.

26 февраля.

Странная история! Девчата пошли шушукаться между собой, и я кое от кого узнал, что опять хотят поднять бузу насчет капустников. Но самое главное, что я узнал, это то, что Сильва с ними заодно. С Сильвой я не разговаривал ни разу с тех пор, как задал ей вопрос (я хотел только принципиально выяснить), и видно, что она меня избегает.

Узнав про шушуканье, я посоветовался с Венькой Палкиным, и мы решили предпринять контр-наступление.

27 февраля.

Я страшно рад и доволен собой. Почти весь февраль я просидел над докладом о китайских событиях, и Никпетож доклад очень похвалил.

А потом, кажется, я проследил за тем, кто писал анонимные письма. Это — Горохов Кешка, длинновязый такой и молчаливый парень из второй группы. А почему я думаю, что это он, — вот. Единственной нитью у меня в руках было письмо, которое получил папанька. А у нас в школе каждый приносит чернила с собой. Вот я и стал прослеживать чернила у каждого. Эта работа была трудная потому, что каждый прячет чернила, как только напишет то, что надо. Поди-ка, уследи. Но сегодня устроил штуку. Ворвался в математическую лабораторию, когда там занимались одни второгруппники без Алмакфиша, и закричал:

— Скорей, давайте чернил, Алмакфиш просит!

И сам схватываю первые попавшиеся чернила (конечно, Кешкины, я еще раньше заметил, что он ближе к двери сидит). И — дралка. Кешка мне вдогонку: — Да стой, погоди, мне писать нужно, — но я, не будь дурак, скорей в аудиторию, там у меня была приготовлена пустая склянка, отлил туда Кешкиных чернил и иду равнодушно обратно, отдаю Кешке чернила. Он на меня подозрительно посмотрел, но ничего не сказал. А я давно за ним наблюдаю и заметил, что как посмотрю на него, так он меняется в лице. И потом он — единственный из второй группы, который бывал на капустниках. Чернила я сверил, и оказались очень похожи: лиловые, как те, так и другие. Теперь проверить почерк, и дело в шляпе. Только это еще трудней, потому что письма-то написаны печатными буквами.

Третья тетрадь.

МАРТ — АПРЕЛЬ.

3 марта.

Всеми правдами и неправдами мне удалось раздобыть тетрадку Кешки Горохова, и я занялся сличением почерков. В общем, мне показалось, что почерки письма и тетрадки похожи, и я пошел разговарить с Кешкой. Я прямо начал:

— Кешка, это ты писал письма родителям?

Он даже весь изменился в лице и отвечает:

— Ты что, сволочь, с ума сошел?!

Я наподдал еще:

— Не бойся, я про тебя все знаю.

— Что ты знаешь? Что ты знаешь?

И замахал кулаками. Я сделал таинственный вид и ушел. Теперь, по психологии, он сам должен ко мне притти и сознаться.

4 марта.

Я здорово обмишулился. Дело было так. Я пошел сдавать к Никпетожу за январь, раскрыл книгу по истории, и вдруг, вижу: там лежит записка. Я развернул и даже ахнул:

> «Костя, по старому чувству тебя предупреждают, что против тебя и Веньки Палкина готовится поход за капустники. Они все знают. Берегись».

Но ахнул-то я не от того, что там было написано, а оттого, что почерк и печатные буквы, и чернила, — все было то же самое. Значит, это не Кешка. После нашей чуть ли не драки станет меня Кешка предупреждать, да еще по какому-то «старому чувству». Тогда я пошел к Никпетожу и вместо сдачи зачета спросил его:

— Николай Петрович, хорошо я делаю, что пытаюсь узнать, кто из ребят писал анонимные письма?

— А как вы это делаете?

— Слежу и потом делаю выводы.

— А зачем вы это делаете?

— А потому, что тот, кто писал, подводил товарищей.

— Видите, Рябцев, прежде всего, брать на себя роль добровольного сыщика за товарищами — это роль совсем неблаговидная. Затем ведь дело предано забвению, зачем же его опять воскрешать?

Я чуть было не брякнул, что дело опять всплывает, но во-время прикусил язык.

Поиски я, пожалуй, и вправду прекращу: чуть было не попал в дурацкую историю с Кешкой Гороховым.

Но кто же писал письма, и потом эту записку — мне?

7 марта.

Я прочел Арцыбашева «Санин» и потом всю ночь опять не спал, и опять было фим-фом пик-пак. Теперь страшно болит голова, и я прямо не знаю, что делать. К Никпетожу, что ли, пойти? Неловко как-то. Скажет: Объясняли вам на естественной, а вам все мало? Да и не могу же я ему рассказать всего.

Плохо то, что все это отзывается на умственном положении. Я теперь дошел вот до чего. Взял тетрадку своего дневника, где было списано со

стены про цель жизни, нашел то место, где я написал «Вот буза-то» (это где говорилось про удовлетворение потребностей) — и зачеркнул, что сам написал. В самом деле, если человек принужден удовлетворять свои потребности не так, как все, он страдает. Страдает он и тогда, когда совсем не может удовлетворять потребностей. А жить и страдать — это стоит ли?

Но когда такие мысли пришли, я сейчас же спросил себя:

— А достойно это комсомольца, — человека, идущего в авангарде молодежи?! Потому что я, хоть не комсомолец, а кандидат, но считаю себя убежденным коммунистом. Вообще, мне кажется, я совершил много плохого: тут и участие в капустниках, и то вранье, которое за этим последовало, а главное, конечно, это половой вопрос. У буржуазии и интеллигенции половой вопрос разрешался как раз в такую сторону, как у меня. Что же я — буржуй? Или я — интеллигент? Ни тем, ни другим себя не считаю, поэтому должен решать вопрос как-то по-другому.

15 марта.

Я давно уже заметил, что Венька Палкин в школу не ходит. Я так думал, что это — из-за капустников. Теперь мне кажется, что по другому поводу. Но вмешиваться я в это не стану. Мне кажется, что Никпетож прав и что следить за товарищами — не совсем благовидное занятие.

Так как я разошелся с Сильвой, то мне не с кем было дружить, и я все чаще бываю с Черной Зоей. Она мне призналась, что раньше меня ненавидела за всякие придирки. И что переменила ко мне чувства после спектакля, когда я очень ловко вышиб рапиру из рук Сережки Блинова.

Занятия мои идут нормально. Головные боли прекратились, и ф-ф-п-п тоже. Я каждое утро обтираюсь снегом.

21 марта.

Сегодня ко мне подходит Сильва и говорит:

— Костя Рябцев, я принуждена тебе сказать, что окончательно переменила мнение о тебе. Раньше я думала, что ты настоящий комсомолец и верен идеологии. А теперь я вижу, что ты просто притворялся и что настоящая твоя идеология далеко не соответствует комсомолу.

— Я никогда не притворялся, — отвечаю я. — И откуда ты знаешь мою настоящую идеологию?

— Тебе это прекрасно известно. Но и мне известно, что вы устраивали с Веней Палкиным.

— Прежде всего, я ничего не устраивал, а только ходил. А потом, значит это ты писала анонимки?

— Ах, ты, дрянь ты эдакая, — говорит Сильва и смотрит мне прямо в глаза. — И ты мог это сказать? Хорош!

Повернулась — и уходит.

— Стой, Сильва, — говорю я. — Ты действительно думаешь, что у меня не комсомольская идеология?

— Я с тобой и разговаривать-то не хочу. — И ушла.

Мне было до крайности обидно, но я ничего не мог сделать, потому что отчасти она права. Хотя я никогда не притворялся.

Но все-таки я ей докажу.

23 марта.

Произошел большой и все-таки не совсем понятный скандал.

В школу явился служитель культа (поп), — отец Лины. Он вызвал Зин-Палну, и они долго объяснялись. Отец Лины, весь красный, что-то доказывал Зин-Палне, а она только разводила руками. Это было в шкрабьей комнате, поэтому никто ничего не слышал. Потом Зин-Пална, страшно взволнованная, ушла вместе с отцом Лины и вернулась только к концу уроков.

Сейчас же было созвано собрание шкрабов, а мы распущены по домам.

25 марта.

Мне очень тяжело будет написать это, но я все-таки напишу.

Сегодня, как только я пришел в школу, Зин-Пална вызвала меня к себе.

— Вы будете, Рябцев, говорить со мной вполне искренно? — спрашивает она.

— Буду, — сказал я, и гляжу ей прямо в глаза! (Мне надоело врать.)

— Скажите, вы бывали на этих сборищах, которые устраивал Веня Палкин?

— Бывал.

— Вам приходило в голову, что вы этим не только срываете школьные занятия, но и подводите всю школу?

— Даю честное комсомольское слово, что не приходило.

— Что же вы думали о связи школы с этими... явлениями?

— Я думал, что... раз это устраивается вне школы, то... одно к другому не имеет отношения.

— Ну, допустим так. А то, что случилось с Линой, — вы знаете?

— Я видел, что она не ходит в школу и что это стоит в какой-то связи с... капустниками, но, даю честное слово, определенно не знаю.

— Лине придется уйти из школы, и она уезжает на Украину. Я думаю, вы сумеете также молчать про наш разговор, как вы молчали про ваши капустники?

— Зинаида Павловна, я, конечно, буду молчать, — сказал я, и у меня в горле перехватило. — Только... Я думаю, что девчатам все уже известно гораздо лучше меня.

— Я с ними уже говорила. Ступайте.

— Погодите... Зинаида Павловна... еще один вопрос. Что... имеет отношение... то, что случилось с Линой... имеет отношение к... половому вопросу?

— Да. Имеет, — твердо сказала Зинаида Павловна. — Теперь идите.

Я ушел — только не в школу, а домой.

После записи 25 марта в тетради вымарано несколько страниц.

5 апреля.

Вчера я получил письмо от Лины:

«Костя Рябцев! Я тебя теперь не виню ни в чем и понимаю, что сама очень виновата. Костя Рябцев, когда ты получишь это письмо, то я буду так далеко от тебя, что мне не будет стыдно. Я теперь начинаю новую жизнь, а все то, старое, прошлое и мрачное, осталось позади и вычеркнуто из моей жизни навсегда.

Знай, что я сошлась с В. П. из-за тебя. Верней, со зла на тебя и с отчаяния, что ты со мной груб и что так глупо и пошло вышло наше самоубийство. Все это прошло, прошло, прошло, — и теперь мне так легко... Я советую тебе тоже бросить такую жизнь, потому что кроме беспросветного мрака ты ничего не получишь. А все прекрасное в жизни у тебя, как и у меня, еще впереди.

Тоже узнай, что письма писала всем родителям я. Я мучилась, я страдала и хотела все это прекратить, только не знала, как. Вот и выдумала. Мне стало от этого еще тяжелей. И только теперь, вырвавшись из мрака на свободу и свет, я поняла, как была глупа.

Ты напрасно говорил с Сильвой о том, — помнишь, там, в костюмерной... Сильва не такая. Во время самых тяжелых моих переживаний она ухаживала за мной, как сестра, хотя раньше я была с ней груба.

Прощай, Костя Рябцев! Живи счастливо и помирись с Сильвой. А меня забудь, — навсегда, навсегда...

Лина».

Как все-таки скверно, когда не умеешь жить!

10 апреля.

Сегодня на улице встретил Веньку Палкина, в модном пальто и с папироской в зубах, с тросточкой.

— А, Костя, — говорит, — все еще маринуешься в коптильнике?

— Да, все еще учусь в школе.

— Охота тебе... Знаешь что? Приходи завтра ко мне на квартиру. Я там же живу. Будут девчата, — не ваши кислые школьные, а настоящие девочки, добрые. Вино новое выпустили. Приходи?

— Ну, что ж? — сказал я, — приду. А из наших кто-нибудь будет?

— Как же, будут! Все хорошие товарищи. Так придешь?

— Приду. До свидания.

12 апреля.

Дело было вот как.

Я, как всегда, пришел к Веньке в Ивановский парк, часам к девяти. Там у него было в сборе народу человек 12. Все сидели за столом, а родителей не было — они всегда уходят, когда у Веньки капустники.

Теперь я все могу писать, и поэтому — что такое капустники. Капустники — это выпивка и гульба с девчатами, только не такая, как по улицам с ними гулять, а лапанье в обнимку, поцелуи. По середине стола ставится кислая капуста с постным маслом, ее все очень любят. Потом все пьют самогон, пока не напиваются. Я кроме лапанья ничего не видел, а теперь я догадываюсь, что было и похуже.

Ну, так вот: я пришел, а они сидят, и в том числе из нашей школы человека три. Я даже имена их писать не буду. Все ребята, из девчат никого. Девчата были, только чужие и накрашенные.

Ну, так вот. Они все уже полупьяные, — как увидели меня, так и закричали:

— А, Костя пришел! Налейте ему со встречей! Дело будет!

— Да, будет хорошее дело, — сказал я, взял и разбил об пол стакан, который мне подали. — Дело будет хорошее потому, что я понял, какие дела бывают хорошие, и какие плохие. Вы, мои дорогие товарищи по школе, сейчас уйдете отсюда вместе со мной и никогда больше сюда носу не покажете, потому что это гадость, что вы сейчас делаете и что делал раньше я. Только раньше я скажу пару слов остальным гражданам, которые здесь.

— Да ты что, с ума сошел! — закричал Венька Палкин.

— Нет, я с ума еще не сошел, — наоборот, ум ко мне вернулся, — ответил я. — Ты сосчитал, Венька, сколько пакости принес этими своими капустниками? Ты сосчитал то, что девчине одной — ты знаешь, про кого я говорю — искалечил жизнь? И нашу школу чуть было не сорвал, — ты это сосчитал? Нет, ты уж пей и развратничай со своими приятелями, а нашу школу в покое оставь!

— Сволочь ты несчастная! — закричал Венька и полез с кулаками.

Тогда я пустил в него бутылкой, и мы вместе с ребятами выскочили вон.

Цена вещей.

(Из серии «Легенд о Губпродкоме»).

Александр Зуев.

Я, знаете, вещи берегу. И если, знаете, даже поставить вопрос на революционной подкладке, так бережливость есть первая гражданская добродетель.

Вот меня, скажем, люди считают скупым, — «скуповат, говорят, Иван Семенович», — так я этому только смеюсь, в глаза смеюсь. Потому, что не понимают теории.

Вещи беречь надо. Скажем, чашка. Я вот в жизни не разбил чашки. А сколько есть людей, которые в сердцах ежедень хлопают чашки о пол? А? Почитаю за грех и всячески осуждаю.

Во-первых, чашка есть труд. Хоть и вся цена ей, скажем, двугривенный, а труд. Один глину месил, другой лепил, третий калил, четвертый цветочки наводил. Это есть труд, а труд надо уважать.

И во-вторых. Вот все говорят — социализм. А что такое социализм? не всяк понимает и зря болтают языком. Социализм есть полнота вещей. Скажем, наделано в мире столько чашек, что на каждого хватит не меньше ста. Сто чашек на человека и все первый сорт, а? Это значит, останови фабрики и отдыхай. Вот вам и социализм. Но ежели, конечно, ежедень хлопать по чашке о пол, то и социализм является недоступная мечта и человеческая утопия.

Нет, я вещи берегу. Был у меня один даже прискорбный случай в двадцать первом году и подумайте, из-за чего — из-за гребенки. Меня тогда командировали из Губпродкома нашим представителем по заготовкам в освобожденную зону. Поехал я, отвел свои дела и — назад. Ездили тогда все на максиме горьком. Теперь-то об этом смеючись вспомнишь, но тогда было вполне серьезное дело. Билетов тогда не было, звонков не звонили и когда эти максимки отходили, никому не было известно, а садились все пораньше, с утра. Ну, классов, само собой, тоже не было, а были одни телячьи теплушки.

Как я был с мандатом, и прихожу к коменданту. «Садись, говорит, в любую на третьей линии». Так. Пролез я под вагонами, забрался себе

в теплушку, сижу. А тут товарищей идет человек десять. Я их и покликал всех. Другие, знаете, не любят военных, а я ничего. Во-первых, народ служебный и не гордый, да и надежнее все же с ними, как-никак, а военным людям всегда почет.

И они рады, что я им место уступаю. Печку-железку откуда-то сразу стащили, дров с паровоза нанесли и нары поправили. Печка заполыхала, жаром понесло, прямо благодать неземная! Ну, говорю, теперь-то мы жители. Теперь, ребята, уговор: никого без разбору сюда не пускать. И действительно: видят все, дымок из трубы вьется, — стук да стук, нет ли местечка.

— Нету, кричим, проходи дальше, тут военный вагон!

И вдруг слышу женский приятный голосок, — нету ли местечка. Ребята мои прямо режут — нету местов и баста. Я думаю: «стой, нельзя так, все-таки дама, надо понимать обхождение». И открываю дверь. Прехоррошенькая, вижу, дамочка, сестра, как видится. «Пустите», говорит, а глаза так и молят. Я к ребятам: «тут, говорю, дело обстоит иначе и есть касательство до вас военных. Надо сестрицу пустить».

Ну, раз такое дело, они согласны. Побежала она за коробочками и приводит неожиданно еще четырех сестриц: примите да примите, и вам, мол, в компании будет веселее. Ну, мы долго тут не упрямились, впустили.

Стали сестрицы мои устраиваться. Мыльца, порошочки, коробочки разные повыкладали, постельки, подушечки пораскидали и понесло у нас по вагону такой сладкой амброй, аж военный-то дух стало помаленечку перешибать.

Дамочки оказались народ свойский, нестеснительные и вместе с тем веселые. Красная армия моя на них сначала бычком, а потом, гляжу, разохотились. Одна попросила за водой сбегать, так за чайничек чуть не драка, всякому охота подслужить. И словесности сразу убавилось, ребята, гляжу, стали воздерживаться. И все друг другом очень довольны.

Тут велели выбрать старшего по вагону, и все показали на меня: фигура, мол, у вас превосходная. Я на отказ не пошел — кандидатура никем не опорочена, — снимаю спод пиджака ремень с самовзводом и опоясываюсь сверх пальта.

Так выхожу на платформу и прохаживаюсь взад - вперед. Снежок такой мягкий загустел, вечер надвигался. И мне показалось печальным это время. Вагоны темные, нигде огня, место чужое, и неизвестно, когда и как будет наш путь. И что мы все, построившие временное свое благополучие в этой временной теплушке у временного огня? Какая наша радость? В чем счастье?

Так хожу я со скукой в душе, вдруг кто-то меня тихо, как ребенок, тронул за руку. Гляжу, та сама прелестная сестрица, что пришла к нам первой. Смотрит синенькими глазами, а будто сказать боится. С нежностью я беру ее за ручку и говорю:

— Что вам, дитя?

А ручка, как птичья лапка, сухонькая, маленькая.

Она:

— А вы о чем задумались?

Я отвечаю:

— Не доверяю своей судьбе.

И вижу по синеньким глазам, что тревожно ей сразу стало и точно не понимает, о чем я хочу высказать. И спрашивает со страхом:

— Так неужели правда?

— Что правда, дитя?

— Да что будут отбирать?

Я тут, рассердившись за непонятливость, обрезал сразу:

— Знаете, вполне возможно!

А потом подумал: «что же, думаю, ведь это же закон жизни. Все в мире материально и всяк привязан к своим вещам. И эта птичка привязана к своим вещам и нужно это понимать. Чего ж сердиться-то?» И ей, страшно испугавшейся, говорю уже возможно помягче:

— А может и обойдется. У нас военный вагон, и я поговорю с комендантом.

Успокоил ее, да на том и сам успокоился и даже посмеялся своей предыдущей скуке.

К ночи дернуло с места нашу теплуху — поехали. Красная армия моя спала уж, а тут на радости все повскочили. Крути, Гаврила! Разживили мы тут печурку, стали опять чаи гонять. Говорим о том — о сем и, смотрю, сестрицы мои все сводят разговор, — сколько чего можно провезти и где какие бывают заградиловки.

«Что, думаю, за продукт такой везут опасный?» У каждой по сундучку при себе на крепком замочке да еще кошолки в угол под нары сунуты.

А тут как раз остановка и в дверь застучали. Я, как комендант, выхожу.

— В чем дело?

Из темноты отвечают:

— Поверка.

— Ну, пожалуйста.

Влезают с ружьями. Товарищей, конечно, не стали обыскивать, потому, кроме вшей, что у них найдешь? А вот на сестричек-то насели, сестрички-то оказались с икрой.

Смотрю, вынимают и вынимают мешочки, кулечки, баночки, с крупой, с мучкой, с сахарцем, с сольцой. Мешочки-то все пошитые из бинтов, видать в госпитале откладывали по кусочку да по щепоточке, так и скопили себе запасец, да изрядный запасец. Больше всего мне понравилось, что мешочки у них так аккуратненько пошиты, колбасками лежат рядок.

Заградиловцы, вижу, так носом и закрутили. Тут вынимаю я свой мандат на провоз и некоторый ихний запас выдаю, как за свой. И товарищи тоже под-ряд загомонили: «чего, мол, военных сестриц обижать, тоже

жизнь их некакая сладкая». Так и ушли заградиловцы на радость нашим сестричкам, ничего не отобрали.

— Добрая, — сказали все, — заградиловка. Дай бог дальше.

Ну, ехать-поехать, сошлися мы с теми сестричками за добрую душу. Веселость ихняя да легкость всем нам привелись по нраву. Стрекочут, пересмешки строят, пищат — хиханьки да хаханьки, все нипочем. И сколько заградиловок ни прошли, мы ихние запасишки-то всегда усердно покрывали, дошли в порядочке.

А с Лидией Михайловной, — это которая с синенькими глазками, — у меня дружба полная. За всем она идет ко мне, а один раз даже всерьез сказала и посмотрела с намеком:

— Больше всего я в мужчинах люблю характер твердый и положительность.

Я тут вдруг неизвестно с чего даже закраснел и закашлял, будто бы в горле запершило, так прочищаю. И самому даже неловко за такую свою слабость стало.

А тут еще ночью получилась другая неловкость. Спали мы, конечно, все в повалку и как-то вышло, что я с Лидией Михайловной бок в бок. Спали, конечно, на общих нарах и тесно, без всякого удобства.

И вдруг среди ночи слышу легонький толчок локотком, весь сон у меня так и слетел. Лежу в темени и едва дышу, думаю, вероятно, почудилось и сам жду чего-то. Слышу, как волосами она мне в лицо щекочет и дыхание тепленькое совсем близко.

А вокруг, знаете, ночь, тьма, а колеса все бегут - бегут, и мысли мои тоже побежали нивесть куда, не удержишь. Думаю себе, — что же, долго ли еще мне по свету бобылем бродить по неизвестным дорогам? Оно правда, так-то спокойнее, сам себе хозяин и никому не указать, да и порядку в жизни больше. А все-таки, замерещились вдруг разные радости человечьи, и детишек захотелось, и беспорядку этого самого. Не век же углом неприпертым стоять.

Как бы спросонок закидываю я Лидию полой своего тулупа, и такое блаженство тут меня охватывает, невообразимо. Так до утра и пролежал не ворохнувшись, даже бок занемел вконец. И с горячей-то головы под утро уж решаю, что пришла видно моя судьба, нашел я, кого было надо, и остается теперь по приезде только дело оформить.

А она, проснувшись, первым делом глазки потерла, кошечкой потянулась и говорит:

— Ах, как сладко я спала, совсем как дома!

Ну, со всех сторон человек нравится. Так ехать-поехать, дорога к концу, а мне, добру молодцу, видно к венцу. Сижу, любуюсь все на нее сверху. Очень уж она красиво волосы в узел замотала, шпильки в зубах держит и глазками все по мне играет, я это в зеркальце-то хорошо вижу и только усы поправляю да отвечаю тем же.

Гребенку она у меня перед этим взяла, такая прекрасная была гребенка, с рукоятью, с золотой надписью: «Версаль» — заграничной

работы. И вдруг, знаете, смотрю-посмотрю — гребенка-то моя от непрерывного трясения подъехала к самому краю перекладины. И не успел я сказать «ах», как вдруг она и сковырнулась да прямо в щель на полном ходу. Высунулся я за дверь — где! — прости-прощай, моя гребеночка. Достанешься теперь кому другому, коли не размяло под колесами.

Обернулся тут я и, простите, не сдержался, первый раз за всю дорогу высказал резкое слово. Так, на ес — букву начинается. И спохватился, да поздно, уж вылетела птичка, что поделаешь.

Лидия-то Михайловна прямо, знаете, с перепугу столбиком стала и не сдвинется. Бледная вся стоит, рот раскрыла и даже губы затряслись. Но я ее тогда нисколько не пожалел.

— Что же, говорю, вы так всю жизнь хотите в зеваках ходить? Надо было в оба смотреть, тем более вещь чужая. Где ее теперь возьмешь, другую гребенку? Да мне другую и не нужно, я ту очень любил. Подайте мне именно ту!..

Напираю на нее так, а она все шире глаза на меня раскрывает и язык, видно, отнялся.

— Чему, говорю, вас жизнь учит? А? Какая сейчас горькая цена вещам, не знаете? Что жизнью люди платят за масла полфунта, того вы не знали? Да из какого эдема вы к нам в ре-се-фе-се-ре, интересно, пожаловали? Что-с? А может, с Деникинского, белогвардейского? Так мы и будем знать все про то!..

Вагон наш тут весь затих, товарищи-то на нее сразу воззрились, всем сестрицам стало очень неловко, а Лидия-то Михайловна так даже в слезы, нежно так заплакала.

Но я уж этот раз характер свой выдержал. Не простил ей за гребенку. Даже и не смотрел на нее больше и о прежних своих мыслях вовсе уж не вспоминал.

Тут скоро мы и к вокзалу подошли. Я в сердцах, ни с кем не прощаясь, первый из вагона выскочил. И вдруг, в суматохе бежит ко мне сама не своя одна из этих сестричек.

— Знаете, Лидочка очень хочет вас видеть, нужно ей что-то вам сказать. Очень просит! Пожалуйста!

А! Меня вокруг пальца не обведешь, нет, не таковский. Понимаю, что вещи, видно, взяли на досмотр, кулечков-мешочков, небось, поубавят. Мандатик им мой занадобился!

Помахал я сестричке ручкой:

— Никак, говорю, оч-чень спешу. Будьте здоровы!

Пускай узнают, какая есть на свете цена вещам. Для первоначалу будет вполне полезно.

Правдивая история о проводнике Мешади Фару Абас оглы.

(Кавказский сказ).

Всеволод Иванов.

Ты опять пришел к костру и хочешь, чтоб тебе рассказывали истории, от которых твоя одинокая постель, покинутая тобой утром, остывала бы только к обеду? Слушай же чудесную историю о проводнике Мешади Фару Абас оглы, прозванном веселый Мешади. Началась она далеко до войны и до того времени, когда наш город занимали мужчины в юбках. Прославленный Мешади имел прекрасную жену и великолепную лошадь, на которой два раза в день, утром и вечером, проезжал по городу, а все остальное время сидел в кофейной и ждал, когда русские вздумают пойти смотреть горы. Что русские смотрят в горах, это и до сего времени неизвестно, но Мешади получал деньги, благодарность от женщин и даже был такой день, когда он получил тринадцать благодарностей от тринадцати женщин, при чем последняя даже плакала и звала с собой в Москву. Но Мешади был горд и — зачем ему покидать горы? Так вот, русский генерал, красивый и тоже веселый, увидал однажды жену веселого Мешади, и она столь прельстила его, что генерал забыл обучать солдат, и солдаты его бродили по городу, словно козы по горам, и от них был такой убыток, что торговцы однажды сказали Мешади: «Веселый Мешади, ты подолгу сидишь дома и генерал скучает, ожидая того времени, когда ты уйдешь, а нам от генеральских солдат убыток. Приходи в кофейную с утра и пей за наш счет кофе и играй в кости, и пусть генерал не скучает». Веселый Мешади улыбнулся и сказал, что он давно ждет такого приглашения, и вот он сидел в кафе и ему было скучно, но у него не было солдат, и торговцы не заботились об его скуке. И тогда горская гордость наполнила Мешади и он решил отомстить. Он купил хороший кинжал, перетянул талию поясом и, положив руку на кинжал, пришел к жене генерала и сказал: «Я нашел в горах невиданную скалу, она блестит и как рубин, и как изумруд и с нее видны небеса и, может быть, бог на них. Прикажите оседлать лошадь и веселый Мешади отведет вас на эту скалу» — и жена генерала, любопытная как все жены, приказала оседлать лошадь. Тогда

Мешади повел ее по тропам, по которым водил всех русских, привел ее на луга, где цвели цветы, окруженные соснами, — и жена генерала забыла спросить о чудесной скале, похожей на рубин и одновременно на изумруд. Так она много раз ездила в горы и каждый раз забывала спросить о скале, а сидеть теперь в кафе Мешади было не столь скучно, и ему казалось, что можно быть генералом и не имея солдат.

В положенный срок жена генерала родила сына, и генерал призвал веселого Мешади и сказал: «Моя жена была бесплодна и кавказские горы исцелили ее. Посмотри, как мой сын белобрыс и светел и как в нем виден весь русский род». А сын его был черен как испуг Мешади, а веселый проводник подтвердил: «Он светел и весь русский род виден в нем», — и тогда генерал дал ему денег, и Мешади с присущей ему гордостью и достоинством взял их и, выйдя, сказал: «Вот как нужно уметь мстить, что можно получить и удовлетворение и деньги». Генерал уехал, а Мешади был по-прежнему весел и по-прежнему объезжал два раза в день город на своем великолепном коне с посеребренными стременами.

Уже седина выступила в веселой бороде Мешади, уже прошла большая война и по городу ходили солдаты в юбках, уже Мешади чувствовал старость, и заработки его уменьшились, а он гордо верил, что уменьшились от войн, а не от его старости. Тогда он стал подумывать о белобрысом генеральском сыне и, когда однажды какие-то солдаты занимали город и в горах играли пулеметы, Мешади прочел приказ о запрещении охоты в горах, и приказ тот был подписан полным именем генеральского белокурого сына. И Мешади затосковал, взял ружье и пошел в горы. Там он увидал куропатку, а может и не видал куропатки, но он выстрелил, его окружили три солдата и привели к белобрысому человеку, подписавшему приказ. Белокурый человек свел свои черные брови.

— Ты, — сказал он, — старый дурак, читал приказ и знаешь, что в горах нельзя стрелять. Мне бы надо тебя повесить или по крайней мере пустить тебе пулю в глупый твой рот, который ты скалишь, как собака, но я добр и приказываю тебя выпороть.

Что мог сказать Мешади против такой речи? Он гордо снял штаны и сказал:

— Пори.

И, приняв узаконенное количество нагаек, поднявшись молвил, — я всегда не верил в сыновью благодарность. Но он был по-прежнему весел и знал, что счастье ветренно и никогда не уйдет от Мешади, и оно, точно, не ушло. Опять в горах заиграли пулеметы и город заняли солдаты, расклеивавшие приказы, и вот, когда на море был шторм и волны мыли корни кипарисов, растущих по берегу, и Мешади сидел под этими деревьями и со скуки считал волны и насчитал их тринадцать тысяч, к нему подошел человек и сказал растроганным голосом: «Отец, узнаешь ли ты меня?». Мешади гордо посмотрел на него и ответил: «Кажется, я узнаю тебя! Разве умирающий генерал сказал тебе, кто твой отец?» «Да, — ответил оборванный человек, — он мне сказал про настоящего моего отца

и умер, и я накрыл его знаменем и, продав его серебряный портсигар, приехал к тебе». «Все это очень хорошо, — сказал своему сыну Мешади и крепко, с присущим ему достоинством, обнял его, — но мое ремесло стало столь же убыточно, как и ремесло генерала, и я уже стал стар, и только сижу на берегу и смотрю, как купаются женщины, и у меня нет охоты уйти с ними в горы».

И тогда он стал рассказывать про былые времена и сказал, что вот он смотрел шторм и насчитал тринадцать тысяч волн, но сам он был несчетнее шторма, — и сын подивовался на его рассказы и захотел увидать горные тропинки. Веселый Мешади показал ему все горные тропинки и ту скалу, куда никак не могла доехать генеральская жена, и вот сын его сделался проводником.

Мешади смотрел на сына и сын смотрел на Мешади и по вечерам они говорили о войне, когда им нужно бы было говорить совсем о другом. Мешади видел, что вновь приехали толстые женщины к морю и вновь захотели в горы, как это и было раньше, и каждой из них необходима была скала, одновременно похожая и на рубин и на изумруд. Сын Мешади, — к чему человечеству знать его позорное имя, — водил их в горы и вот у него уже была и черкеска, и белая папаха и скоро должен бы появиться конь, — но женщины, возвращающиеся с гор, имели такие же голодные глаза, как и перед тем, чтоб туда итти, и Мешади стал вместо войны напоминать сыну о штормах и своей молодости, и тот говорил ему: — «Хорошо», — но ничего хорошего не мог заметить в глазах женщин — веселый и мудрый Мешади. И тогда он сделал так. Когда однажды сын повел в горы тоскующее по тихому беспорядку человечество, то Мешади шел рядом с ними, тропами, скрытыми для всех, кроме его, Мешади, гордых и веселых глаз. Он шел и видел, что его недостойный сын не только не поддерживает стремени у едущей женщины, не только нежно не касается ее ноги, но сам идет далеко впереди, словно только что нашел тропу, и к тому же ведет разговоры о войне и воинских доблестях. Женщина знает, что такое война! Война — это значит, что мужчина, даже и вернувшись с войны, шесть дней из недели, по крайней мере, оставляет ее на одинокой кровати. Зачем с женщиной говорить о войне, когда вокруг скалы, луг, окруженный соснами и зеленая трава такая, какой нигде нет в России. И вот былая гордость наполнила Мешади, и он начал бросать огромные глыбы на тропы, и путники поднимали головы кверху и говорили, что близится или обвал, или идет гроза. Сын Мешади выпрямился и готов был защищать и от обвалов и грозы вверенные ему жизни, и походка его стала такой, словно он вел полк. И тогда Мешади сказал: «Дурак», и медленно спустился с гор.

Вечером опять был шторм, и берег опять мыл в волнах свои кипарисовые косы, и голубая мгла тумана стояла над береговыми скалами. Сын Мешади сказал своему отцу:

— Уже в горах началась буря, и на наши тропы летели камни, и я боялся как бы кого не убило.

— Дурак, — сказал ему Мешади, — эти камни летели из меня. Ты думаешь, нужна твоя защита? Каждая из этих женщин защитит тебя лучше, чем полк твоих разбежавшихся солдат. Ты думаешь — ей нужна твоя тропа? Каждая из них лучше тебя знает все тропы и в не таких горах.

— Плохо я разве знаю мои тропы? — возразил ему его сын.

— Ты трижды дурак, — сказал ему опять Мешади, — дважды, что не можешь уразуметь того, что я тебе сказал, и третий раз, что тело твое не море, а болото, и нельзя из такого болота разводить хозяйство. Пускай как прежде рушится мой дом, пускай я буду сидеть на берегу моря и только смотреть на купающихся, — но позора не будет на моей голове. Я думал, ты воистину сын Мешади, но ты по-настоящему сын генерала, и вот перед тобой шоссе, оно ведет в Россию или еще дальше, ступай по нему прямо, иначе камень, упавший на тропу, может ударить в твою голову... Я простил тебе твои плети, но не могу простить, чтоб сын мой висел над женщиной как плеть или что-либо другое более позорное. Иди!

И вот его сын пошел по прямому и пыльному шоссе, шаг его был медленнее шага буйвола, и каждый гнусный курд мог теперь над ним смеяться и плевать на его следы. Мешади глядел ему вслед, ему было его жалко, но он, сложив на широкой своей груди руки, видел горы, такие же непреклонные и гордые, как он сам.

Так окончилась история о возвращении сына проводника по горам веселого Мешади Фару Абас оглы.

Дума про Опанаса [1].

Дм. Петровскому.

1.

По откосам виноградник
Хлопочет листвою,
Где бежит Панько из Балты,
Дорогой степною.
На будяк напорет ногу
Под курганом ляжет,
Звездный Воз ему дорогу
Оглоблею кажет.
Звездный Воз дорогу кажет
В поднебесьи чистом
На дебелые хозяйства
К немцам-колонистам.
Опанасе, не дай маху,
Оглядись толково!
Видишь черную папаху
У сторожевого.
Знать от совести нечистой
Ты бежал из Балты
Топал к Штолю-колонисту,
А к Махне попал ты.
У Махна по сами плечи
Волосня густая:
«Ты откуда, человече,
Из какого края?
В нашу армию попал ты
Волей иль неволей?»
«Я, батько, бежал из Балты
К колонисту Штолю!

---

[1]) Часть поэмы была напечатана в «Комсомольской Правде».

Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида,
Я бежал из продотряда
От Когана жида.
По дорогам и по скатам
Коган волком рыщет;
Залезает носом в хаты,
Которые чище.
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито,
Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!
Ну, а кто поднимет бучу,
Не шуми, братишка.
Усом в мусорную кучу:
Расстрелять и — крышка.
Чернозем потек болотом
От крови и пота,
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу!
Ой, батько, скажи на милость
Пришедшему с поля:
Где хозяйство поместилось
Колониста Штоля?»
«Штоль? Который, человече,
Рыжий да щербатый?
Он застрелен недалече
За углом от хаты.
А тебе дорога вышла
Бедовать со мною,
Повернешь обратно дышло —
Пулей рот закрою.
Дайте шубу Опанасу
Сукна городского,
Поднесите Опанасу
Вина молодого.
Сапоги подколотите
Кованым железом
Дайте шашку, наградите
Бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече
От края до края!» —
У Махна по самы плечи
Волосня густая.

Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне;
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Украина — мать родная,
Жито молодое,
Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украина, мать родная,
Молодое жито.
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь в бандиты!

2.

Зашумело Гуляй-Поле
От страшного пляса,
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.
Опанас глядит картиной
В папахе косматой,
Шуба с мертвого раввина
Под Гомелем снята.
Шуба-платье меховое
Распахнута: Жарко!
Френч английского покроя
Добыт за Вапняркой.
На руке с нагайкой крепкой
Жеребячье мыло.
Револьвер висит на цепке
От паникадила.
Опанасе, наша доля
Туманом повита.
Хлеборобом хочешь в поле,
А идешь бандитом.
Полетишь дорогой чистой,
Залетишь в ворота...
Бить жидов и коммунистов
Легкая работа.
А Махно спешит в тумане
По шляхам просторным
В монастырском шарабане
Под знаменем черным.
Стоном стонет Гуляй-Поле
От страшного пляса

Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.

3.

Хлеба собрано немного
Не скрипеть подводам;
В хате ужинает Коган
Житняком и медом.
В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает.
«Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона,
Сколько в волости окрестной
Варят самогона.
Что посевы, как налоги,
Падают ли овцы?»
В это время по дороге
Топают махновцы.
По дороге пляшут кони,
В землю бьют копыта,
Опанас из-под ладони
Озирает жито.
Полночь сизая, степная,
Встала пред бойцами,
Издалека темь ночная
Тлеет каганцами.
Брешут псы сторожевые,
Запевают певни;
Холодком передовые
Въехали в деревню.
За церковною оградой
Лязгнуло железо:
Не разыщешь продотряда,
В доску перерезан.
Хуторские псы, пляшите
На гремучей стали;
Словно перепела в жите,
Когана поймали.
Повели его дорогой
Сизою, степною.
Встретился Иосиф Коган
С Нестором Махною.

Посмотрел Махно сурово,
Покачал башкою,
Не сказал Махно ни слова,
А махнул рукою.
Ой, дожил Иосиф Коган
До смертного часа,
Коль сошлась его дорога
С путем Опанаса.
Опанас отставил ногу,
Стоит и гордится:
«Здравствуйте, товарищ Коган.
Пожалуйте бриться!»

4.

Тополей седая стая.
Воздух тополиный.
Украина, мать родная,
Песня — Украина.
На твоем степном раздолье
Сыромаха скачет,
Свищет перекати-поле
Да ворона крячет.
Всходит солнце боевое
Над степной дорогой,
На дороге нынче двое:
Опанас и Коган.
По нетоптанным дорогам
Зной дымит и тает;
Комиссар товарищ Коган
Барахло скидает.
Растеклось на белом теле
Солнце молодое:
«На, Панько, когда застрелишь,
Возьмешь остальное.
Пары брюк не пожалею
Пригодятся дома,
Все же, бывший продармеец, —
Хороший знакомый».
Всходит солнце боевое
Кукурузу сушит,
В кукурузе ветер воет
Опанасу в уши:
«За волами шел когда-то,
Воевал солдатом, —

Ты ли в сахарное утро
В степь выходишь катом?»
И раскинутая в плясе
Голосит округа:
— Опанасе, Опанасе,
Катюга!.. Катюга!.. —
Верещит бездомный копец
Под облаком белым:
— С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело. —
И равнина волком воет
От Днестра до Буга
Зверем, камнем и травою:
— Катюга!.. Катюга!.. —
Не гляди же, солнце злое,
Опанасу в очи,
Он грустит, как с перепоя,
Убивать не хочет.
То ль от зноя, то ль от стона,
Подошла усталость,
Повернулся: «Три патрона
В обойме осталось.
Кровь, постылая обуза,
Мужицкому сыну;
Утекай же в кукурузу,
Я выстрелю в спину,
Не свалю тебя ударом,
Разгуливай с богом».
Поправляет окуляры,
Улыбаясь, Коган.
«Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая,
Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая.
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные,
Вправо — немцы хуторяне,
Влево — часовые.
Лучше я погибну в поле,
От пули бесчестной».
Тишина в пустом раздольи
Только выстрел треснул,
Только Коган дрогнул слабо,
Только ахнул Коган,
Начал сваливаться на бок,

Падать понемногу,
От железного удара
Над бровями сгусток,
Поглядишь за окуляры:
Холодно и пусто.
С Черноморья по дорогам
Пыль несется плясом,
Носом в пыль уткнулся Коган
Перед Опанасом.

5.

Где широкая дорога,
Вольный плес Днестровский,
Кличет у Попова Лога
Командир Котовский.
Он долину озирает
Командирским взглядом.
Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.
Жеребец поднимет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.
А по каменному склону
Из Попова Лога,
Вылетают эскадроны
Прямо на дорогу.
Головами крутят кони,
Хвост по ветру стелют:
За Махной идет погоня
Аккурат неделю.

Не шумит над берегами
Молодое жито;
За чумацкими возами
Прячутся бандиты.
Там за жбаном самогона,
В палатке дерюжной,
С атаманом забубенным
Толкует бунчужный:
«Надобно с большевиками
Нам принять сраженье,
Покрутись перед полками,
Дай распоряженье!»

Как батько с размаху двинул
По столу рукою,
Как батько с размаху грянул
По земле ногою:
«Ну-ка выдай перед боем
Пожирнее пищу,
Ну-ка выбей перед боем
Ты из бочек днища.
Чтобы руки к пулеметам
Сами прикипели,
Чтобы хлопцы из-под шапок
Коршуньем глядели,
Чтобы порох задымился,
Над водой Днестровской,
Чтобы с горя удавился
Командир Котовский!»

Прыщут стрелами зарницы
Мгла ползет в ухабы,
Брешут рыжие лисицы
На чумацкий табор.
За широким ревом бычьим
Душно изголовье,
Див сулит полночным кличем
Гибель Приднестровью.
А за темными возами,
За чумацкой сонью,
За ковыльными чубами,
За крылом вороньим,
Омываясь горькой тенью
Встало над землею,
Солнце нового сраженья,
Солнце боевое.

6.

Ну и взялися ладони
За сабли кривые,
На дыбы взлетают кони,
Как вихри степные.
Кони стелются в разбеге
С дорогою вровень,
На чумацкие телеги,
На морды воловьи.
Ходит ветер над возами

Широкий, бойцовский,
Казакует пред бойцами
Григорий Котовский.
Над конем играет шашка
Проливною силой,
Сбита красная фуражка
На бритый затылок.
В лад подрагивают плечи
От конского пляса, —
Вырывается навстречу
Гривун Опанаса.
«Налетай, конек мой дикий,
Копытами двигай,
Саблей, пулей или пикой,
Добудем комбрига».
Налетают и столкнулись,
Сдвинулись конями,
Сабли враз перехлестнулись
Кривыми ручьями,
У комбрига боевая
Душа занялася:
Он с налету разрубает
Саблю Опанаса.
Рубанув, откинул шашку,
Грозится глазами:
«Покажи свою замашку
Теперь кулаками!»
У комбрига мах ядреный,
Тяжеле свинчатки,
Развернулся — и с разгону
— Хлобысь по сопатке!

Опанасе, что с тобою,
Поник головою.

Повернулся, покачнулся,
В траву сковырнулся.

Глаз над левою скулою
Затек синевою,

Молча падает на спину,
Ладони раскинул.

Опанасе, наша доля
Развеяна в поле...

7.

Балта — городок приличный,
Городок, что надо.
Нет нигде румяней вишни,
Слаще винограда.
В брынзе, в кавунах, в укропе,
Звонок день базарный,
Голубей гоняет хлопец
С каланчи пожарной.
Опана́се, не гадал ты
В ковыле раздольном,
Что поедешь через Балту
Трактом малахольным.
Что тебе в догонку бабы
Затоскуют взглядом,
Что пихнет тебя у штаба
Часовой прикладом.
Ой, чумацкие просторы,
Горькая потеря...
Коридоры в коридоры,
В коридорах двери.
И по коридорной пыли,
По глухому дому,
Опанаса проводили
На допрос к штабному.
А штабной имел к допросу
Старую привычку —
Предлагает папиросу,
Зажигает спичку:
«Гражданин, прошу по чести
Говорить со мною,
Долго ль вы шатались вместе
С Нестором Махною?
Отвечайте без обмана,
Не испуга ради,
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде?
Отвечайте, но не сразу,
А подумав малость —
Сколько в основную базу
Фуража вмещалось?
Вам знакома ли округа,
Где он банду водит?»

— Что я знал: коня, подпругу,
Саблю да поводья.
Как дрожала даль степная,
Не сказать словами:
Украина — мать родная
Билась под конями!
Как мы шли в колесном громе,
Так что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка!
Наворачивала удаль
В дым, в жестянку, в бога...
...Одного не позабуду,
Как скончался Коган!
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,
Если вытянулся Коган
Поперек дороги!
Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернила,
Этой самою рукою
Когана убило!
Погибай же Гуляй-Поле,
Молодое жито»...
. . . .
Опанасе наша доля
Туманом повита!

Опанас, шагай смелее,
Гляди веселее!

Сапогом теперь не топнешь,
В ладоши не хлопнешь.

Пальцы дружные ослабли,
Не вытянут сабли.

Наступил последний вечер,
Покрыть тебе нечем!

Опанас, твоя дорога
Не дальше порога!

Что ты видишь? что ты слышишь?
Что знаешь? чем дышишь?

Ночь горячая сухая,
Да темень сарая.

Тлеет лампочка под крышей.
— Эй, голову выше!..

А навстречу, над порогом
Загубленный Коган.

Аккуратная прическа
И щеки из воска.

Улыбается сурово:
— Приятель, здорово!

Где нам суждено судьбою
Столкнуться с тобою?

Опанас, твоя дорога
Не дальше порога.

Эпилог.

Протекли над Украиной
Боевые годы.
Отшумели, отгудели
Молодые воды.
Я не знаю, где зарыты
Опанаса кости:
Может, под кустом ракиты?
Может, на погосте?
Плещет крыжень сизокрылый
Над водой днестровской;
Ходит слава над могилой,
Где лежит Котовский.
За бандитскими степями
Не гремят копыта:
Над горючими костями
Зацветает жито.
Над костями голубеет
Непроглядный омут,
Да идет красноармеец
На побывку к дому.
Остановится и глянет
Синими глазами,

На бездомный круглый камень,
Вымытый дождями.
И нагнется, и подымет,
Одинокий камень:
На ладони белый череп
С дыркой над глазами.
И промолвит он, почуяв,
Мертвую прохладу:
«Ты глядел в глаза винтовке,
Ты погиб, как надо!»

И пойдет через равнину,
Через омут зноя,
В молодую Украину,
В жито молодое.
. . . .
Так пускай и я погибну
У Попова Лога
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган.

Э. Багрицкий.

Лихо.

Как странник ходит Лихо человечье
И как его не пустишь ночевать:
Войдет оно и прикурнет за печью
Или мешком забьется под кровать...

И будет вечер долог и недужен,
За печкой заглотается сверчек,
Остынет печь, в печи прокиснет ужин
И накоптит у лампы язычек...

И дело ли шататься по соседям
Вдвойне не прок, коли зайдет сосед:
Сидит молчит, и ты глядишь медведем,
Пока в избе сам не погаснет свет...

Погаснет свет, а ночь черна, как копоть,
И страшно на окошки поглядеть...
...И всю-то ночь тревожно будет хлопать
Петух крылом и не во время петь...

... И не поймешь: тревога в сердце, в небе ль
Такая темень от осенних туч...
... И только в полночь, словно хилый стебель,
На подоконнике согнется луч...

А по-утру жена поставит чашку,
В тягучий квас накрошит мелко лук...
... И сядет Лихо в образе монашка
За хлеб и соль хозяйскую сам-друг!..

Оглянет всех уныло и устало:
Так долго шел и вот итти опять...
И подойдет к нему себе и детям малым
Жена благословение принять...

Привстанет он и полу приоткинет,
Ножом слегка надрежет в ряске шов...
И как из мглы из черной рясы вынет
С головкой сургучевой полуштоф...

Пригубит сам из синего стакашка
И хмурому хозяину мигнет...
... Хозяин сядет около монашка,
И гость ему большой стакан нальет...

Разломит жизнь, как хлебную краюху,
Большой ломоть за окна бросит псу,
И пес залает и завоет глухо,
Как бы напав на волчий след в лесу.

Завоет глухо, словно в голодуху.
Душистый хлеб страшней, чем мерзлый ком.
... Глядь: не монах в углу, а молодуха
Расчесывает косы гребешком...

Сидит она и весело смеется
И весело оглядывает всех...
И серый глаз светлей воды с колодца
И смех свежей, чем первый белый снег...

Жена заплачет и заплачут дети,
Все кувырком и встанет на дыбы...
И сам тогда все проклянешь на свете
И доведешь весь дом до худобы...

И если кто случится о ту пору,
С дороги ль дальней навернется сват,
Не загостит, а соберется скоро,
Увидя под иконами ушат.

Сергей Клычков.

Черемуха.

Песня.

О. М. Орешиной.

Недалеко от родимого села
Белолицая черемуха росла.

Молодая, раскрасавица на вид,
На одной ноге черемуха стоит.

Обдувает ее ветер в стынь и в жар,
Распевает песни звонкие гусляр.

Тут осина, и береза, и ольха
Засылают молодухе жениха.

На черемухе румяные цветы,
Ходят вязы, бородатые сваты.

Раскудрявилась веселая душа,
Молодая, до чего же хороша!

Темной ночью долго ль девке до греха, —
Ждет-пождет она красавца-жениха.

Кто-то будет ей и мужем и дружком, —
Осыпается черемуха цветком.

Облетает на ветру духмяный цвет,
А красавца-жениха все нет и нет.

Поджидала, наклонившись на плетень,
Тосковала всю-то ноченьку, весь день...

За деревней разбалакалась гармонь,
Ветру молвила черемуха: не тронь.

Дождалась она однажды ввечеру,
И досталась лиходею-топору.

Загубил ее разбойник в черный срок,
Зарубил ее под самый корешок!

Петр Орешин.

Коноплянники.

Десять лет тому назад
Был я смуглым и румяным.
Я носил в своих глазах
Шум и запах коноплянный.

Коноплянники мои,
Детства светлые метели!
Навсегда ль вы отцвели,
Навсегда ль вы отшумели?

Я носил всегда с собой
Часто боль, но чаще радость.
Коноплянник голубой
Приникал к ограде сада.

Десять лет... Еще тогда
Я не знал судьбы поэта,
Не тянулся к городам,
Не бродил еще по свету.

Город, город! Что сказать, —
Ты увел меня и ты же
Выпил детские глаза
И ненужно сердце выжег.

Вместо пыли конопли,
Вместо золота осины,
Ты глаза мои облил
Едкой горечью бензина.

Все разбилось, как во сне,
Самому никак не верится:
На глазах моих — пенснэ,
Легкий пепел — вместо сердца.

Только в памяти легла
Узкой лентою дорожка —
Осень, роща, топь тепла,
Туча галок над сторожкой.

А отсюда — путь прямой:
Галки — роща — коноплянник.
Шел я к вечеру домой,
Коноплянник плыл в тумане.

И еще вот из того:
В роще рос один осинник,
Пахло горькою листвой,
Тишиной осенней сини.

Я — в тяжелых сапогах,
Не иду — плыву листвою,
Задыхаюсь, как в волнах,
Этой пеной золотою...

Ах, дела мои, дела!
Что же ты так рано замер,
Смуглый парень из села,
С коноплянными глазами!

Антон Пришелец.

Надежда Петровна.

У Надежды Петровны цепь в ноздрях...
У Надежды Петровны тоска в глазах...
Там, где дубы необхватны, как бездны,
Где к вольному небу летят зеленя;
Там у медведицы когти железны,
Рева медвежьего там не унять.
Здесь ужас в сердце тихий, бескровный.
Здесь окрестили Надеждой Петровной.
Любо там ночью мохнатой и древней,
Когда месяц багров, как кровавая ржавь,
Шататься по влажной и мертвой деревне,
Безумную лошадь лапой прижать.
Здесь пища невинна, глупа и легка,
Здесь булку сует человечья рука.
Там утром росистым под солнечным кругом
Можно неделю мучительно выть
От приступов грозной, тупой и упругой,
Горячей и злобной, звериной любви.
Здесь хозяин голодный смеется и злится,
Покажи-ка нам, Надя, как любят девицы.
Там зайцы, там звезды, там травы, там ветер.
Там бурям разгульным не видно конца...
Там родные, любимые, круглые дети,
Ворча, припадали к шершавым сосцам...
Здесь в объятиях мертвых ненужная палка...
Вам разве Надежды Петровны не жалко?..

Яков Дубнов.

Ноябрь.

(Страничка из воспоминаний).

Карл Радек.

1. Дни крушения германского империализма.

Меня вызвал к Юзу тов. Иоффе, наш полпред в Берлине. «Только что получил сведения, — сообщил он, — что германское правительство решило обратиться к союзникам с предложением перемирия и мирных переговоров».

Сам факт, что Иоффе передает сообщение не шифром, а прямо по Юзу, не оставлял сомнений насчет не только серьезности источника сведений, но и того, что ему не приходится стесняться. Но все-таки я из осторожности спросил:

— Даете ли вы себе отчет о серьезности вашего сообщения и возможных его последствиях?

Иоффе ответил:

— Принимаю полную ответственность за сообщенное.

Я, само собой понятно, немедленно передал сообщение правительству. Оно подействовало на нас, как весть об освобождении. Положение в последние месяцы очень ухудшилось. Сведения нашей разведки указывали на то, что кольцо на шее Советской России затягивается с каждым днем все больше. Немцы не только сидели в Украине, но налаживали связь с Красновым и Деникиным. В Пскове шла подготовка белых отрядов. Раковский проездом в Вену видел там в гостинице совершенно открытую вывеску вербовочного бюро. В Финляндии немцы укрепились, и Петроград был под ударом. Мы расценивали положение таким образом, что немцы считаются с возможностью возвращения союзникам Бельгии и что поэтому подготовляют захват Москвы и Питера, чтобы иметь в руках предмет для переговоров. Ряд мемуаров, которые появились после германской революции, полностью подтвердил наши опасения. Из протоколов совещаний германского правительства, изданных в 1919 году, явствует черным по белому, что генерал Гофман требовал разрешения затянуть кольцо. Но теперь немцы предлагали переговоры о мире. Видно, что положение на фронте было хуже, чем мы предполагали. Тов. Свердлов все-таки говорил работникам Наркоминдела и Наркомвоена: — «Будьте на страже. Осенние мухи больно кусаются».

Мы ждали событий с громадным напряжением. День за днем приходили новые сведения о растущей панике в Берлине. Началась игра кошки с мышью. Вильсон начал делать совершенно открытые намеки на необходимость устранения Гогенцоллернов, как условия для ведения мирных переговоров. Он об'единял метод гофмановских угроз с агитационным методом Троцкого. Союзные правительственные радио оповещали весь мир о переписке Вильсона с германским правительством. Эти радио обстукивали германский фронт не менее опасными ударами, чем это делали американские и французские пушки. Бухарин, находившийся в Берлине, сообщал о растущем брожении среди рабочих, о кристаллизации левого крыла среди независимцев, берущего курс на революцию. Пришло сведение об освобождении Либкнехта. Получилось от него несколько горячих строк. Мы почувствовали, что германская революция имеет вождя. Независимцы требовали от нас отказа от взноса дани, предписанной нам Брестским миром. Владимир Ильич сопротивлялся этому. «Стоит уплатить за то, чтобы Иоффе мог еще оставаться в Берлине», — говорил он. И мы золото послали. Вдруг пришли сведения о прорыве болгарского фронта. За ними сведения, что Австрия сдается на милость врага. Ко мне прибежал австрийский посол де-Потере, чистенький, гладко выбритый старичок, как бы игрушка восемнадцатого столетия, он был растерян. Я ему об'яснял на карте требования, которые Италия пред'явила Австрии. Корректный старичок разрыдался.

— Ну, бросьте, — пытался я его успокоить. — Еще бы я понял немецкого посла. Но что вам, венгерскому итальянцу, если Австрию обкарнают или она немножко распадется!

— Видите, тридцать пять лет я на дипломатической службе и патриотизм — это отчасти привычка, а отчасти дипломатическая обязанность.

Пришли радостные сведения о начале революции в Австрии. Это было в субботу ночью, когда уже газеты верстались. Ильич и Свердлов приказали мне писать воззвание. «Но где же мы его напечатаем? Наборщиков уже нету». «Будут, — сказал Бела-Кун. — Дайте только хлеб и колбасу». И он отправился немедленно с учениками венгерской партийной школы искать военнопленных наборщиков. В четыре часа ночи он прибежал за манускриптом воззвания. И когда утром я вышел на улицу, уже из рук в руки переходили листки со сведениями о революции в Австрии. Со всех концов города шли демонстрации к Московскому Совету. С балкона Совета мы смотрели на море голов, которое волнами било от Страстной площади и от Моховой. Вдруг понесся крик, который рос, как ураган. В толпе двигался медленно автомобиль. Мы догадались, что Ильич не выдержал в Кремле и первый раз после своего ранения выехал. Мы выбежали ему навстречу с Куном. Лицо у него было взволнованное и очень серьезно озабоченное. Я не понимал в тот момент, почему этот страж революции озабочен. Когда Ильич появился на балконе, десятки тысяч рабочих заликовали. Подобного зрелища я никогда не видел больше. До позднего вечера шли шеренги рабочих, работниц и красноармейцев. Пришла мировая революция. Народная масса услышала ее железный шаг. Наше одиночество кончилось.

Новая телеграмма от Иоффе. Его изгоняют из Берлина. Что сие означает? Социал-демократы боятся нашей агитации? Ильич иначе толковал дело. Германия капитулирует перед Антантой и предлагает ей свои услуги для борьбы с русской революцией. Вот его разгадка. Теперь известно, что она была вполне правильной. Эрцбергер недвусмысленно предлагал союзникам за более выгодные условия мира бросить германские войска против Советской России. Иоффе был в продолжение 24 часов посажен в поезд. Но еще он не доехал к нашей границе, когда радио-станция на Ходынке перехватила телеграмму, посланную с военного корабля в Киле: «Сегодня мы хороним первые жертвы революции. Над германским флотом водружено красное знамя. Пусть оно водрузится над всей Германией и пусть наши жертвы будут последними». Она лежала передо мною, переданная с Ходынки через главную почту по Юзу. Я поехал немедленно на Ходынку. Мы вызывали без конца Киль, но радио-станция в Науене посылала встречные волны, чтобы помешать нам. А через несколько часов мы уже имели перехваты союзных радио о революции в Германии. Поезд с Иоффе прибыл в Борисов. Мы передали ему по Юзу сведения и требовали, чтобы он не уезжал с территории, занятой германскими войсками, ибо мы немедленно предложим новому германскому революционному правительству взять обратно распоряжение о высылке, предписанное последним кайзерским правительством. Я начал вызывать по Юзу берлинское министерство иностранных дел. Связи шли через Ковно, и генерал Гофман прерывал их. Наконец, министерство ответило.

— Кто у телефона?

— Юзист министерства иностранных дел в Берлине.

— Вызовите к аппарату народного уполномоченного, господина Гаазе.

— Его нет в министерстве.

— Вызовите к телефону его заместителя, министра Сольфа.

— Его нет в министерстве.

— Кто же их замещает?

— Никого нет в министерстве. Все разбежались.

— Тогда пошлите искать Гаазе или Либкнехта.

— Некого послать.

— Я вам приказываю именем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов за вашей ответственностью перед Советом рабочих и солдатских депутатов Берлина.

Молчание. Но связь не прервана. Аппарат стучит. Берлин, Берлин, Берлин, Берлин. Наконец ответ.

— Хорошо. Отправлюсь искать.

На фабриках творилось неописуемое. Такого воодушевления я никогда не видел. Я выступал на Прохоровской мануфактуре. Говорил о том, что германская революция не только величайшая наша победа, но одновременно величайшая обязанность. Мы только летом этого года почувствовали, что такое голод. А они, немецкие рабочие, жили три года осьмушкой хлеба и свеклою. Я говорил о том, что нам придется из скудных наших средств помогать германской революции хлебом. Смотрел внимательнейшим образом на

лица слушателей. Всегда на митингах в тяжелый момент я ищу глазами слабейшего пункта цепи. Выбираю всегда наиболее отсталого рабочего или работницу, говорю исключительно для этого слушателя, которого, если убедишь, то можешь быть уверенным, что ты убедил всех. Но передо мною теперь были лица, полные воодушевления. Я не мог найти ни одного безразличного или усталого. «Будем голодать, но нашим немецким братьям поможем!» Это мое восклицание было единодушно подхвачено массой работниц.

Я вернулся в Комиссариат. Меня известили по телефону из германского посольства, что Берлин нас вызывает. Я поехал на Денежный переулок за Чичериным. Сначала у аппарата явился независимый депутат Оскар Бон. Он информировал меня кратко о положении. Высказал надежду, что Иоффе скоро сможет вернуться в Берлин. Известил, что к Юзу подходит второй председатель правительства народных уполномоченных, уполномоченный по иностранным делам Георг Гаазе. Гаазе передал нам с адвокатской вежливостью привет правительства народных уполномоченных и благодарность его за наше предложение посылки хлеба. Он задержался на момент. Жуткое молчание. Я чувствовал, как стучит мое сердце. Мы стояли с тов. Чичериным, не спуская глаз с ленты Юза. На ней медленно поползли буквы.

— Но, зная, что в России — голод, мы просим обратить хлеб, который вы хотите пожертвовать для германской революции, в пользу голодающих в России... Президент американской республики Вильсон гарантировал Германии получение хлеба и жиров, необходимых для прокормления населения зимой...

Я видел лицо старой текстильщицы с Прохоровской мануфактуры, которая, имея голодных детей дома, охотно жертвовала куском хлеба, чтобы помочь немецким братьям. Протянутая ею рука повисла в воздухе. Вождь германской революции Гаазе получает от вождя американской плутократии Вильсона хлеб и сало. Ему не нужна помощь русской революции. Второй раз, 4 августа, Иуда из Кариота совершил предательство.

Мы запросили, сохраняет ли силу высылка Иоффе. Гаазе ответил, что его правительство радо будет вступить в переговоры с нами о восстановлении дипломатических сношений, но раньше просит позволить оставшимся еще в Москве немецким консулам выехать для доклада в Берлин и пусть тов. Иоффе уедет в Москву, а позже договоримся. Самые худшие ожидания оправдались. Мы заявили, что не намерены задерживать немецких консулов, но что обращаем внимание правительства уполномоченных, что генералитет германских войск, находящихся в Прибалтике, в Белоруссии, в Литве, вооружает буржуазию, чинит насилия над рабочими и крестьянами; это может привести к столкновению с нашими войсками, ибо мы, аннулировав Брестский договор, не считаем этих территорий отошедшими от РСФСР, население этих территорий должно, по-нашему, решать свою участь свободным голосованием, которое невозможно в присутствии вооруженных сил Германии или при наличии оружия в руках буржуазии и отсутствия его у рабочих и крестьян. Мы бы считали необходимыми по этому поводу переговоры с представителями правительства народных уполномоченных. Предлагаем для этой

цели поездку Иоффе или кого-нибудь из нас в Берлин, или приезд немецкого уполномоченного в Москву. Гаазе ответил вяло и коротко, что он передаст наше предложение своему правительству. Мы указали ему, что время не терпит. Всякий день может принести столкновение. Он ответил, что не может сам установить срок ответа. Тогда ответили мы ему: «Мы извещаем вас, что, если в трехдневный срок не получим твердого вашего ответа на выдвинутые нами вопросы, Красная армия будет иметь свободу действий, и ответственность за затруднения в эвакуации ваших войск падет исключительно на вас». «Я постараюсь ускорить ответ», — заявил Гаазе и, бормоча по Юзу какие-то конвенциальные любезности по нашему адресу, перервал разговор.

Положение было выяснено полностью. Еще в эту ночь была отправлена по радио в Берлинский совет длинная телеграмма, характеризующая политику Эберта и Гаазе, как политику сделки союзной буржуазии против русской и германской революции. Мы известили Берлинский совет о желании ВЦИК'а послать свою делегацию на предполагаемый с'езд германских советов. В ту же самую ночь я написал брошюру, предназначенную для распространения среди германских солдат под заглавием: «Trau, Schau, wem?» [1]).

Австрийские и немецкие военнопленные захватили помещения своих посольств. Австрийский посол де-Потере пришел ко мне.

— Что же, очень вас притесняют?

— Нет, — ответил, улыбаясь, — очень милые молодые люди, предоставили мне спальню и кабинет. Во всех прочих комнатах устроились. Но если вы уж так любезны заботиться обо мне, то, может быть, вы бы обратили их внимание, что я ничего не имею против того, что они принимают ночью у себя девушек, но почему непременно нужно ходить с ними через мою спальню? Я еще не так стар, чтобы относиться безразлично к молодым девушкам.

Де-Потере был более живуч, чем австрийская монархия. И я попросил товарища Томана не раздражать его зря.

Немецкие чиновники держались неслыханно трусливо. Только военный атташе, полковник Шуберт приходил ко мне одалживать «Коммунистический Манифест» и «Анти-Дюринга». Читал Ленина «Государство и Революция» и проявлял в разговорах проблески понимания того, что происходит.

За подписью Брутуса Молькенбурга мы получили приглашение на с'езд германских советов. Была составлена делегация из т.т. Иоффе, Раковского, Бухарина, меня и Игнатова. Мы собрались с Ильичем и Свердловым переговорить о линии поведения на с'езде. После разговора Ильич задержал меня. Лицо его было так же озабочено, как на балконе Московского Совета.

— Начинается серьезнейший момент. Германия разбита. Путь для Антанты в Россию очищен. Даже если Германия не будет принимать участия в походе против нас, союзники имеют развязанные руки. Франшетт Деспрэ может двинуться со всей балканской армией союзников через Венгрию и

---

[1]) „Смотри в оба!“

Румынию на Украину. Могут перебросить войска через Дарданеллы. Они в их руках.

— Вряд ли, — отвечал я, — войска, стосковавшиеся по миру, захотят пойти против нас.

— Перебросят цветные войска. Как вы будете агитировать среди них?

— Будем агитировать картинками. Но вряд ли цветные войска выдержат наш климат. Если революция не придет скоро в страны союзников, и они смогут послать свои войска в страну революции, то эти войска здесь разложатся, — ответил я.

— Посмотрим, — был ответ Ильича.

Позже в речи, произнесенной в 1920 г., он вспоминал этот разговор. Он начал меня инструктировать насчет работы, если я останусь в Германии.

— Помните, что вы будете действовать в тылу у врага. Интервенция неминуема, и от положения в Германии будет много зависеть.

— Германская революция — чересчур большие события, чтобы ее рассматривать, как диверсию в тылу у противника, — ответил я настороженно.

— Да, — сказал Ильич, — я не предлагаю вам форсирования событий, они будут развиваться по внутренним законам германской революции.

2. В плену у генерала Фалькенгейна.

Мы простились. На следующий день приехал из Двинска член совета солдатских депутатов стоящего там германского гарнизона. Он рассказал нам, что началась борьба солдат с офицерней, перешедшей внешне на сторону революции. Предлагал от имени левой части совета ехать в Берлин через Двинск. Мы приняли предложение. Делегация собралась с тов. Свердловым, с которым мы улаживали последние технические вопросы. Он вручил нам для потребностей делегации двести тысяч марок. Это была вся сумма, которую мы повезли с собою. На дорогу нас должны были снабдить из кладовой ВЦИК'а провиантом. Когда мы все приехали на вокзал, я увидел, что нагружают в наш поезд две бочки. Спросил, что это такое. Это была бочка с манной кашей и медом. Что-то напутали в хозчасти ВЦИК'а, и мы должны были кормиться по дороге к германской революции манной кашей, как древние евреи, отправлявшиеся из Египта, страны неволи, в землю обетованную. Я выругался. Но Свердлов прикрикнул на меня: — Бери, может пригодиться.

Мы приехали в Двинск.

Нас пригласили на заседание Двинского Совета германских солдатских депутатов. Председательствовал офицер, социал-дем. Гофман. Предоставили Иоффе и мне слово для доклада. Солдаты слушали молчаливо. Только у немногих видны были в глазах проблески сочувствия. Ответили нам уклончиво, что рады нас пропустить в Берлин, но сами не могут решать, должны запросить правительство. Два дня шли их переговоры с Берлином. Наконец, известили, что ночью нас отправят. И, действительно, ночью посадили нас в маленький, старого типа курортный вагон, в котором даже негде было вытянуться. Я прилег на груди у Раковского и заснул сном праведника. Вдруг,

через сон я увидел свет электрической лампочки, направленной на нас. Лицо со стриженными усиками и с моноклем назвало наши фамилии. Это был немецкий офицер, который заявил нам от имени генерала Фалькенгейна, что мы не будем пропущены в Берлин, а доставлены обратно в Россию через Минск. Началась перепалка. Я разгорячился и спросил Бухарина по-русски, дадим ли мы себя арестовать какому-то дурацкому офицеру. Нас шесть вооруженных человек. Вместо Бухарина ответил мне на великолепном русском языке офицер: «Не беспокойтесь»,—и, любезно улыбаясь, открыл двери. На платформе стояло несколько солдат из полевой жандармерии с винтовками. Понятно, что и без этого идиотизмом было думать, что мы можем проехать вопреки воле немцев, держащих в своих руках страну и железные дороги.

Мы приехали на станцию Вилейка. Там попросили нас пересесть в другой вагон. Мы посмотрели через окна и увидели пулеметы, расставленные веером. Мы отказались покинуть вагон без переговоров с Берлином. Офицер исчез. Через несколько минут платформа была наполнена гудящей толпою немецких солдат, которые упрекали нас, что мы едем втягивать Германию в дальнейшую войну. Сыпалась руготня и брань против Либкнехта и Розы Люксембург. Угрозы по нашему адресу. Солдаты вошли в вагон и начали толкаться. Было ясно, что офицер улетучился, дабы в случае чего иметь возможность представить дело как расправу солдат, возмущенных против большевиков. Нечего было канителить. Мы перешли в большой русский вагон дальнего следования, в котором и разложились.

Вагон охранялся солдатами под командой двух офицеров — фамилия одного была Штиглиц — из восточной немецкой разведки. — Мы приехали на станцию Молодечна. И там остановились. Нечего было есть, но оказалось, что бочки с кашей и медом перекочевали с нами в вагон. Игнатов, у которого в производственном стаже, если не ошибаюсь, значится и практика в поварах, состряпал обед. Немецкие солдаты присматривались и облизывались. Кто-то их пригласил есть. Лед тронулся. Началась дискуссия. Бухарин излагал им всю теорию империализма, Штиглиц вмешался в дискуссию. Но автор «Теории стоимости рантье» уложил его в две минуты на лопатки. Побежденный оружием марксизма, офицер разведки сбежал на станцию подкрепляться яичницей. Мы солдат агитировали дальше. Ночью прибежал Штиглиц, прося не беспокоиться, если услышим пулеметный огонь. «Идет какой-то поезд из Минска, — сказал он, — не знаем чей».

— Разве немцы ушли уже из Минска? — спросили мы.

— Нет, — ответил он, — но там что-то происходит. Нельзя добиться толкового ответа.

Скоро пришел поезд. Появились немецкие солдаты, рассказали, что русские военнопленные, которые приехали в Минск, раздетые и разутые, набросились на немецких солдат. Часть разоружили, отняли сапоги, часы. Красная армия вошла в Минск. В городе рабочие демонстрации. Буржуазия эвакуируется и покупает от немецкой офицерни целые железнодорожные составы для своей мебели и другого добра. Немецкий гарнизон отступает

пешком. Им удалось захватить поезд. Ночью мы услышали разговор сопровождающих нас немцев. «Чего хотят большевики? Чтобы мы выдали офицеров и оружие. Зачем нам офицера и оружие? Отдадим. Они нас через Россию отправят домой. А тут можем остаться чорт знает как долго и погибнуть как Наполеон». (Это упоминание Наполеона позже часто я еще слышал. Видно, судьбы наполеоновской армии в России очень занимали фантазию солдат.) Мы встали и предложили солдатам двинуться в Минск, обещая им за это отправку в Германию. Они вышли, чтобы посоветоваться между собой. Прошло полчаса. Вдруг мы почувствовали толчок. Они сбежали на паровозе. Видно совместно со своими офицерами.

Мы остались одни на станции. Снег уже начал падать. Вокруг тишина. Мы отправились на станцию: может быть, железнодорожный телеграф не испорчен. И, действительно, ответила комендатура минского вокзала по-русски. Значит, в наших руках. Мы их известили о нашей судьбе. «Хорошо, скоро за вами приедем». Скоро появился вагон с паровозом, мы поехали в Минск, занятый красными войсками. Начались митинги, заседания только что легализованного губкома. Я связался по Юзу с Свердловым. Предложил, что попытаюсь нелегально пробраться в Германию, попасть на с'езд советов. Свердлов посоветовался с Ильичем, я получил согласие ЦК.

В Минске нашелся Фризланд Ройтер, немецкий военнопленный, независимец, и Феликс Вольф. Феликс Вольф, молодой немец, который перед войной поступил на службу в русский банк. Во время войны был гражданским пленным в России, но вместо того, чтобы сидеть в лагере, он работал на фабрике, вступил еще в 1916 году в нелегальную нашу организацию в Сибири. В 1917 году партизанил, в 1918 мы его отправили на Западный фронт для агитации среди немецких солдат, которую он вел с большим самоотвержением и смелостью. При первых сведениях о германской революции он пробрался в Минск и вел широкую агитацию в гарнизоне, организуя солдатский совет. Феликс Вольф взял на себя организацию переправки.

3. Нелегально в Германию с отступающей германской армией.

Мы двинулись поездом до последнего пункта, занятого нашими войсками, и оттуда на двух нанятых санках поехали дальше. Я, Вольф, Рейтер и один товарищ из немецкой коммуны. Имея бумаги австрийских военнопленных, едем днем и ночью среди отступающих войск. Пропускают нас, не спрашивая, кто мы такие. Навстречу нам двигаются группами босые, или в деревянных сапогах, оборванные, голодные русские военнопленные. Бегут изо всех лагерей. Ветер и снег бьет их по лицам; окостенелые, но они идут. Вырвались из ада. Нет для них усталости. Нет голода. Нет холода. Чтобы только добраться домой. Ночь.

Крестьянин, везущий нас, поворачивается к нам и, не спрашивая, кто мы такие, начинает нам рассказывать. Принимал участие в крестьянском движении в 1905 году. Уехал в Америку. Работал там на фабриках. Скопил гроши, вернулся в 1912 году. Начал хозяйничать. Война его теперь разорила.

Когда займут наши Литву? Пошел тихий разговор. Приехали в Свенцянский уезд. Там, где Эйхгорн прорвал русский фронт. Тут родился Дзержинский и Пилсудский. Один уезд дал Польше представителей двух основных линий ее развития. Видны окопы. Землянки. Из землянок виден огонь. Мы промерзли. Взяли чай, военные консервы, маузеры в руки, вошли в землянку. В берлогах разложена крестьянская семья. В середине висит у потолка люлька с ребенком. Испугались. Дадите кипятку? Дали. Начали присматриваться, как разогреваем консервы и приготовляем чай. Пригласили их. Набросились на консервы. Даже грудному ребенку дали мяса и чаю. Рассказывают. Они беженцы. И тут, где теперь окопы и землянки, стояла их хата. Немцы ушли. Они вернулись. Ждут весны и красных войск.

Под утро мы приехали в маленький городишко. На площади костры. Немецкие солдаты греются. Начинаем с ними разговор по-немецки.

— Почему не пытаетесь разместиться по домам?

— Чтобы нас зарезали?

— Почему же вас должны резать?

— У всякого своя обида. У того курицу отняли, у другого фунт масла. Голодно было. Надо было домой посылать кое-что: жены кормились только свеклой. А теперь, может, придется расплатиться. Погибнем, как Наполеон.

Снова Наполеон. Постучали мы в дом. Открыли. Дали ночлег. Напоили чаем. Мелко-городская беднота. Смотрят приветливо. Понимают, кто мы такие. Утром прощались с крестьянами, которые нас везли. Взяли еврейских лошадей в Вильне. Едем. На всяком изгибе дороги извозчик выбрасывает нас из саней. Лошади устали. Даем ему деньги на овес. Лошадям он купил только горсточку овса, а деньги спрятал. Он, хоть и не лошадь, но тоже кушать хочет. Приехали к обеду в городишко. Пошли в корчму. За прилавком старая еврейка и молодой двадцатилетний сын. Осматривают нас. Сын шушукается с матерью. Не хотим ли мы лучше отдохнуть? Для таких хороших гостей и кровать уступят.

— Почему думаете, что мы хорошие?

— Вы большевики.

Напоили нас, накормили, а после со своими заботами. Дочь портниха. У нее жених. Бундист. Его немцы угнали в Германию в военный лагерь. Показывают фотографию. Беру адрес. Может, смогу помочь. Славят бога. Едем дальше. Стоит пушка без стражи. Немецкие солдаты смотрят на нас с недоверием. Феликс Вольф шутит с ними. Смеются. Под'езжаем к Вильне. Освещенные кабак и гостиница. «Можно ли устроиться?» — спрашиваем портье. «Можно». Помылись. Легли спать. Приходит Феликс Вольф. Спрашиваю, откуда галдеж. Полевая немецкая жандармерия пьет. Подготовляют уход. Феликс Вольф отправляется в город на розыски. Стучат. В комнату входит портье. Расспрашивает, не нужны ли нам барышни. Есть у него дочь настоящего русского генерала. Только для таких хороших господ, как мы. Феликс уже подружился с жандармами. Узнал, где находится «Entlausungsanstalt». Немцы не впускают без свидетельства о том, что человек избавился от вшей. «Но разве и при революции будут искать вшей?» — спрашиваю я

его. «Быть может, — говорит, — и нет». Но на основе свидетельства, что нету вшей, может, удастся получить все прочие бумаги. Действительно, на следующий день за двадцать марок купил для нас всех свидетельства, что у нас нету вшей, пошел к австрийскому офицеру, добыл бумагу, что мы австрийские военнопленные, имеем право проезда через Германию, и власти обязаны нас кормить. Только на следующий день должен отправляться поезд.

Идем в город. Феликс уже узнал, что есть совет виленских рабочих депутатов. Пошел туда. Нашел нашего товарища Карла Цихоцкого. Через час мы уже у старого рабочего, который с восьмидесятых годов в кружках. Чистые две комнатки с кухней. Шкаф с книгами. Осматриваю по привычке. Глубокое волнение охватывает меня. Все те легальные и нелегальные издания, на которых я учился когда-то социализму. Цихоцкий рассказывает, что Фалькенгейн вооружает буржуазию. Передает сведения о Польше. Рассказывает, что видны какие-то приготовления пилсудчиков для захвата Вильны. Дискутируем методы нашего поведения. Вечер. Остался один ночевать у рабочего. Тут безопаснее, чем в гостинице. Он приготовляет чай из моркови, рассказывает про давние времена. Был в кружках у Дзержинского. Знает Козловского. Сидим долго. Передо мной встает весь путь польского социализма. Ложимся спать. Но не спится. Держу в руках брошюру, изданную группой «Борьба классов», о первом процессе «Пролетариата». Читаю речи на суде первых наших мучеников. Когда их присуждали к каторге, Феликсу Яковлевичу Кону было 18 лет. Он считал, что посидит только три года, ибо в 1889 г., в сотую годовщину французской революции, должно что-то случиться. Просидел до 1905 года. 20 лет. А теперь еще с опозданием на лет тринадцать случилось: русская пролетарская революция и вот германская революция.

Утром под командой нашего Феликса отправились на поезд, чуть ли не с австрийским взводом. Скакали по рельсам, чтобы пробраться в вагон раньше, чем откроют, и засели, как бурбоны. Разве не имеем бумаги, что обязаны нас возить и кормить? Скоро вагон заполнился так, что дышать нельзя было. На каждой станции лезли через окна. Идут разговоры.

Сидит парень и держит между коленями мешок с сухарями. Военнопленный немец. Хвалит Россию. Работал у мужиков. Мужик — старый дед, жена молодая. Помогал работничек и в этом огороде — к удовольствию жены и мужа. И прощались с ним, как с сыном, когда собрался в фатерланд. Дали на дорогу мешок сухарей, чтобы не голодал. Хороший русский народ. Всех нас сухарями угощает.

Военный врач из разговора понял, что мы интеллигенты. Начинает расспрашивать. Мы осторожно нащупываем, не хвалим Советской России, но рассказываем, что у богатых большевики все отнимают, а бедным дают. Говорим, что заводят твердый порядок. Армию ухитрились создать с дисциплиной. У одних проблески в глазах, когда говорим о социальной политике Советского правительства; у других — когда говорим про твердый порядок. Твердый порядок. Должен быть,—поддакивают все.—Нельзя немцу без порядка. Офицер начинает шопотом рассказывать нам, что как только солдаты

начали поговаривать про советы, Гинденбург приказал не чинить препятствий, но проталкивать в советы более популярных унтеров, да офицеров, чтобы их взять в руки.

Эйдкунен. Сколько раз проезжал через эту станцию? Сколько раз здесь жандармы обыскивали? С перрона кричат, чтобы гражданская публика выходила на осмотр. Мы не двигаемся. Разве мы не австрийские солдаты? Но никто вообще не двигается, ибо нельзя протиснуться. Приезжаем в Кенигсберг. Через несколько часов, проведенных в полусне, высаживаемся на вокзале в Берлине.

4. В Берлине.

Грязный, запачканный, лихорадочно покупаю «Роте Фане». Еду в гостиницу. Еще в автомобиле смотрю в газету. Охватывает меня страх. Тон в «Роте Фане», как при последнем наступлении. Не смогут больше повышать голоса. Чтобы только обошлось без надрыва! Ищу адреса. Есть. Отправляюсь в редакцию. Открывает мне Фани Езерская. Либкнехт есть. Люксембург тоже. Тальгеймер, Павел Леви. Короткий первый разговор. Либкнехт все жмет меня. Взволнован. Первый с'езд советов разрешил созыв учредительного собрания. Теперь его закрывают. Незачем вам сюда итти! «Сколько было наших?» Совсем не было спартакистской фракции на с'езде советов. Лауфенберг с группой гамбургцев занимал какую-то промежуточную позицию. Роза говорит о нем с большим недоверием. А как дело обстоит в берлинском совете? Мы там тоже не имеем никакой организованной силы. В провинции кое-где лучше. В Бремене под руководством Книфа наши имеют значительную часть совета в своих руках. В Хемнице орудует Брандлер. «А сколько у нас организованных сил в Берлине?» — спрашиваю. «Только что собираем силы. Когда началась революция, то мы собрали в Берлине не больше 50 человек».

Еду с Павлом Леви на Фридрихштрассе в бюро ЦК повидать Тышку. Там как в улье. Выходит мне навстречу Матильда Якоб, старая машинистка, которая переписывала перед войной мою газетную корреспонденцию «Мировая политика». Она во время войны была близким человеком Розы и Тышки. Ведет меня к Тышке. Очень постарел мой старый учитель. На нем лежала во все время войны главная тяжесть нелегальной работы. Провалился после январской забастовки 1917 года. Год просидел в тюрьме. Встречаемся с известным напряжением. С момента раскола в польской социал-демократии в 1912 году не говорили друг с другом. Старого не вспоминаем. Спрашивает про Ленина, Троцкого, Зиновьева, Дзержинского. Через несколько минут уже по-старому сердечен и прост. «Что же, — спрашивает, — хотите ли сидеть у нас только в качестве представителя русского ЦК или по-старому взяться за работу?» Понятно, что хочу взяться за работу. Старик как всегда конспиратор. Не верьте легальности! Теперь бы не посмели вас арестовать, но надо жить нелегально. При первом столкновении арестуют. Охранка ведь, наверно, в тайне сохранилась. Уславливаемся, что вечером он, Роза, Либкнехт, Леви и я встретимся за ужином и поговорим спокойно о делах.

Повел меня Леви в рабочий кабачок. В задней комнатке сидели уже Роза и Либкнехт. Скоро пришел Тышка. Получили мы по большой миске какой-то каши с корицей. Либкнехту насыпала хозяйка в миску больше сладости, чем нам. Смотрела на него с большой любовью. Спор вертелся в первую очередь вокруг террора. Розе было больно, что главою ВЧК является Дзержинский. Ведь террором нас не задавили. Как можно надеяться на террор? «Но при помощи террора, — отвечаю я ей, — при помощи преследований нас на много лет отбрасывали. Ставка наша — на мировую революцию; надо выиграть несколько лет времени. Как же тут отрицать значение террора? Мало того, террор бессилен по отношению к молодому классу, представляющему будущее общественного развития и поэтому полному воодушевления, самоотверженности. Другое дело класс, приговоренный историей к смерти, имеющий за собою преступление мировой войны». Либкнехт горячо поддерживает меня. Роза говорит: «Может, вы правы. Но как это Юзеф может быть таким жестоким?». Тышка смеется и говорит ей: «Если надо будет, и ты сможешь». Свою ошибку в вопросе о советах, как форме диктатуры, Роза давно признала. Признала также, что нельзя было не разделить помещичьей земли. Положение в Германии оценивается так, что мы в самом начале, что социал-демократы еще господствуют над массой, что надо организоваться. Когда я ставлю вопрос об организации особой коммунистической партии, она говорит, что Тышка считал это преждевременным, но его убедили, что нельзя передовикам рабочим драться без собственного знамени. Я ставлю вопрос, не взяли ли они чересчур сильного тона, не соответствующего еще силе партии. «Когда рождается здоровый ребенок, — отвечает Роза, — он кричит, а не пищит».

Идем с Либкнехтом гулять. На Фридрихштрассе и Унтер-ден-Линден большие толпы. Не зевак и фланеров, как в обыкновенное время, а толпы, дискутирующие о политике. На лицах большая радость. Война кончилась, Покупаем у лотка шоколад. Он с сахарином. Какой-то пустой. Не насыщает. Но люди, видно, им очень довольны. Везде повышение заработной платы. Можно себе купить.

Идем через пассаж.

— Эта толпа, — говорю я Либкнехту, — совсем не чувствует, что над ней повис меч Антанты.

— Да, — отвечает Либкнехт, — против Антанты можно говорить только пропагандистски. Кто бы попытался говорить о защите революции против Антанты, толпа бы его с'ела.

Мы ходим около Бранденбургских ворот. Кучерский кабачок. Пьют кучера и шофферы. Мы уже забыли, что ели кашу; заказываем свиную ногу с капустой и горохом, излюбленное блюдо берлинских извозчиков. Оно сохранилось еще, несмотря на карточную систему, в извозчичьих кабаках. Хозяева не имеют прислуги, публика у них знакомая и поэтому покупают всякую всячину из-под полы. Завязывается разговор с кучерами. «Вильсон хороший парень. Он заставил бежать эту сволочь кайзера. Снабжает теперь Германию хлебом. Он даст хороший мир».

Еду с Павлом Леви на собрание металлистов. Далеко на конце Шоссештрассе. Едем через Тиргартен. Идут громадные демонстрации. Демонстрируют против правительства. Удивленный, спрашиваю Леви, разве это наши емонстрации? «Нет, это демонстрации независимых».—«Но как же это, ведь езависимцы в правительстве?» — «Да, но берлинская организация в руках евых независимцев. Они имеют организацию так называемых революционных уполномоченных, которые принимали участие в подготовке переворота. Эни против блока с Шейдеманом и Эбертом». Мне припоминаются сомнения ышки: не лучше ли подождать с отколом от независимой социал-демокраии, пока эти массы не станут перед вопросом о расколе.

Приехали на большой рабочий митинг. Леви куда-то ушел, а меня абочие коммунисты заставляют выступать. Я им говорю не только о велиих победах русского пролетариата, но и об его страданиях, о гражданской ойне и голоде, как о пути к победе. Вдруг слышу выкрик: «А сколько тебе платили, чтобы ты клеветал на Советскую Россию?». Это какой-то рабочий, ришедший на собрание после начала моей речи, таким образом понял ту асть моего выступления, где я говорил о тяжестях борьбы. Что такое революция, они себе реально не представляют.

Идет подготовка партийного с'езда. Роза написала набросок программы артии. Он дискутируется в руководящих кругах и не вызывает никаких поров. Споры вызывает только отношение к учредилке. Либкнехт говорит, то когда он утром просыпается, то он против участия в выборах учредилки, ечером же за участие. Очень соблазнительная идея противопоставить озунгу учредилки лозунг советов. Но ведь то с'езд советов сам за учредилку. ту ступень вряд ли удастся перескочить. Это признают Роза, Либкнехт, а этом настаивает Тышка. Но партийная молодежь решительно против. Разгоним пулеметами».

Вызываю телеграфно из Бремена моего приятеля Иоганна нифа, руководителя бременской организации. Бременцы—наиболе близкие большевикам. Иоганн против об'единения со спартакистами. Выдвигает все порные вопросы вплоть до теории аккумуляции Розы Люксембург. Рисует ерспективу: после блока Эберта и Гаазе придет блок Ледебур—Либкнехт—юксембург. И только после них за нами будет очередь. Требует основания ольшевистской партии независимо от Розы Люксембург, говорит об опасности иктатуры Тышки, который, выросши в конспиративных условиях, задушит артию в тисках централизма. Германская революция может победить только ак очень широкое массовое движение. Партия не должна быть так централизована, как хочет Тышка. Я указываю ему, что эти его взгляды не имеют ичего общего с большевизмом. Профсоюзы и советы — форма организации амых широких масс. Партия — организация передовиков — должна быть грого централизованной. Он упорствует с ганзеатским упорством. Я ему угроаю, что выступлю против него самым решительным образом. Это заставляет го сдаться. Он не будет противодействовать об'единению бременцев, гамургцев и ганноверанцев, где наше влияние наиболее сильно, с спартакистами. о я его не убедил. Он на с'езд не приехал, держась выжидательно.

Первый с'езд компартии Германии. В зале прусского сейма. Около ста делегатов. Много знакомых. Пик, Эрнстмайер, Дункер и другие, но преобладает молодежь, которую перед войной не знал. Среди нее двое русских: Левинэ с серьезным задумчивым лицом, бывший эсер, воспитанный в Германии, и в военной форме молодой шустрый Макс Левин, сын бывшего генерального германского консула в Москве, кончивший в Москве гимназию и считающийся русским. С'ездовской молодежи море по колено. Она считает, что Карл и Роза тормозят, что победа очень близка. Наиболее выделяется бывший депутат Рюле. Я получаю слово для приветствия от русского ЦК. Большая сенсация среди представителей буржуазной прессы. Они бросаются к дверям, чтобы телефонировать в редакции. Но опытный Пик уже распорядился двери закрыть и не выпускает никого. С'езд слушает с большим напряжением. Единство с русской коммунистической партией и русской революцией — это сердцевина настроений с'езда. С'езд демонстрирует очень ярко молодость, неопытность партии. Связь с массами очень слаба. К переговорам с левыми независимцами с'езд относится иронически. Я не чувствовал, что здесь уже передо мною партия.

Новый год провожу вечер и ночь с Либкнехтом. Он весел, как ребенок, несмотря на усталость. «Ничего, справимся. Социал-демократы сильнее нас, но они старики. За нами будет молодежь. Подвижная, страстная. Уже независимцы принуждены уходить из правительства. Это толкнет их в оппозицию. Дела пойдут скорее».

5. Разгром и убийство Розы и Карла.

4 января прусское правительство устраняет с поста президента полиции левого независимца Эйхгорна. Он вооружал берлинских рабочих, независимцев и коммунистов. Эберт знает, что это устранение рабочие не примут спокойно. Он ищет столкновения, чтобы разоружить рабочих. Теперь это установлено судебными показаниями генерала Гренера перед судом. Но мы об этом и тогда догадывались. И на следующий день после устранения Эйхгорна прибежал ко мне Филипп Прайс, корреспондент «Дейли Геральд», который в России в 1918 году стал коммунистом, и рассказал мне, что назначенный на место Эйхгорна Эрнст, запрошенный о перспективах конфликта, сказал, если эйхгорновцы не сдадут оружия, он разоружит их. Было заседание ЦК, на котором решили провозгласить всеобщую забастовку и призвать рабочих на улицу. Я спросил Розу Люксембург, какие задачи мы себе ставим. Роза ответила мне, что забастовка есть забастовка протеста. Посмотрим, на что решится Эберт, как откликнутся на события в Берлине рабочие из провинции, и тогда дальше видно будет. Либкнехт же в частном разговоре сказал мне: «если невозможно еще наше правительство, то возможно правительство Ледебура, опирающегося на «революционных уполномоченных».

Участие масс в демонстрациях приняло такие размеры, что в эти дни было совершенно возможно захватить власть в Берлине. Правительство за-

щищалось на Вильгельмштрассе невооруженной толпой рабочих социал-демократов. Никаких военных сил около здания правительства не было, и мы знаем теперь ведь из судебных показаний Гренера, что Эберт был готов бежать из Берлина, дабы вернуться туда с войсками. Но никто массе на улицах не указывал боевых целей. Роза считала, что взятие власти в Берлине, если не восстанет провинция, есть бессмыслица. Массы захватывали здания, не имеющие никакого стратегического значения, как, например, здание «Форвертса». В Берлине существовала группа русских коммунистов, военнопленных. Я организовал из них разведку. Послал их на несколько узловых пунктов железной дороги около Берлина и в его окрестности. От них я получил сведения, что около Далема помещается какой-то военный штаб, что туда ездят и оттуда возвращаются самокатчики и автомобили. В среду утром я получил сведения, что там находится Носке. Было ясно, что правительство организует военную силу против Берлина. По требованию ЦК, я не покидал своей квартиры, ибо Либкнехт утверждал, что мой арест сможет очень затруднить положение. Скажут, что движение инсценировано русскими. Через члена ЦК Думкера я послал письмо в ЦК, извещающее о военных подготовлениях Носке, указывал, что если мы не намерены брать власти, то незачем итти на вооруженное столкновение, которое кончится разоружением неорганизованных рабочих. Я предлагал кончить забастовку протеста и выдвинуть лозунг перевыборов советов, которые сдают власть буржуазии. Ответ Розы принес мне Павел Леви. Роза считает, что независимцы добьются соглашения с правительством и незачем нам брать на себя роль бьющих отбой. С Либкнехтом связь порвалась. И у меня, и у ЦК. Он окунулся в движение и сидел где-то на пивоваренном заводе Бецоу с представителями независимых рабочих. В четверг ночью пришел ко мне Леви. Мы считали, что ввиду полной дезорганизации Центрального Комитета надо взять инициативу в руки. В пятницу утром должен был состояться большой рабочий митинг в Фридрихсгейме. Мы решили туда отправиться и повести демонстрацию к зданиям, занятым рабочими — в первую очередь «Форвертс», — и снять их, дабы избежать безнадежного вооруженного столкновения с правительственными войсками.

Были получены сведения, что часть войск уже в городе; мы решили переодеться в солдатскую форму. Мне принесли товарищи из Риксдорфа настолько фантастически потрепанный солдатский костюм, что когда я с Леви на следующий день вышел на улицу, то на нас было обращено всеобщее внимание. Надо было вернуться домой. Пока я сумел принять христианский вид, мы получили уже сведения, что здание «Форвертса» окружено и штурмуется войсками. Маленькие вспышки, которые были в Киле и Бремене, уже были подавлены. Роза сидела спокойнейшим образом в редакции «Роте Фане» и Леви стоило величайших усилий уговорить ее уйти из помещения, на которое в первую очередь надо было ожидать нападения. Начались беготня, искание конспиративной квартиры для Розы и Карла. Карл настаивал на том, чтобы во вторник созвать публичное собрание, на котором будут выступать он и Роза. Но вдруг получается «Форвертс», в котором напечатано

факсимиле документа за подписью Либкнехта и Ледебура, извещающее о ниспровержении правительства Эберта и образовании правительства Либкнехта и Ледебура. Этот документ был подписан 6-го в среду, без ведома ЦК.

После смерти Розы и Карла Леви рассказывал мне о впечатлении, которое этот документ произвел на Розу. Она сидела с Либкнехтом на конспиративной квартире, когда принесли газету, уже после разгрома движения. Когда увидала злосчастное факсимиле, спросила Либкнехта, что сие означает. Он, смущенный, ответил ей, что хотел занять здание военного министерства, и когда от наших людей затребовали бумаги о низвержении старого правительства, то он продиктовал этот документ и подписал. Это была военная хитрость. Роза весь вечер ничего не говорила. Ясно, что Либкнехт увлекся идеей создания переходного правительства левых независимцев и предпринял этот шаг без ведома ЦК.

В городе шла стрельба. Везде разоружали рабочих. 16-го утром мы узнали, что ночью были арестованы Либкнехт и Роза. Созвали заседание ЦК на 6 часов вечера, дав ряду товарищей задачи немедленного выяснения обстоятельств ареста и места пребывания арестованных. Отправляясь на заседание, я купил газету и узнал из нее, что их уже нет в живых.

В приемной у врача-коммуниста сидели Тальгеймер, Эберлейн, Леви, если не ошибаюсь Пик, молча. В другой комнате я писал воззвание о совершившемся факте. Берлинские рабочие были так разгромлены, что нельзя было думать о немедленной забастовке. Весь город находился в руках озверевшей солдатчины, состоящей из бывших офицеров и унтер-офицеров, и вооруженного до зубов студенчества, которое призвал под ружье бывший наш совместный товарищ и друг Конрад Хениш, прусский министр просвещения. Надо было в первую очередь собрать партийное ядро, восстановить связи и выяснить, как наши были убиты. Это последнее взял в руки Леви. Эберлейн организовал заново связь с провинцией. Мы начали разыскивать по тюрьмам Тышку. Но скоро он сам явился, сбежав из-под ареста. Старик пришел ко мне на квартиру, постаревший на десять лет. Он начал говорить, очень взволнованный, о старых наших спорах, говорил о том, что Розы нет, что надо подобрать всю старую группу. Беспокоился, когда вернется Мархлевский. Мы условились встретиться на следующий день в маленькой голландской чайной на Ноллендорфплац. Когда встретились, он начал уговаривать меня уехать на время в Бремен или Мюнхен, указывая на то, что социал-демократы взяли курс на истребление и что надо переждать. Я спросил его, намерен ли он сам уезжать. Он, улыбаясь, ответил, что это не аргумент, ибо должен остаться кто-то, который напишет о нем некролог. Я отказался ехать, ибо ясно было, что надо было собрать группу для издания центрального органа партии. Когда мы выходили из чайной, вдруг Тышка схватил меня за руку и повел к столбу с плакатами. Я прочел плакат, назначающий награду тому, кто укажет место моего пребывания. Тышка потребовал, чтобы я днем не покидал квартиры, если я уже отказываюсь ехать.

6. Арест.

Я остался, и моя квартира была одной из редакционных квартир. Нанимал я две комнаты у вдовы военного врача. Бумаги прислал мне Книф за подписью Хлопкового Комитета в Бремене. Надо было выдумать гипотезу, об'ясняющую, во-первых, почему я днем совсем не выхожу из квартиры, во-вторых, почему очень много диктую, а в-третьих, почему у меня находятся русские книги. Я разыгрывал полу-немца, полу-поляка из Позенского, который был-де гражданским пленным в России и который теперь пишет мемуары. Хозяйка была очень доверчива и обращалась ко мне с просьбой подписать протест против травли Вильгельма II Антантой. Врач-коммунист, навестивший меня, приказал мне в ее присутствии очень мало выходить из дома, обратился к ней с вопросами: не может ли она варить для меня обед, предписал мне диэту. Я мог свободно весь день работать и откачивать до тысячи строчек статей, воззваний и брошюрок. Сидел бы я у нее, как у бога за печкой, если бы не болтовня непривыкших к конспирации товарищей-машинисток. 12 февраля я кончил диктовку одной, пообедал, взялся за дальнейшую работу. С криком: «руки вверх» ворвались полицейские агенты в комнату, держа в руках ручные гранаты. Я предложил им спрятать их, указывая на то обстоятельство, что бросание гранаты в комнате может и для них иметь не совсем удобные последствия. Они послушались голоса разума и спросили меня, не являюсь ли я господином Радеком. Отрицать это не имело смысла, ибо это доказывало наличие манускриптов и прочих бумаг. Поэтому после тщательного обыска, при котором беспокойство агентов в первую очередь вызвал флакон со средством против боли зубов—в газетах сообщали позже, что у меня при аресте найдена была целая аптека ядов — меня совместно с двумя машинистками перевезли в полицейское управление Берлина. Там был составлен только формальный протокол, после которого, в сопровождении пяти агентов, я отправился в тюрьму при моабитском суде. Агенты справлялись у меня по дороге — получат ли они награду за то, что меня нашли. Я, чтобы узнать, откуда они узнали о моем месте жительства, сказал, что это зависит от того, нашли ли они меня при помощи наружного наблюдения, или же им было донесено, где я живу. Они рассказали мне чистосердечно, что в нашем союзе молодежи говорили, что тов. Лина Беккер работает у меня. Тогда они установили наблюдение за Линой Беккер и пришли по ее следам на квартиру. Среди этих приятных разговоров, мы приехали в Моабит.

Это большое угрюмое здание было переполнено солдатней. Там расположился со своим штабом начальник охраны города полковник Рейнгардт. Меня ввели в коридор и доложили о милом госте. Началась суета. Вдруг подошел ко мне молодой офицер и предложил мне любезно сложить руки на спине. Я еще не догадался, зачем ему нужна такая поза, когда почувствовал на руках стальные наручники. Солдатня расступилась, и подошел к нам громадный детина и предложил повести «этого зверя» в канцелярию, чтобы к нему присмотреться.

Меня повели в канцелярию. Это была большая комната с двумя дверями. Одна выходила в коридор, а другая—в соседнюю комнату, имеющую тоже прямое сообщение с коридором. В комнату за мной втиснулась целая куча офицеров, унтеров и солдат. Полковник Рейнгардт обрушился площадной бранью и угрозами. Я молчал. Вдруг увидел, что по его указанию несколько человек вышло в коридор, и услышал, что входят в соседнюю комнату, двери из которой в канцелярию Рейнгардта были приоткрыты. Оглянувшись я увидел, что они задержались за мною у дверей. Мне стало ясным, что Рейнгардт приказал им схватить меня с тылу и бросить о землю. Я инстинктивно сделал три шага в угол и начал его ругать такими же самыми бранными словами. Он на момент онемел, как зверь, готовящийся к прыжку и получивший вдруг удар между глаз. С той скоростью и ясностью, с которой мысль в такие моменты работает, я понял, что единственный шанс спастись, это посеять в нем сомнение, напугать его. Я продолжал кричать на него, что великолепно понимаю, что он затевает, но чтобы он знал, что эта его солдатская сволочь выдаст его с головою позже. Он стоял, опустив голову, как бык; я чувствовал, что следующая минута решает, бросится ли он сам на меня или нет. Заметив среди людей полицейского комиссара и агентов, которые меня привели, я обратился к ним: «Или полковник Рейнгардт имеет право принять арестованного, тогда вам нечего здесь торчать, берите квитанцию и убирайтесь к чорту, или он не имеет права меня принимать, тогда ведите меня в тюрьму. Иначе вы отвечаете за то, что здесь может случиться». Полицейский комиссар обратился к Рейнгардту, требуя квитанции в приеме арестованного. Рейнгардт заметался, крича: «я вам не тюремщик!». Вызвали начальника тюрьмы. Он заявил, что тюрьма переполнена, и он арестованного принять не может. Тогда полицейские затребовали охрану, автомобиль, чтобы отправиться со мною на Лертерштрассе в другую тюрьму. Рейнгардт, ругая их площадной бранью, отдавал распоряжение и писал какое-то письмо. Мы вышли в коридор. Вдруг я увидел у колонн коридора с двух сторон скопившихся солдат. Они стояли, небрежно прислонившись к стене. Они, видно, рассчитали, что я в темном коридоре упаду через их ноги, и что тогда в суматохе набросятся на меня. Я обратил внимание на это полицейского комиссара. Он скомандовал: «каре!», взял меня в середину, растолкал солдат и вышел на улицу. Перед судом трамвайная остановка, у которой стояла толпа народу, ибо это было вечером, когда мелкий чиновный люд и рабочие отправляются домой. Выбежал офицер и пытался натравить на нас толпу, крича, что ведут меня, большевика, организатора спартаковского восстания. Но толпа не реагировала. Солдаты бросили меня на грузовик, уставили пулеметы, агенты влезли за мною, мы двинулись на Лертерштрассе.

Вестибюль тюрьмы был ясно освещен. В нем шлялись солдаты, матросы. Вышел молодой офицер, если не ошибаюсь по фамилии Шарфенштейн, агенты отрапортовали, передали ему письмо полковника Рейнгардта. Он прочел письмо и был очень удивлен. Вызвав старого гнусавого помощника начальника тюрьмы, он дал ему какие-то распоряжения. Я стоял несколько минут среди солдат, осматривавших меня больше с интересом, чем со враждою. Меня

повели по длинным коридорам вниз, в подвал, открыли камеру, разделенную железными решетками на три части. В середине в клетке находилась койка. Меня раздели до нага, подробно обыскали, приказали одеться и вместо старых наручников принесли железную плиту в 20 сантиметров ширины, семидесяти сантиметров длины, приказали в отверстия положить руки и после приковали их к ней. Плиту же цепью приковали к стене. Перед выходом Шарфенштейн еще раз ощупал мои карманы и вынул из них маленький сафьяновый томик, открыл его и увидел первую часть «Фауста» в издании Инзельферлага. На лице его видно было большое смущение. В продолжение нескольких минут он вертел бессмертное сочинение Гете, как бы ища любимых мест. После вернул мне книгу и, козыряя, сказал: «Извините меня, я действую по прямому приказу полковника Рейнгардта. Ложитесь спать, вы наверно устали. Можете быть спокойны, я поставлю верную стражу. С вами ничего не случится». Это был молодой студентик, из университета попавший в офицера ополчения. Видно, любитель классической литературы. Большевиков представлял себе как бандитов. Если бы нашел в моем кармане бомбу, он бы не удивился, но «Фауст» смешал все его представления и чувства. Выходя, он вернулся еще раз и протянул мне фуфайку под кандалы, чтобы не врезывались в тело. Я лег спать.

За дверями слышал разговор солдат, что из винтовки не удастся, но что из револьвера можно через отверстие в двери стрелять, что надо собаку прикончить. Стоящий на страже солдат сердитым голосом начал говорящих разгонять, крича, что им нечего здесь искать, что он отвечает головою перед поручиком за арестованного.

Я проспал ночь великолепно, безо всяких снов. Утром меня разбудили. Тюремный надзиратель снял с меня кандалы, повел меня мыться. По дороге, ругаясь, рассказал, что он в тюрьме с 90 года и никогда не видел, чтобы таким образом заковывали людей. Камера, в которую меня посадили, представляла собою карцер для буйствующих убийц.

Перед обедом пришел судебный следователь, фон-Цитен, принесли стол, пишущую машинку, за которую сел протоколист. Раньше чем он начал допрос, я спросил его, нахожусь ли я в руках военной или следственной власти. Он ответил, что нахожусь в руках его, следователя. Тогда я спросил его, на основе каких параграфов «следственного устава я закован». Нет никаких причин для заковывания вас, сказал он, и приказал вызвать начальника военного караула поручика Шарфенштейна. В тот момент вошел в камеру присяжный поверенный Вайнберг, независимец, с которым я условился, чтобы на случай ареста он взял дело в руки. За ним явился Шарфенштейн и заявил, что полковник Рейнгардт запретил ему снимать с меня кандалы и пускать ко мне кого-нибудь другого кроме следователя. Он попросил моего защитника удалиться из камеры. Тогда я заявил фон-Цитену: «Если он здесь не хозяин положения, то мне незачем давать ему об'яснения». Цитен обязался немедленно обратиться в министерство юстиции. Уходя, спросил меня, не может ли он чем-нибудь мне помочь. Я попросил его взять из денег, конфискованных при мне, и купить мне Шекспира.

На следующий день утром тюремный надзиратель принес мне Шекспира. Несколько часов позже с меня сняли кандалы. Я с большим удовольствием взялся за чтение, когда ко мне явился полковник Рейнгардт. Учтиво поздоровавшись, он заявил, что если бы не «эти проклятые жиды Шейдеман и Эберт», которые боятся большевиков, то он бы меня расстрелял, но что ему приказали меня не трогать и даже снять кандалы. Я встал на защиту арийского происхождения Эберта и Шейдемана и спросил его, почему он так горит желанием меня расстрелять. Он добродушно ответил, что считает меня шпионом. «Полноте, что же я у вас мог шпионить, — спросил я его, — ведь у вас-то армии никакой нету?» Он обругал жидов, которые, боясь Антанты, распустили армию и позволяют закабалить страну. Я спросил его, считает ли он умным, чтобы обезоруженная Германия создавала себе еще врага в лице Советской России. Он немножко помялся и сказал, что то же самое спрашивал его поручик Рюстов. Я не знал никакого Рюстова, и только позже, когда после окончания следствия я, завязав сношения с внешним миром, начал спрашивать, кто такой Рюстов, меня навестил молодой приват-доцент берлинского университета Рюстов и об'яснил мне, что он служил на войне под начальством полковника Рейнгардта. Рейнгардт, по его мнению, солдафон, не разбирающийся в политике, забияка, но очень честный человек. Когда Рюстов после моего ареста прочел в «Фрайхейт», органе независимцев, протест моего адвоката по поводу заковывания меня, он отправился к Рейнгардту и спросил его, почему он допускает такую клевету на себя без протеста. Рюстов, симпатизирующий независимым, начал ему об'яснять, что, во-первых, недостойно глумиться над беззащитными арестованными, а, во-вторых, нелепо безоружной Германии создавать конфликты с Советской Россией. Этот разговор был причиной визита Рейнгардта. После его ухода, меня повели из подвала наверх в чистую камеру, где я нашел уже свои вещи и кроме того прекрасный окорок. Я догадался, что Леви вернулся от своих родителей, живущих в маленьком городишке Вюртемберга, и привез с собою блага сельской жизни, часть которых уступил мне.

Скоро пришел фон-Цитен, и началось следствие.

7. Следствие.

Следователь фон-Цитен представлял собою тип образованного юриста, не только корректного, но и порядочного. Видно, что революция не сумела его еще озверить, а только потрясла. В нем было большое любопытство насчет мировоззрения большевизма. Обвинение, пред'явленное мне, касалось организации спартаковского восстания, которого, как известно, совсем не было. Я предложил ему доказать обвинение, раз он его пред'являет. Но понятно, что никаких доказательств недоказуемого нельзя было пред'явить, и поэтому щепетильный фон-Цитен был в большом смущении. В наших партийных кругах разговаривали о моем письме в ЦК, требующем окончания демонстрации. Сведения об этом письме пошли дальше к независимцам, а через них к социал-демократам. Хениш ли или Хайлман передали это сведе-

ние Цитену. Он уцепился за этот выход из положения и начал допрашивать меня, существует ли такое письмо, не могу ли я его представить. Копия этого письма была в моих руках, но, само собой понятно, я не мог защищаться таким образом, что я, мол, предостерегал, а меня не слушали. Поэтому я заявил, что не моя обязанность доказывать свою «невиновность», а судебные власти обязаны доказать мою вину.

Прокуратура приказала раскинуть сеть следствия пошире. Начали искать следов моей деятельности и в Галле и в Гамбурге. Тащили свидетелей, с которыми выходили презабавнейшие вещи. Один свидетель, который заявил, что он меня видел во главе толпы, атакующей александровские казармы, утверждал, что видел-то он меня очень хорошо, но что я был тогда значительно выше и толще и кроме того носил на шее шарфик, но так как я теперь без шарфика и поменьше ростом, то он сего приключения об'яснить не может. Но самое лучшее вышло с гамбургскими свидетелями. Это были три чиновника профсоюзов, которые на очной ставке со мною с полной решительностью заявляли, что меня видели в продолжение целой недели ежедневно приходящим в кабинет доктора Лауфенберга, председателя гамбургского совета, в гамбургскую ратушу. На вопрос следователя, когда это было, они об'яснили, что это было в неделю берлинского восстания. Я спокойно признался в том, что всю неделю провел в Гамбурге, хотя в Гамбурге не был. Цитен спохватился. Меня обвиняли в организации восстания в Берлине, и вдруг свидетели обвинения доказывают, что я был в другом месте. Ясно было, что из следствия ничего не выходит, и мы вели часами дискуссии о коммунизме, что было особо полезным для тощего протоколиста.

За все время следствия я держался в строжайшей изоляции. Помещен был в коридоре уголовных, в котором сидел тоже Ледебур и старый спартакист Майер. Это должно было предохранять нас от связи с политическими заключенными. У дверей стоял особый солдат из бригады Кесселя, отборной организации убийц. Уже в первые дни мне было разрешено выписывать газеты и получать книги. Сначала я выписывал две-три газеты, но позже, познакомившись ближе с Цитеном, получил разрешение на любое количество. Я выписал себе всю руководящую мировую прессу, экономические органы и завел картотеку, разрабатывал все интересующие меня вопросы. Книг скоро собралась целая библиотека, так что мне отвели для них другую камеру. Занимался в первую очередь историей диктатуры в буржуазных революциях. Но в уют камеры хлестала от времени до времени бурная волна революции.

Во время мартовского восстания я ночью проснулся от пулеметного огня. Ракеты осветили внезапно камеру. С криком и визгом высыпали роты солдат из тюрьмы на улицу. Я оделся и прислушивался к пальбе. «Наши штурмуют тюрьму, — пронеслось в мозгу. — Или через полчаса будем свободны, или в случае отражения атаки солдаты нас прикончат». Я написал несколько слов к товарищам и, заадресовав письмо Гаазе, спрятал его в задний карман, надеясь, что в случае чего прощальное письмо может попасть по адресу. Но через полчасика все утихло. На мой вопрос, что случилось, солдат ответил

молчанием. На следующий день я узнал от тюремной стражи, что это майор Кюльвайн устраивал проверку своих солдат на случай нападения.

Беспрерывно приводили в тюрьму арестованных. Солдаты били их в вестибюле до полусмерти. Крики истязуемых доходили к нам беспрерывно, ибо от вестиблюля мы отделялись только тонкой перегородкой из досок. У этой перегородки скоплялась распоясанная солдатня и, называя Ледебура, Майера и меня, угрожала нам расправой. Снесшись с Ледебуром и Майером, я послал телеграмму министру юстиции о царивших в тюрьме порядках. Он приказал усилить караулы. После подавления движения снова воцарилась тишина. Через окно я мог видеть забинтованных рабочих.

Меня водили на прогулку одного с солдатом и стражником. Водили меня на задний двор, куда не пускали арестованных. Один раз в коридоре встретил старика Ледебура, возвращающегося с прогулки. Он бросился ко мне здороваться. Солдаты хотели нас отделить. Но горячий старик заорал на них так, что они отступили, и мы могли несколько минут разговаривать. Напротив двора, где я совершал свои прогулки, находилась казарма, из которой солдаты к нам присматривались. Во время одной из прогулок я услышал выстрелы, но, привыкнув к постоянной стрельбе, не обратил на них внимания. Вдруг пули ударили в кучу камней в середине двора в двух шагах от меня, и провожающий меня солдат закричал: «Становитесь у стены!» и сам прыжком бросился к ней. Стреляли по нас. Мы прервали прогулку, сбежалось начальство, началось следствие, но виновных не нашли. Другой раз — я об этом узнал только из газет — явился в тюрьму поручик Симонс, только что прославившийся тем, что захватил в городском музее французские знамена и сжег их и пред'явил бумагу от военных властей с требованием передать меня ему. Директор тюрьмы переспросил по телефону военные власти. Бумага оказалась поддельной, но что случилось с Симонсом, я из газет не узнал.

Тюремная стража относилась ко мне вполне по-товарищески. Она сама была затронута революционными настроениями. Когда из тюрьмы бежало десять товарищей с коммунистом Будиком во главе, я в разговоре с тюремным надзирателем высказал деликатное предположение, что тут дело неладно. Он ответил мне, смеясь:

— Видите ли, если бы во время моей службы я заметил, что кто-то бежит через забор, то я бы сам не обратил внимания и заставил бы собаку молчать, ибо у вашего брата хороший браунинг, а у меня старое ружье; если он меня ранит, или даже убьет, то я не уверен, получит ли моя жена пособие. Теперь неизвестно, кто правительство и как долго будет правительством. Мы нейтральны. Если приведут Эберта, то я его так же хорошо приму, как и вас. Только солдаты свирепствуют.

Но и они привыкали к нам. Солдат из бригады Кесселя, который меня стерег, предложил мне перед пасхой дать ему деньги, чтобы его жена спекла для меня хороший кулич. «Она печет великолепно», — хвастался он. Я ему дал несколько марок, и, действительно, на пасху он принес мне кулич. Я из осторожности угостил его сначала куличем. Только после ел сам. Искусство его жены было выше похвалы. Разговорились. Он безработный, металлист.

На войне отвык работать. Дал себя завербовать. Служит, но смотрит в оба. Таких наверно много было в контр-революционных бандах. Это позволяло надеяться, что в случае серьезной борьбы они не очень будут драться.

Среди тюремной стражи только один безрукий надзиратель обращал на себя мое внимание угрюмостью и безмолвием. Его товарищи называли его сволочью и монархистом. Он корректно здоровался, но никогда не разговаривал. Во время ночной службы он часто присматривался через отверстие и видно было, что мой образ жизни, моя ночная работа вызывали в нем какие-то сомнения. Он делался приветливее, хотя молчать и продолжал. Я со времен революции 1905 года имел выработанный метод отношений к тюремщикам, к солдатам и к рядовым жандармам: не держаться по-барски, чтобы не восстанавливать против себя их демократических чувств, но и не навязываться с разговорами, чтобы не вызывать впечатления, что я заискиваю. Так я и держался по отношению к интригующему меня молчаливому надзирателю. Пришел день, когда и он заговорил.

Утром в газетах я прочел условия, поставленные немцам в Версале. На прогулке провожал меня мой стражник. Он вдруг взволнованно заговорил:

— Если нам навяжут эти требования, то значит, что бога нет, — сказал он с дикой ненавистью.

— Если он молчал, когда вы хозяйничали в Бельгии, то почему он вдруг теперь должен заговорить? — ответил я ему.

Началась бешеная перепалка. На меня хлынули все аргументы, которыми германский империализм доказывал народным массам Германии справедливость своей войны. Я вцепился в беднягу, в голове которого осталось все, чем германская буржуазия и германская социал-демократия защищали войну. Понятно, я его в полчаса не убедил, но он начал брать от меня книги и читать их ночами. Мы дискутировали во время прогулок. Мы дискутировали ночью, когда он стоял на карауле. Кирпич за кирпичем выпадал из здания его мировоззрения. Передо мною стоял крестьянин, который после нескольких лет службы в армии попал перед войной в тюремные надзиратели. Служба была тяжела. Жил очень бедно, но его старость была обеспечена. Пришла война. Демобилизован. На фронте беда, лишения, тяжело ранен. Но он все сражался за это маленькое пособие, которое маленький чиновник должен получать на старости лет. Если Германия победит, он не помрет от голода на улице. Германия была побеждена. Как же иначе можно выбраться из беды, как не через новый труд. А тут рабочие бастуют, везде беспорядки. Это ни к чему хорошему не приведет. А кто они — эти революционеры? Он тут в тюрьме видит. Кто из тюремщиков раньше был самый большой подхалим, теперь самый большой горлан. Брешь за брешью пробивал я в этой мелкобуржуазной стене. А парень был очень хороший. Он сражался с упорством, уступая только аргументам фактическим, находящим отзвук в его опыте, но я редко в жизни был так горд завоеванием человека, как тогда. Мне удалось его обломать.

Следствие тянулось без конца, и следователь заявлял мне, что ему запрещают окончить работу, ибо не знают, что со мной делать. От времени

до времени я получал доказательства, что независимо от следствия идет другая борьба за мое освобождение. Один раз утром я был потрясен удивительной картиной. Двери камеры открылись, вошел старший надзиратель, держа в руках с достоинством большую фаянсовую посуду. За ним вошел чистильщик из уголовных и убрал парашу. На ее место была водворена оная посуда, которая оказалась ночным горшком. Удивленный, спросил я надзирателя, что означает эта перемена мебели. Он ответил мне, что причин сего явления не знает, но что начальник тюрьмы приказал ему принести ко мне этот привилегированный сосуд. Я немедленно пришел к убеждению, что тут дело связано со странным отражением каких-то изменений в мировой политике. Действительно, из лондонского «Таймса» я узнал, что советское правительство Украины назначило меня полпредом в Берлине, затребовало моего освобождения и водворения в здании полпредства на Кронпринценуфер. Так как разрыв дипломатических отношений произошел между советским правительством России, а не Украины, то дорогой мой друг Христиан Георгиевич Раковский решил попробовать вытянуть меня из тюрьмы назначением на дипломатический пост. Немецкое министерство иностранных дел, возглавляемое социал-демократом Августом Мюллером, не согласилось с Раковским, но решило все-таки позаботиться о положении непризнанного дипломата, сидящего на Лертерштрассе. Оно запросило министерство юстиции о моем положении. Правосудие запросило тюрьму, а начальник тюрьмы решил проявить любезность при помощи подарка первой необходимости. «Малые причины имеют часто большие последствия», — сказал кто-то из стариков, занимавшийся в древности формулированием человеческого опыта в красивых изречениях. Тут большие причины привели к маленьким последствиям: фигурально говоря, ибо, в действительности, названный сосуд был достаточно велик для своей цели. Я немедленно приступил к исполнению дипломатических обязанностей и послал ноту министерству иностранных дел, но странное министерство по неизвестным причинам не ответило мне.

Через Датский Красный Крест я получил из Киева посылку. Там были и киевские конфекты и консервы из кукурузы, но все они носили след своего старого буржуазного происхождения. Гордостью и радостью наполнила меня только бутылка клюквенного экстракта, уже советского производства. Она показала мне, что все-таки промышленность еще не упала в Советской России.

Самое тяжелое — это было отсутствие советской прессы и непосредственных сведений о нашем положении. Я вырезывал эти сведения из буржуазных газет всего мира, взвешивал их, отсеивал чепуху, пытался создать себе реальное представление о ходе борьбы. Часто маленькое сведение, не совсем понятное для иностранного читателя, бросало яркий свет. В английских газетах промелькнуло сведение, что в Екатеринбурге строится радиостанция. Это было для меня доказательством, что на случай захвата центральной России белыми подготовляется дальнейшая борьба. Время, когда Деникин стал у Орла, Юденич у Петрограда, было самое тяжелое. Но даже сведения буржуазной печати показывали, с какой энергией республика защищается. Я получил книгу Рензома «Шесть недель в Советской России».

Она была тогда лучшим средством нашей пропаганды. В «Манчестер Гардиен» появились статьи профессора Гуда. В них было много увлечения английского гуманиста, но через туман его рассказов все-таки било отражение этой бешеной мощи, с которой дралась Советская Россия. В воскресенье утром в белогвардейской газете «Призыв» появилась телеграмма из Гельсингфорса о падении Петрограда. На момент кровь отхлынула от сердца, но через мгновенье пошло раздумье. Не может иметь дохлая белогвардейская газета раньше сведения, чем английский морской штаб. Почему Рейтер не доносит об этой великой победе контр-революции? Я закрутился около одного из тюремщиков, послал его к независимому депутату Розенфельду. Розенфельд передал, что немецкое правительство не имеет никаких сведений. В понедельник утром никаких сведений. В понедельник вечером сведение о передвижении нашей кавалерии на Гдов, в тыл противника и о контр-атаках от Царского Села. Во вторник сведения — Юденич отбит от Петрограда. Я переписывался в эти дни с товарищами. Меня попросили написать воззвание, призывающее к демонстрациям. На мой вопрос, что думают предпринять левые независимцы, дабы показать русским рабочим, что германские рабочие — с русским пролетариатом, Штекер известил меня: мы созываем собрание на 7-е ноября. Я ругал его последними словами, но он имел один ответ, что залы заказаны, что нельзя менять.

8. Политический салон.

Следствие было закончено. С ним кончилась моя изоляция. Меня держали в тюрьме, заявляя, что выпустят, когда Советская Россия вернет заложников, взятых за меня, и когда представится возможным меня отправить. Я мог иметь свидания. Кроме тов. Фриды Винкельман, старой подруги, германской учительницы, которая с невиданным самоотвержением кормила у себя и воспитывала детей наших нелегальных товарищей и которая заботилась обо мне в тюрьме,—первый, кто прибежал, был мой старый друг швейцарский товарищ Моор, бывший член Первого Интернационала, а позже за всю свою жизнь бессменно стоящий на левом фланге швейцарского рабочего движения. Я познакомился с ним еще в 1904 году, когда учился в Берне швейцарском, где он был редактором партийной газеты. Во время войны он помогал нашим товарищам, не имеющим легальных бумаг, он ручался за Ильича и Зиновьева, когда они были высланы из Австрии в Швейцарию. Старик происходил из знатной германской семьи, но, став в университете социалистом, он порвал с ней и работал в Швейцарии в качестве агитатора и редактора. Человек с громадным образованием, особенно историческим, с пламенным темпераментом, он не мог уместиться в узких филистерских рамках Швейцарии. Он дружил с народовольцами, помогал своими скудными грошами Варынскому и Дикштейну, вождям первой социалистической партии в Польше, имел беспрерывные столкновения с швейцарской партией из-за своего радикализма и богемского образа жизни. Почтенные бюргеры не могли ему простить не только его неверия в демократию, но и его слабости к жен-

щинам. И при многих расколах, в которых он был главной персоной, стены города Берна многократно были украшены плакатами о вреде радикализма, который приводит к свободной любви, как это видно по амурным приключениям Карла Моора, делающего честь своим поведением своей фамилии. Перед войной померли родители Моора, и он получил значительное наследство. Он помогал нам, большевикам и спартакистам, и немедленно после победы революции поспешил в Россию. Когда я был арестован, он поехал в Германию и начал за кулисами, используя свои связи и с германской социал-демократией, находящейся у власти, и с германской военщиной, в которой имел много родственников, работать, дабы вытащить меня из тюрьмы. Это ему не удалось, но в значительной мере я ему обязан тем, что в тюрьме со мной ничего не случилось. Моор принес мне кучу ободряющих сведений о положении в России и начал устраивать свидания со мною тем, которые без его содействия ко мне не попали бы. В несколько дней у меня завелся в тюрьме политический салон.

Одним из первых гостей был бывший великий витязь, глава младотурецкого правительства Талаат-паша и его военный министр, герой защиты Триполиса, Энвер-паша. После разгрома Турции они жили полулегально в Берлине — Антанта требовала их выдачи — и думали о том, как вести дальнейшую защиту Турции. Энвер бежал после разгрома нелегально через Советскую Россию в Германию и первый внушал немецким военным, что Советская Россия — это новая растущая мировая сила, с которой они должны считаться, если хотят на деле бороться против Антанты. Талаата я знал по Брест-Литовску. Там я его видел за столом победителей. Тут в берлинской тюрьме он был сокрушен и вспоминал о том, что он сын телеграфиста и сам бывший телеграфист, и говорил, что магометанский Восток может освободиться от рабства, только опираясь на народные массы и на союз с Советской Россией. Свои отношения с Кемалем-пашей, возглавляющим защиту Турции после поражения в мировой войне, они представляли таким образом, что Кемаль де принужден отмежеваться от павшего младотурецкого режима, но что между ними нет никаких разногласий по существу и что они за границей организуют ему помощь. Я уговаривал их ехать в Россию, что Энвер-паша позже и сделал. Талаат-паша был убит армянами, которые отомстили ему за бесчеловечную резню. Мы много раз говорили об армянском вопросе. Талаат не защищал своей политики, указывал только, что окруженные со всех сторон Антантой, которая использовала армян, как элемент разложения, они были принуждены прибегать к самым жестоким мерам. Я должен сказать, что Талаат производил на меня впечатление человека с большим природным разумом и силой воли, говорил он на ломаном языке, смешивая французские и немецкие слова. Энвер-паша, говорящий свободно по-французски и немецки, нервный, производил впечатление неустойчивого человека, вполне потерявшего равновесие, борющегося больше за свое личное положение, чем за страну.

Без всяких предварительных переговоров, пришел Ратенау. Я его знал только из его книг, по его деятельности в качестве председателя пра-

вления Всеобщей Электрической Компании и как организатора снабжения Германии сырьем во время войны. Мне приходилось позже много раз с ним встречаться в качестве министра иностранных дел Германии, и я имел возможность составить себе ясное представление об этом очень сложном человеке. При первом свидании уже бросились мне в глаза основные его качества: большой абстрактный ум, отсутствие всякой интуиции и болезненная самовлюбленность. Заложив нога на ногу, он попросил разрешения развить свой взгляд на мировое положение. Он говорил больше часа, вслушиваясь в звук своего голоса. Советская Россия не будет побеждена. Царизм прогнил, русскому мужику незачем возвращаться под ярмо помещиков, русская буржуазия была всегда слаба, но не увлекайтесь вашими военными победами. Гунны тоже побеждали. Вопрос состоит в том, сумеете ли вы создать новый строй. Весь мир стоит на перепутьи. Возвращения к старому капиталистическому строю нет. Пойдет ломка социальных отношений, но рабочая масса умеет сама только разрушать, созидательная работа это дело мозга; только возглавленный аристократией духа рабочий класс сумеет создать новое общество. Это не будет общество равенства, ибо равенство невозможно. Но новый строй уничтожит право наследства. Руководить будут фактически наиболее умные и наиболее сильные. Дан будет простор самым талантливым силам народной массы.

— А как же вы хотите организовать новое производство? — спросил я.

— Прочтите мои книги, — ответил Ратенау. — Маркс дал только теорию разрушения. В моих работах вы получите теорию конструктивного социализма. Это первый шаг науки, сделанный со времен Маркса, — заявил он скромно.

Увидя улыбку на моем лице, он стал разглагольствовать дальше:

— В Германии на долгие годы победа революции невозможна. Германский рабочий — филистер. Вероятно, через несколько лет я к вам приеду в качестве техника, и вы, советские вельможи, будете меня по старому знакомству принимать в Кремле, ходя в шелковых платьях.

— Почему в шелковых? — спросил я его.

— Потому что, после многих лет аскетизма нелегальных революционеров, вы захотите, победив, насладиться жизнью. В этом не будет ничего плохого, если будете только делать ваше дело созидания нового общества, — закончил первый наш разговор Ратенау, принимая на себя роль милостивой и нестрогой контрольной комиссии.

Во время одного из посещений Талаат-паши и Энвер-паши пришел Гарден. Я очень не любил этого наиболее блестящего публициста вильгельмовской эпохи. Он в молодости заигрывал с социализмом, позже, основав свой еженедельник «Ди Цукунфт», он был застрельщиком бисмарковской оппозиции против Вильгельма II и остался светским бузотером против вильгельмовского режима. Но в его стремлении к эффектам, в его вычурном стиле было очень много самых отрицательных сторон вильгельмовской эпохи. Социально он представлял смесь Карлейля с Ницше. На мое отношение к нему

повлияла тоже ненависть, которую питал к нему мой учитель Меринг. Но во время войны Гарден проявил много мужества в борьбе с германской военной легендой, и после убийства Розы Люксембург он был единственным германским буржуазным публицистом, который, не боясь белых банд, разоблачал все выверты убийц, пытающихся скрыть концы в воду. Передо мной сидел элегантный старый человек, немножко пытающийся скрыть свой почтенный возраст. Он был полон меланхолии и пессимизма насчет будущего Германии и полон величайшего презрения к германской социал-демократии и буржуазной демократии, которая не смеет повести настоящей борьбы против всего вильгельмовского аппарата, оставшегося нетронутым. Он относился с большим интересом к коммунистическому движению, как к единственной живой растущей силе в Германии, и, будучи противником политики немедленного сопротивления Антанте, защищая Версальский мир, как необходимый этап, считал нелепой политику игнорирования Советской России, растущую силу которой великолепно понимал. Он предложил мне написать статью для его еженедельника о русско-немецких отношениях, что я с большим удовольствием сделал.

Старик Моор притащил ко мне барона Райвница, коллегу Людендорфа по кадетскому корпусу. Райвниц был первым представителем породы, получившей название «национал-большевиков», с которым мне пришлось иметь дело. Он был застрельщиком в офицерских кругах не только союза с Советской Россией, но и так называемой мирной революции. Он считал, что центральная задача восстановления производственных сил Германии неразрешима без национализации промышленности и фабзавкомов. Фабзавкомы должны еще перед национализацией притянуть пролетариат к вопросам организации промышленности. За время, когда рабочие будут «втягиваться» в организацию производства, надо произвести моральную революцию и силою напора организованного пролетариата и интеллигенции заставить имущие классы итти на сделку с выкупом. Он умолял меня в том же духе писать, ссылаясь на речь Ленина о ближайших задачах Советской власти, произнесенную в апреле 1918 года. Эта речь, появившаяся тогда в Германии, произвела громадное впечатление на часть буржуазного общественного мнения. Я указывал ему, что эту речь Ленин произнес после взятия власти, и предложил ему убеждать буржуазию капитулировать, а в то время мы, коммунисты, займемся организацией «напора» со стороны рабочего класса.

9. Нелегальная работа в тюрьме.

Мои буржуазные гости позволяли мне лучше чем пресса нащупывать испуг буржуазии, ее разложение. Посещающие меня коммунисты давали мне возможность ориентироваться в том, что происходит в рабочем классе. Я запретил приходить в тюрьму руководителям германской партии, находящимся на нелегальном положении и преследуемым полицией. С ними я переписывался и видел, что партия не имеет руководства, в основном вопросе, в вопросе об отношении к профсоюзам, царил громадный хаос. Наиболее

выдающийся член партии Павел Леви за несколько недель перед тем, как произошел раскол партии в Гейдельберге из-за профессиональных союзов, в письме ко мне высказывался за уход из профсоюзов и за основание новых, революционных. На этой позиции стояли не только гамбургцы с Лауфенбергом и Вольфгеймом во главе, но и мои бременские товарищи Пауль Фрелих, Карл Беккер, оставшиеся после трагической смерти Иоганна Книфа без идейного руководства. Тов. Закс-Гладнев, работавший тогда в Германии, сбился на эти лево-коммунистические позиции и путал их. Я взялся немедленно за писание брошюры о развитии германской революции и задачах коммунистической партии, которую главами передавал нелегально из тюрьмы для печатания в «Коммунистической Рабочей Корреспонденции», предназначенной для инструктирования кадров партии. Тов. Бронский, которому удалось пробраться ко мне в тюрьму, соглашался полностью с моей оценкой положения, с тем, что первая волна революции схлынула, что задача состоит в организации масс для следующей волны и что для этой организации надо завоевать профсоюзы, фабзавкомы, итти в парламент, в коммунальные собрания. Он соглашался с тем, что надо держать контакт с левыми независимцами, поощрять раскол в независимой социал-демократии и, укрепляя коммунистическую партию, держать курс на будущее об'единение с левыми независимцами. В этом духе я старался воздействовать перепиской на руководителей партии. Пришла ко мне Рут Фишер, только что приехавшая из Австрии в Германию и раз'езжавшая много в качестве агитатора по стране. В Вене ей пришлось бороться с попытками захвата власти при отсутствии какой бы то ни было массовой организации коммунистов, и она должна была уехать из Австрии, где ее считали крайней правой. Тов. Томан, один из вождей австрийской коммунистической партии, на мой вопрос, что из себя представляет Рут Фишер, ответил с присущей ему точностью: «она есть австрийский Мартов». Я не знал, считает ли он ее такой талантливой или такой правой, как Мартов, но она произвела на меня впечатление человека с очень живым, хотя необразованным умом. Она расказывала мне подробно о впечатлениях, собранных в агитационных поездках. Партия представляла, по ее рассказам, организацию бунтарей, мужественно сражающихся, но не умеющих подойти к массам. Большинство партии изжило путчистские настроения, но, не веря больше в захват власти ничтожным меньшинством, маленькой организацией решительных революционеров, не знало, что делать для того, чтобы сделаться массовой революционной силой. Разбитые на улице, члены партии думали о создании массовых революционных организаций на фабриках. Захват власти на фабриках будет захватом власти в государстве. Но миф о массовых революционных организациях на фабриках закрывал нашим товарищам глаза на то, что громадные массы вливаются в старые профсоюзы. Рут Фишер с двух слов схватывала мою тактическую линию, и я надеялся, что она будет хорошим агитатором за нее. Я же видел, что она легко схватывала, но что это в ней не шло вглубь, что она может так же легко поддаться другому влиянию. Так как австрийские товарищи распространяли про нее много сплетен, то, допросив их, я взял от них заявление, чтобы австрийский ЦК не поднимал

против тов. Рут Фишер никаких политических, позорящих ее упреков, и дал ей рекомендации к Тальгеймеру и Бронскому. Через Рут Фишер прислал мне Бронский сведение, что Леви идет на раскол на с'езде, созываемом в Гейдельберге. Я написал обращение к с'езду, намечающее тактическую линию, направленную против левых, но одновременно написал письмо Леви, указывая ему, что нельзя проводить раскола, не попытавшись убедить партию, что надо открыть большую идейную кампанию и только после нее принимать организационные меры, если они окажутся необходимыми. Леви письмо скрыл перед ЦК и взял курс на раскол. После он оправдывался, что письмо получил чересчур поздно, но это не отвечало действительности.

Одновременно шла переписка и переговоры с австрийскими товарищами. Пролетарская революция в Венгрии и ее тяжелое положение вызвало в молодой партии, состоявшей в первую очередь из бывших военнопленных, горячее желание помочь венгерской революции захватом власти в Вене. В этот период я сидел в одиночке и не мог переписываться с Австрией. Когда я получил кое-какую свободу передвижения, героическая венгерская революция была уже добита. Но партия шла по инерции в старом направлении и, имея в венском рабочем совете прекрасную трибуну для завоевания масс, не умела зацепиться за их интересы. Штрассер, который настаивал на той же самой тактике, которую я предлагал, был в загоне. Я вызвал Томана, имеющего большое чутье к тому, что происходит в рабочих массах, и в многократных разговорах уславливался с ним насчет тактической линии. Только благодаря тому, что в «Аванти» появилось письмо Владимира Ильича к итальянским социалистам в том же самом духе, в котором я действовал, удалось убедить австрийский ЦК, и он попросил меня написать письмо австрийскому партийному с'езду, представляющее задачи партии, как задачи завоевания масс для революции.

Об английском движении информировал меня Филипп Прайс, и через него удалось наладить кое-какую связь. В лице Мэрфи, Галакера, прекрасных партийных товарищей, мы имели тот же самый левый уклон, который угрожал в Центральной Европе отрывом от движения.

Эти два месяца, предшествовавшие моей высылке из Германии, мне пришлось работать с большим напряжением. Я написал брошюру о задачах германской партии, о развитии мировой революции и тактике Коминтерна, брошюру против книги Каутского «Диктатура и терроризм», брошюру против левых о роли партии в пролетарской революции, большое количество статей и писем. Возможность издания всех этих брошюр началась с момента, когда в Берлине появился тов. Т о м а с и, будучи нелегальным, создал прекрасное легальное издательство Коминтерна. Он явился ко мне в тюрьму в качестве корреспондента какой-то выдуманной еврейской газеты. Начал меня расспрашивать про положение евреев в России, ибо надзиратель оставался в приемной. Я не узнал его и ответил ему весело, что евреи страдают всегда и от революции и от контр-революции. После исчезновения надзирателя Томас об'яснил, кто он такой, и развернул мне весь план своей работы. Я относился сначала с недоверием к его перспективам и только после узнал, какой бешеной энергии и организаторской умелости этот человек.

10. Полусвободный.

В то же самое время пробрался в Берлин тов. Копп и под видом представителя по вопросу о военнопленных устроился на положении полулегального полпреда. От Коппа я узнал подробно о положении в России, получил газеты, новые русские книги. Особенное впечатление произвела на меня дискуссия по партийной программе на девятом с'езде, которую я перевел и снабдил вступлением. Копп начал искать путей для того, чтобы вырвать меня из тюрьмы. Затруднение состояло в том, что Москва боялась выпустить раньше заложников, чем я вернусь. Немцы меня не хотели выпустить без возвращения заложников, а кроме того между Германией и Советской Россией шел сплошной фронт от Черного моря к Балтийскому. Начались наши переговоры с Эстонией. Я был назначен Советским правительством в мирную делегацию, но как пробраться в Эстонию? Литовцы выдвинули свое требование за пропуск меня. Правительство хотело выдачи пленных, которых нельзя было выдавать без получения наших товарищей, томящихся в литовских тюрьмах. Литовский посол в Берлине требовал бензина для автомобиля. Вдруг я получил от иезуитского патера, освобожденного из тюрьмы совместно с виленским архиепископом Кропом, сведение, что между Пилсудским и нами заключен тайный договор, на основе которого Польша обязалась пропустить меня. Но немцы не поверили этому, пока не получилась соответствующая телеграмма из Варшавы. Тогда мне разрешили переехать на частную квартиру барона Рейгница, из которой я должен был начать свое путешествие. Четыре шпика явились ко мне в тюрьму под вечер и, несмотря на мои протесты, выбросили меня из тюрьмы. Я протестовал, ибо мне надо было, по крайней мере, день времени для того, чтобы сложить книги. Но они были неумолимы. Меня насильно водворили в тюрьму, насильно и выгнали.

С большим шумом привели меня на квартиру к барону Рейгницу и устроились в спальне со мной. Надо было долго переговариваться со штабом Носке, пока его ад'ютант майор Гильза удовольствовался пребыванием одного шпика в передней. Когда я встал на следующее утро, барон Рейгниц спросил меня, не возражаю ли я, чтобы с нами завтракал полковник Бауэр, начальник немецкой артиллерии в войне и первый советник Людендорфа. Я, понятно, не возражал. В столовой я нашел человека с движениями кошки, совсем не похожего на военного, и мы начали разговор о внутреннем и внешнем положении Германии. Несколько дней раньше в парламентской комиссии рейхстага, разбиравшей причины затягивания войны, Людендорф покрыл многоуважаемых парламентариев матом. Указывая на его выступления, я сказал Бауэру, что имею впечатление, что они подготовляют государственный переворот. Бауэр ответил мне, что они даже не думают об этом. Людендорф считает, что правительство очень легко захватить, но тогда остановятся железные дороги. Против рабочих нельзя теперь господствовать в Германии. Надо ждать, пока буржуазная демократия не разочарует рабочих и пока

они не придут к убеждению, что «диктатура труда» в Германии возможна только при соглашении рабочего класса с офицерством. Он давал мне понять, что на этой основе возможна была бы сделка офицерства с коммунистической партией и Советской Россией. Они понимают, что мы непобедимы и что мы союзники Германии в борьбе с Антантой. Я ответил ему, что генерал Людендорф имеет представителя в парламенте в лице газетного короля Гугенберга, одного из руководителей тяжелой промышленности. Пусть же Гугенберг сделает это предложение публично германскому рабочему классу. Бауэр понял намек и начал доказывать, что он и Людендорф во все время войны боролись с грабительской политикой Гугенберга, и предложил все-таки договориться. Я ему указал, что от имени германской компартии может говорить только германский ЦК, а с Советским правительством надо договариваться в Москве. Он ушел.

Следующий гость был Эрнст Гейльман, один из главарей германской социал-демократии. Перед войной, когда он был редактором Хемницкого партийного органа, я дрался с ним, как с одним из последовательных реформистов, буквально ежедневно, и в этой литературной борьбе мы очень хорошо друг друга узнали. Во время моих приключений, связанных с расколом в польской социал-демократии, Гейльман выступал очень энергично против подлостей, совершенных по отношению ко мне Эбертом и Шейдеманом, и с того времени между нами установилась известная личная связь. Я очень ценил прямоту этого реформистского наездника. Он ее проявил и теперь в разговоре со мною.

— Социалистическая революция в Германии невозможна теперь, ибо германская промышленность без сырья, страна без хлеба.

— Какой же выход вы видите? Разве вы верите, что в том положении, которое вы рисуете, страна будет итти через демократию к социализму?

— Это агитационный вздор, — ответил Гейльман, — восстановление германского хозяйства невозможно без закабаления страны американскому капиталу. Только тогда, когда хозяйство будет воссоздано, и классовая борьба против капитализма сольется с борьбой против национального угнетения, будет возможно думать и о революции.

Пришел Штампфер, редактор «Форвертса». Я высказал ему мое убеждение, что белые подготовляют переворот, и намекнул, что для борьбы с контр-революцией коммунисты пошли бы на временный блок с социал-демократией, но что для создания его нужно восстановление советов, разогнанных Носке, как органов борьбы против контр-революции. Штампфер отрицал наличие контр-революционной опасности и заявил, что они никогда не пойдут на возобновление деятельности советов.

Технические переговоры с Польшей насчет переезда затягивались. Мне пришлось, чтобы не злоупотреблять гостеприимством барона Рейгница, не привыкшего к такому кавардаку, который у меня завелся, переехать на квартиру полицейского комиссара Густава Шмидта, где я прожил еще несколько дней. В передней сидел шпик и глотал лепешки из картофеля.

Я начал с ним разговор о материальном его положении, которое было очень бедственно, и скоро имел парня так в кармане, что он купил мне из полицейских запасов кожаный костюм и большой маузер. Он был обязан записывать моих посетителей, но довольствовался тем списком, который я ему давал. Был очень потрясен, когда первым посетителем на новой квартире явился бывший министр иностранных дел, контр-адмирал Гинце.

Гинце, маленького роста, изящный, с неподвижным китайским лицом, произвел на меня сильное впечатление. Это был человек, глубоко потрясенный судьбами Германии. Он рассказывал мне очень много о настроениях рабочих в Силезии, где он имел имение. Он с ними много разговаривал и считал, что революция состоит в том, что рабочие больше не хотят работать на капиталистов. Католические рабочие говорили ему о несправедливости капиталистического строя и о необходимости организации новой жизни. Буржуазию ненавидят. Германия вряд ли поднимется без изменения своего строя. Он стоял за сделку с Советской Россией и заявил, что очень хотел бы видеть теперешнее наше состояние собственными глазами. В 1905 году он был морским атташе при царском дворе. Наблюдал события в Питере, много охотился в лесах России, приходилось наблюдать отношения помещиков к крестьянству, и на основе своих наблюдений он убедился в окончательном крушении старой России. Допрашивал меня о перспективах революции на западе, придет ли она раньше, чем Антанта с'ест Германию.

Ратенау привел главного директора Всеобщей Электрической Компании старого умного Феликса Дейча, который имел старые связи с Россией и знал очень хорошо русский технический мир. Феликс Дейч относился очень скептически ко всякой возможности существования другого строя кроме капиталистического.

— Вы признаете развитие от дикарей африканских лесов до директора Всеобщей Электрической Компании? Почему думаете, что оно дальше итти не может? — спросил я его.

— Во все эпохи, — ответил он мне, — существовал класс организаторов, и без него нельзя обойтись.

Что передовая часть пролетариата может быть организатором промышленности, впитывая в себя лучшие силы технической интеллигенции, он не верил. Работа—это такая тяжелая вещь, что рабочие сами не заставят себя работать. Но пусть строй будет какой хочет, если только мы будем торговать со Всеобщей Электрической Компанией. Он деликатно спрашивал, не намерены ли мы им вернуть захваченных заводов. Но когда я, смеясь, спросил, почему мы им должны делать подарки, он заохал по поводу моих извращенных взглядов. Но тоже просился в Россию.

Немецкие товарищи заходили ко мне уже целыми группами. Пришла Цеткин с Леви, бодрая как всегда, и мы выработали тезисы западноевропейского бюро Коминтерна о мировом положении и тактике коммунистов. Они начинались со слов, что всякая правильная тактика коммунистических партий должна исходить из предположения, что революция, даже

в европейском масштабе, будет очень продолжительным процессом. Когда я вернулся в Москву, это место вызвало большое качание головы у Николая Ивановича Бухарина. Я повидал по очереди всех руководящих товарищей из коммунистической партии и ряд левых независимцев. Деймиг, наиболее почтенный из них, стоял за раскол в партии. Криспин держался очень выжидательно и представлял партийный центр.

Затяжка отправки начала меня волновать. Мы заказали аэроплан, и я должен был совместно с Энвер-пашей лететь. Но получил телеграмму от капитана Игната Бернера, начальника польской военной разведки, с назначением срока переезда через Польшу и отказался от поездки на аэроплане. Позже польский черносотенный публицист Немоевский опубликовал ленту разговоров по Юзу польского консула в Берлине с польским министром иностранных дел Патеком, из которой следовало, что велись переговоры о подкупе летчика, чтобы он спустился со мною в Польше, где я должен был оставаться заложником.

Наконец, мы двинулись поездом к польско-прусской границе в Просткен. Провожал меня полицейский комиссар Шмидт с двумя агентами и теперешний советник немецкого посольства в Москве, бывший майор Гай. Я вез с собою в четырех громадных чемоданах всю основную экономическую литературу за первый послевоенный год, комплекты коммунистической печати, работы Эйнштейна, неизвестные тогда в России. В Просткене остановились мы в гостинице, хозяин который кормил нас великолепно, приняв нас за пограничную антантовскую комиссию. Поляки, не спрашивая никого, прикатили с экстренным поездом прямо на немецкую станцию, я простился с немцами и сел в польский поезд.

11. Через Польшу.

До Белостока поезд сопровождал начальник разведки ППС'овец капитан Бернер. Из Белостока комендантом поезда и сопровождающей меня стражи был молодой поручик Ясинский, высокий, стройный, похожий на грузина. Когда мы остались одни, он спросил меня меланхолично:

— Вы меня не узнаете, я был в декабре 1917 года комендантом Смольного.

— Как же вы попали в польскую армию?

— Я поляк, инженер, член польской социалистической партии, считал долгом бороться против царизма и русской буржуазии. Когда возникло польское государство, я вернулся. Теперь служу в армии.

— Сражаетесь за польскую буржуазию против польских и русских рабочих!

Он очень смутился. Положение в Польше переходное. Пока из Германии угрожает немецкая контр-революция, в Польше невозможна революция. Она бы означала гибель Польши. Независимость страны надо защищать. Они, пилсудчики, очень не хотят драться с русской революцией, но они боятся, что мы, победив белых, можем бросить войска на Польшу, чтобы получить совместную границу с Германией.

Поезд, несмотря на то, что имел пропуск в первую очередь, шел очень медленно. То железнодорожники заявляли, что что-то испортилось, то пути были запружены. Я имел возможность наблюдать на вокзалах польских солдат, видел французских и английских офицеров, шляющихся между польскими солдатами. На какой-то станции в Белоруссии гнали русских военнопленных в красноармейской форме. Увидев их, одна крестьянка застонала: «Дети одного царя и друг друга убивают». По дороге кормили меня гусями, которых конвой крал у крестьян во время больших остановок. Наконец, мы приехали в Лунинец. Поместились в маленькой даче за городом, где жил Ясинский с несколькими молодыми поручиками. Это было — видно — помещение штаба военной разведки или полевой жандармерии. На прогулках я заметил, что пожилые офицеры с тревогой оглядываются на Ясинского. «Чего они вас так не любят?» — спрашиваю я его. «Мы, пилсудчики, держим в руках узловые позиции в армии. Реакционное офицерство очень нас боится». Молодежь из разведки смотрела на меня с нескрываемым интересом, но и страхом. Я присмотрелся к обстановке. На этажерках стояли те же самые книги, по которым я учился. Круля и Нитовского «История польской литературы», Смоленского «История Польши», Выспянский, Жеромский. Они были очень удивлены, что я, большевик, знаком с польской литературой. Я, смеясь, устроил им экзамен, на котором они, бедняжки, провалились. Все это была военная молодежь, которой не до книг было. Но мой авторитет в их глазах повысился, и они откровенно спросили меня, как же это я, воспитанный в польской культуре, могу быть большевиком и посягать на независимость Польши. Начались длинные дискуссии, в которых я убедил их, что Советская России не посягает на независимость Польши. Они наивно просили меня «написать об этом статью». «Но, ведь, статьи-то ваша пресса не перепечатает», — ответил я им. Они заявляли, что «Роботник» наверно напечатает, а если бы отказал, то они будут статью распространять. Я сел немедленно и написал статью в форме письма к Дашинскому — вождю ППС. Они обязались статью доставить. И действительно, когда я уже был в Советской России, статья появилась в «Роботнике».

Начальником штаба фронта был генерал Сикорский, позднее военный министр и премьер-министр Польши. Он пригласил меня к себе на чай. В штабе я нашел высокого мужчину с очень интеллигентным лицом. Начался долгий разговор об отношениях между Польшей и Россией, о русской революции.

— Вы победили, — сказал мне Сикорский, — благодаря тому, что мужик пошел за рабочим. Мы этого у себя не допустим. Проведем аграрную реформу.

— Это легче сказать, чем сделать, — ответил я ему. — Что скажут об этом ваши помещики, ваш генералитет, связанный с помещиком?

— Интересы государства выше классовых, — ответил мне генерал Сикорский.

Но в бытность свою премьер-министром, видно, раздумал.

Он известил меня, что задержка в моей отправке об'ясняется каким-то нашим наступлением, и предложил мне послать телеграмму тов. Троцкому с предложением остановки наступления.

Я боялся, что это ловушка, что Сикорский для каких-то целей хочет иметь мою телеграмму, утверждающую, что Красная армия наступает. Поэтому отказался послать такую телеграмму и послал по радио только извещение, что нахожусь в польском штабе фронта и прошу сговориться о дне и часе пропуска. На следующий день приехал красный командир, уполномоченный фронтом принять меня. На нейтральной зоне должен был ожидать нас наш патруль, но, благодаря тому, что линия была занята разными составами поездов, мы пробрались к нейтральной зоне только поздно вечером. Никакого патруля не было. Ясинский со своим патрулем отказался пустить нас одних, заявляя, что он отвечает перед Пилсудским головою за меня и боится несчастного случая. Мы ему гарантировали возможность беспрепятственного возвращения, и он со своими отправился провожать нас до наших линий. Была прекрасная лунная февральская ночь. Снег хрустел под ногами, когда мы приближались к Советским линиям. Сердце билось в груди. Выскочили наши стражи, приняли нас радостно. Начались разговоры между красноармейцами и польскими офицерами.

— У вас на шапке птица, недалеко полетит, хотя и орел. У нас звезда на все стороны мира светит, — говорил в споре красноармеец.

Я слушал, глубоко взволнованный. Мы прощались. Когда я Ясинскому подал руку на прощанье, он вдруг бросился ко мне и начал меня обнимать. Красноармейцы смотрели удивленно. Где он теперь, поручик Ясинский? Сражался ли он против рабочей революции или выбрался из трясины соглашательства?

Мы подошли к хатам, где разложились красноармейцы. Красноармейцы заварили чай из моркови и пустили граммофон с песнями Демьяна Бедного. Первый раз слышал советскую пластинку. Скоро прибежал красноармеец и донес, что приехал «важный» комиссар. Это был поезд тов. Аралова, тогда комиссара юго-западного фронта. Мы поехали в вагоне Скоропадского в Гомель. По дороге узнавал все новости о положении. Под столом толкнул ногою какие-то тюки. Это наши деньги, — сказал не без улыбки Аралов. Денег было очень много. Но очень мало стоили. За спички я уплатил в Гомеле, если не ошибаюсь, сто рублей, что произвело на меня потрясающее впечатление. После митинга в Гомеле поехали дальше. На какой-то станции ночью проснулся от звуков Интернационала. На вокзале видел стройные ряды школы курсантов. Это не то, что первое мая в 1918 году, когда я, увидев парад Красной армии, сказал с радостью Сокольникову: «Смотрите, Григорьянц, уже ходить умеют». А он с улыбкой ответил мне: «Скоро и бежать научатся». Передо мною стояла отборная часть, вышколенная в бою. На другой станции мы застряли в снегу. Железнодорожники повезли меня в сельский совет. Председатель приветствовал меня, но к моему глубочайшему удивлению назвал меня Белей Куном. В газетах писалось много о возможности приезда тов. Куна, и это об'ясняет ошибку. Но я не хотел начинать ответной

речи с об'яснения, что я Федот, да не тот, и поэтому отвечал от имени Куна. Какая разница?

Железнодорожники не могли сказать, когда приедем в Москву. Поэтому я улегся спать. Вдруг услышал через двери голос Бухарина и бас Демьяна Бедного:

— В такой торжественный день и спит — скотина!

Родная Русь меня приняла. Мы поехали в Кремль домой, и тов. Чичерин, не давая мне позавтракать и шипя на тов. Карахана, который глазел в столовой, заставил немедленно начать заседание с докладом о положении в Польше.

Павел I.

Опыт характеристики.

Георгий Чулков.

I.

В комнате было душно, жарко и пахло пряными духами и еще чем-то, должно быть, распаренным человеческим телом. Шторы были спущены; мерцал ночник и, хотя был день, с трудом можно было различить в полумраке согбенные фигуры женщин в огромных кринолинах; старухи, темные и недвижные, были похожи на больших сонных птиц, которые расположились на вечерний покой. Нахохлившись, они сидели вокруг пышной колыбели, где были навалены какие-то покровы и ткани. Тут был лисий чернобурый мех, стеганое на вате атласное одеяло, бархатное одеяло, еще какое-то одеяло, и под этой грудой задыхался на перинах крепко и плотно спеленутый младенец.

Когда молодую великую княгиню, бывшую ангальт-цербстскую принцессу, Софию-Августу-Фридерику, именовавшуюся теперь Екатериной, ввели в эту комнату, она едва не лишилась чувств от спертого воздуха и сладкого дурмана духов. Ей дали восковую свечу и, когда княгиня решилась поднять кисею колыбели, она увидела крошечное розовое личико с двумя темными и мрачными глазами, совсем не по-младенчески глянувшими на нее. Нос у младенца был смешной, как пуговица.

Это жалкое крошечное существо был будущий «самодержец Всероссийский, князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский, повелитель и государь царей Грузинских, наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голштинский и Ольденбургский, Великий Магистр Державного Ордена Святого Иоанна Иерусалимского и прочая, и прочая».

С первых дней своего существования этому самодержцу пришлось испытать невыносимую духоту царской спальни. Императрица Елизавета, фрейлины и мамушки душили ребенка пеленками и одеялами, как будто желая приуготовить его к тому шарфу, который затянули ему на шее пьяные гвардейцы 11 марта 1801 года.

Кто был этот младенец? Чей был он сын? До сих пор никто этого не знает. Сам он был убежден, что Петр III, бывший герцог Голштейн-Готторпский, злополучный император, год кривлявшийся на русском троне и

потом убитый одним из деятелей 1762 года, был действительно его отцом. Другие сомневались в этом, предполагая, что отцом Павла был Салтыков, любовник Екатерины. Иные уверяли, что от красивого Салтыкова не мог родиться курносый мальчик и что Екатерина родила мертвого ребенка, которого заменили новорожденным чухонцем из деревни Котлы, расположенной недалеко от Ораниенбаума.

Жизнь Павла оказалась не менее загадочной и фантастичной, чем его происхождение.

Та, которую он считал впоследствии своею матерью, редко появлялась у его колыбели. Зато императрица Елизавета навещала младенца раза два в сутки, иногда вставала с постели ночью и приходила смотреть будущего императора. Подрастая, он привык к женщинам, к фрейлинам, к нянькам и боялся мужчин. В 1760 году, когда Павлу было пять лет, Елизавета Петровна назначила камергера Никиту Ивановича Панина обер-гофмейстером при Павле. Грамоте его стали учить уже в 1758 году, и тогда же надели на него модный кафтанчик и парик, который одна из няней заботливо окропила святою водою.

Странный страх всегда сопутствовал Павлу с младенческих лет. Ему постоянно мерещилась какая-то опасность. Хлопнет где-нибудь дверь, он лезет под стол, дрожа; войдет неожиданно Панин, надо спрятаться в угол; за обедом то-и-дело слезы, потому что дежурные кавалеры не очень-то с ним нежны, а мамушек и нянюшек нет: их удалили, ибо они рассказывают сказки, поют старинные песни и вообще суеверны, а цесаревич должен воспитываться разумно. Ведь, то был век Вольтера и Фридриха Великого. Тогда еще Павел не увлекался коронованным прусским вольнодумцем, и ему были милы сказки про бабу-ягу. Впрочем, это не мешало мальчику обнаруживать способности к наукам и остроумие. Однажды после урока истории, когда преподаватель перечислил до тридцати дурных государей, Павел крепко задумался. В это время от императрицы принесли пять арбузов. Из них только один оказался хорошим. Тогда цесаревич сказал: «Вот из пяти арбузов хоть один оказался хорошим, а из тридцати государей ни одного!».

Императрица Елизавета умерла в 1761 году, когда Павлу было пять лет. Петр Федорович по своему легкомыслию не мог заняться воспитанием маленького Павла. Впрочем, однажды голштинские родственники принудили его посетить какой-то урок цесаревича. Уходя, он сказал громко: «Я вижу, этот плутишка знает предметы лучше нас». В знак своего благоволения он тут же пожаловал Павла званием капрала гвардии.

То, что случилось летом 1762 года, осталось в памяти Павла на всю жизнь. 28 июня утром, когда Павел не успел еще сделать свой туалет, в его аппартаменты в Летнем дворце, в Петербурге, вошел взволнованный Никита Иванович Панин и приказал дежурному камер-лакею одеть цесаревича поскорее. Впопыхах напялили на него первый попавшийся под руки камзол и потащили в коляску, запряженную парою. Лошади помчали Панина и его воспитанника к Зимнему Дворцу. Маленький Павел дрожал как в лихорадке, и , пожалуй, на этот раз для его испуга были немалые причины. В эту

ночь Екатерина была провозглашена императрицей. Павла вывели на балкон и показали народу. На площади толпились простолюдины, купцы и дворяне. Проходившие гвардейцы, расстраивая ряды, буйно кричали ура. Эти крики пугали мальчика, и он почему-то думал о том, которого считал своим отцом. В Зимнем Дворце был беспорядок. Придворные и офицеры толпились в шляпах, и Павлу послышалось, что кто-то говорит «наш кривляка», «наш дурачок», и какой-то камергер, заметив Павла, дернул болтуна за рукав. О ком они говорили? О каком кривляке? О каком дурачке?

Впоследствии Павел все узнал. Он узнал, как Екатерина совершила свой победный поход во главе гвардии в Петергоф, как ее растерявшийся супруг, отрекшийся от престола, был отвезен в Ропшу. Он нашел также в бумагах Екатерины после ее смерти письмо Алексея Орлова: «Матушка, пощади и помилуй, дурак наш вздумал драться, — мы его порешили»...

Но Павел не считал дураком Петра Федоровича и даже любил его. Этот человек не успел еще обидеть чем-нибудь мальчика. А Никита Иванович Панин, к которому Павел скоро привык, внушал ему искусно некоторые странные и беспокойные мысли об императрице. Нашлись и другие, которые растолковали мальчику, что после смерти Петра III надлежало императором быть ему, Павлу, а супруга убитого государя могла быть лишь регентшей и правительницей до его, Павла, совершеннолетия. Павел это очень запомнил. Тридцать четыре года думал он об этом дни и ночи, тая в сердце мучительный страх перед той ангальт-цербстской принцессой, которая завладела российским престолом, вовсе не сомневаясь в своем праве самодержавно управлять многомиллионным народом.

Итак, надо было воспитывать наследника. Екатерина решила действовать энергично. Поклонница западной цивилизации, она решила пригласить воспитателем Даламбера. Но из этого ничего не вышло. Он отверг предложение императрицы, как отверг приглашение Фридриха Великого, который предлагал ему свое гостеприимство. Знаменитый энциклопедист, намекая на «геморроидальные колики», от которых по официальной версии умер Петр III, писал Вольтеру: «Я очень подвержен геморрою, а он слишком опасен в этой стране», т.-е. в России.

Пришлось ограничиться российскими воспитателями. Среди них были, между прочим, известный своими «Записками» Семен Андреевич Порошин, человек весьма честный и образованный. Кроме того, учили цесаревича Эпинус и Остервальд. Павел изучал историю, географию, математику, русский язык, немецкий, французский. Знал немного по латыни. Позднее других приглашен был в качестве преподавателя архимандрит Платон, впоследствии митрополит. Прежде, чем назначить этого монаха учителем, его пригласили на обед ко двору, и сама императрица с ним беседовала, желая убедиться в том, что будущий воспитатель цесаревича не суеверен. Ученица Вольтера, как известно, больше всего опасалась суеверий. Повидимому, Платон с честью выдержал экзамен и был допущен, как доверенное лицо, к наследнику престола. Но положение его было трудное. Кн. Щербатов, автор известного сочинения «О повреждении нравов», писал, между прочим, что Екатерина

«закон христианской (хотя довольно набожной быть притворяется) ни за что почитает»... «И можно сказать,—поясняет Щербатов,—что в царствование ее и сия нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала»... Такого же мнения о Екатерине был и вольнодумец Фридрих Прусский, который был уверен, что она, притворяясь благочестивой, в сущности вовсе не религиозна. Впрочем, строгий монах, храня веру, удивлял, однако, своим красноречием и ученостью даже скептиков. Его книги известны были в Европе. Сам Вольтер лестно отзывался о стиле его проповедей. У несчастного Павла не было недостатка в разнообразных воспитателях. Известная пословица «у семи нянек дитя без глазу» лучше всего определяла его судьбу. В самом деле, кто окружал Павла? Образованный, но ленивый и не всегда искренний Панин; екатерининские вельможи, подражавшие виконтам и маркизам Людовика XVI; голштинские и прусские выходцы, застрявшие в России после бесславной гибели их царственного покровителя: все эти люди не очень стеснялись в присутствии малолетнего наследника, и на обедах, которые ежедневно устраивал Панин, Павел слышал подчас разговоры весьма двусмысленные, смущавшие его детский ум. Те, которые не утратили еще аппетита к жизненным усладам, говорили за стаканом вина о сердечных причудах, и скоро подраставший Павел стал интересоваться любовными темами, которые в ту эпоху назывались «маханьем». За обедами велись также и политические разговоры, при чем мальчик догадывался, что не все были довольны политикою Екатерины. Приходилось ему нередко слышать и цитаты из «Девственницы» Вольтера, которые комментировались придворными вольнодумцами так, что мальчик невольно сопоставлял их, недоумевая, со строгими поучениями своего воспитателя Платона.

Павел много и внимательно читает. Если иногда его суждения бывают опрометчивы, как это случилось однажды в его разговоре о Ломоносове, он всегда готов признать свою ошибку. Он, конечно, знает не только Сумарокова, Ломоносова, Державина и прочих российских пиитов, но и западных писателей. Театр Расина, Корнеля, Мольера ему хорошо известен. Он твердит наизусть монологи из «Федры» и «Аталии» и классических французских комедий. Он знает Вольтера. Он имеет понятие о Руссо. Он жадно читает странную и увлекательную книгу великого испанца о том изумительном рыцаре, который был так великодушен, добр, умен, храбр, благороден и так... смешон. Маленькому Павлу хочется покинуть дворец, где за ним бродят, как тени, придворные лакеи; где умный, но слишком озабоченный, самолюбивый и суетный Панин распоряжается его судьбою, как опекун; где так неуютно и жутко. Ему хочется, как этому чудаку, Дон-Кихоту, уехать куда-нибудь в поисках прекрасной Дульцинеи, не боясь насмешек. За торжественными обедами, особенно, когда присутствует императрица, у Павла начинается необ'яснимая тоска, и он плачет, смущая иностранных дипломатов и вызывая гнев Екатерины и раздражение Никиты Ивановича. А тут, как нарочно, эти придворные обеды тянутся непонятно долго. Ему, Павлу, всегда хочется, как можно скорее, покончить одно дело, чтобы взяться за другое. Ему кажется почему-то, что надо спешить, что ему предстоит сделать что-то

важное и что надо торопить дни: как можно раньше ложиться спать и вставать на рассвете. Если ужин затягивается на четверть часа, Павел горько жалуется, а встает так рано, что заспанные камердинеры, зевая, с трудом натягивают ему чулки и спросонья то-и-дело роняют подсвечники, бьют посуду, вызывая упреки цесаревича в нерадении. Почему Павел так торопится жить? Не потому ли, что жизнь страшна, особенно здесь, во дворце, где разговаривают часто о страшном? То Никита Иванович расскажет о казни Волынского при императрице Анне Ивановне, и от этого рассказа о пытках и муках на голове шевелятся волосы; то подслушает цесаревич ужасную повесть об императоре-отроке Иоанне Антоновиче, которого веселая императрица Елизавета с младенчества держала в тайных казематах крепости; то Порошин разболтает что-нибудь о деле подпоручика Мировича, который пытался освободить этого таинственного узника в 1764 году, но, ворвавшись в тюрьму, нашел там бездыханное тело и сам за дерзость свою поплатился головой, по повелению императрицы Екатерины...

Разговоры о казнях, муках, пытках сменялись разговорами о любви, о веселостях, о «маханиии». Павел доверчиво рассказывает Порошину свои сердечные истории. То ему нравится одна фрейлина, то другая.

Атмосфера Екатерининского двора была томная и душная. Изнеженные, избалованные и беспечные царедворцы, усвоившие охотно легкомысленную философию парижских салонов, и здесь, в Зимнем Дворце, продолжали вести рассеянную и чувственную жизнь, не стыдясь своего ребяческого разврата.

Григорий Орлов, фаворит Екатерины, предложил однажды Павлу нанести визит фрейлинам. Императрица охотно допустила эту вольность. И Павел переходил из комнаты в комнату, восхищаясь девицами. После этих приятных визитов он «вошел в нежные мысли и в томном услаждении на канапе повалился». Потом он делился с Порошиным своими чувствами к некоей его «любезной», которая «час от часу более его пленяет». В этот вечер он искал во французском энциклопедическом словаре слово «любовь».

II.

Павел подрастал. Он уже не заползает теперь под стол от страха, не пугается нищих, как это с ним случилось однажды в детстве, когда он из окна дворца увидел человека в лохмотьях, в котором, быть может, его государево сердце смутно прозрело грядущего санкюлота — грядущее возмездие обитателям дворцов. Павел умеет теперь скрывать свой страх, который отравлял его душу с младенческих лет. Но и теперь ему кажется, что во дворце не все благополучно. Он окружен попечением. К его услугам десятки лакеев; с ним всегда воспитатель и лекторы; за обедом присутствует опекающий его Никита Иванович: но скучно, неуютно и одиноко в его покоях. В чем дело? Не в том ли, что у цесаревича нет матери? В самом деле, разве эта полная, моложавая сорокапятилетняя женщина, окруженная фаворитами и весело управляющая государством, как своею вотчиною, по-

хожа на родную мать Павла? Разве она не равнодушна к нему? Разве нашелся у нее досуг, чтобы заглянуть в его душу? Разве она знает, чем теперь занят этот странный мальчик, взволнованный и своенравный? Она не видит даже, как ревниво и гневно наблюдает иногда на куртаге за своею улыбающеюся матерью этот отрок, не забывающий страшной июньской ночи 1762 года. Призрак убитого Петра III стоит перед глазами маленького Павла. Он никому не говорит об этом своем воспоминании, но ему иногда хочется спросить кого-то: «Зачем собственно он живет здесь во дворце, в сущности никому не нужный и чужой? А что если те самые люди, которые убили его отца, готовят и ему такой же конец? Ну, если не те, то подобные им? Вчера он случайно видел, как резал повар кур. Царей, кажется, режут так же просто. Об убитых государях читывал кое-что цесаревич в книгах, которые приносил ему неосторожный Семен Андреевич Порошин. Его теперь удалили неожиданно от Павла. И мальчику жаль добрейшего Семена Андреевича. К нему иногда можно было забраться на диван и рассказать откровенно о своих думах и сердечных тайнах — обо всех, за исключением одной. Об этой единственной тайне нельзя было говорить ни с кем, даже с Порошиным. А между тем эта ужасная тайна, эта постоянная мысль об убитом отце мучает и терзает Павла. Кто эти люди вокруг него? Не убийцы ли? Вчера подали суп совсем сладкий. Не отрава ли? Павел не стал есть супа. А Никита Иванович гневался и вывел цесаревича из-за стола. Иногда на цесаревича нападает тоска. Тогда он кривляется и «все головою вниз мотает», точь в точь как покойный Петр Федорович. Но такие странные припадки у мальчика бывают редко. Обычно он умеет скрывать свои чувства. Он почтителен к матери и любезен с окружающими его. Однако многие замечают, что между матерью и сыном создались отношения не совсем понятные. Это заметили даже иностранные послы и писали об этом донесения своим государям.

Маленький Павел страшится надменных любимцев императрицы. Они ужасно высокомерны. А когда кто-нибудь из них вдруг станет с ним ласков, как одно время с ним был ласков Григорий Орлов, то это внимание, пожалуй, мучительнее, чем прямая грубость. Этот любовник царицы был особенно внимателен к Павлу как раз в то время, когда у Екатерины родился от него сын, впоследствии граф Бобринский. Этого нельзя было утаить от Павла, рано узнавшего альковные тайны коронованной любострастницы. Сентиментальный и целомудренный мальчик уже стыдился своей развратной матери.

Петр III до конца своих дней оставался ребенком. Это не нравилось его супруге. Павел, напротив, рано созрел и порою казался даже маленьким старичком. И это не нравилось государыне. Петр III был слишком беспечен и все шутил — даже у гроба Елизаветы. Павел, с другими приветливый, смотрел на свою мать странными, требовательными и недоверчивыми глазами, а придраться к нему было трудно, ибо он был почтителен и вежлив, и Екатерина не знала, как с ним быть.

Когда Павлу исполнилось четырнадцать лет, решено было учить его государственным наукам. Порошина теперь не было. Главным преподавателем

сделался Остервальд. Кроме того, Павлу читали курсы Николаи, Лафермьер и Левек — все иностранцы, и с ними Павел не очень ладил. Порошин умел удерживать своего воспитанника от увлечения военным делом, а немцы сами преклонялись перед традициями прусской системы, и Павел заразился тою же страстью, как и Петр III. Теперь экзерцирмейстерство и парады стали на первом плане. Екатерина называла это военным дурачеством.

Впрочем, еще при Порошине приходилось Павлу участвовать в военных упражнениях, например, на маневрах под Красным Селом в 1765 году. Мальчуган в это время числился командиром Кирасирского полка. Он был в восторге, что на нем кираса, а в руках настоящий палаш. Но тогда все еще было невинно. Павел «на месте баталии, верхом сидя, покушал кренделя» и мирно поехал домой спать в сопровождении своего миролюбивого воспитателя. Теперь четырнадцатилетний Павел чересчур озабочен вопросами военной дисциплины.

В то время, когда Екатерина и ее фавориты удивляли Европу своею роскошью, превосходным знанием французского языка и умением наслаждаться прелестями счастливой Цитеры, народ задыхался в тисках крепостного права, рекрутчины и произвола судейских. Павлу пришлось и об этом подумать — особливо, когда в Москве появилась моровая язва, а потом начался бунт. Павлу казалось, что эти веселящиеся вельможи готовят ему плохое наследство. Ему в это время было шестнадцать лет.

Царедворцы были тесно связаны с дворянством и с гвардией. Екатерина получила корону с их помощью. Всю жизнь, с первых лет царствования, императрица сознавала свою зависимость от этих привилегированных кругов. Но Павлу были ненавистны избалованные аристократы и распущенные гвардейцы. Они все представлялись ему цареубийцами. Он привык уже критиковать политику Екатерины. Эта политика ему казалась лицемерной. В самом деле, не она ли, императрица, созвала депутатов в «Комиссию для сочинения проекта нового уложения»? Не она ли сочинила для них «Наказ», где излагала с присущей ей самоуверенностью идеи Монтескье и Беккариа? Не она ли мечтала об общем благе и о справедливости? Но разве ее поступки соответствовали тем идеям, которые она исповедывала в письмах к Вольтеру? Никогда еще дворянство не пользовалось такими преимуществами, как теперь. Екатерина как будто платила за те услуги, которыми она воспользовалась в 1762 г. И Павел возненавидел дворян. Нет, он будет не на словах, а на деле заботиться об общем благе. Никаких привилегий. Он законный претендент на престол. Ему не надо ничьих услуг. И ему не придется оплачивать этих титулованных холопов.

Его отец Петр III едва ли уже был так неразумен и плох, как об этом рассказывают фавориты Екатерины. Недаром где-то на Урале воскрес его призрак. Говорят, какой-то смельчак назвал себя императором Петром и двинулся на Запад, вербуя своих сторонников и громя дворянские усадьбы. Со странным чувством следил Павел за восстанием Пугачева. Военные отряды, посланные царицей, разбиты и бежали. Крестьяне и казаки идут все дальше и дальше, занимая Поволжье, угрожая отрезать от столицы огром-

ные пространства. О, конечно, это идет «вор и разбойник». Но нет ли в этом страшном мятеже справедливого возмездия за убийство «законного» царя, за это окончательное закрепощение народа, за эту безумную расточительность развратных фаворитов.

В это время Никита Иванович Панин, ревностный масон, давал читать Павлу таинственные рукописные сочинения, где доказывалось, что император должен блюсти благо народа, как некий духовный вождь. Император должен быть посвященным. Он помазанник. Не церковь должна руководить им, а он церковью. Эти безумные идеи смешались в несчастной голове Павла с тою детскою верою в промысл божий, которую он усвоил с младенческих лет от царицы Елизаветы и мамушек, и нянек, которые лелеяли его когда-то. И вот Павел стал мечтать об истинном самодержавии, которое осчастливит весь народ. Поскорее бы только осуществить свое право!

Нашлись, конечно, люди, которые внушали Павлу, что его час настал. 20 сентября 1772 года был день его совершеннолетия. Многие были уверены, что Екатерина привлечет к управлению страною законного наследника. Но этого, разумеется, не случилось. Павлу пришлось запастись терпением. Он даже признался матери, что дипломат Сальдерн соблазнял его немедленно настаивать на его, цесаревича, правах. Гнев Екатерины был велик. А Павел писал в это время покаянные письма своему коварному любимцу, графу Андрею Разумовскому. У Екатерины были свои агенты, которые зорко следили за Павлом, и она прекрасно знала, какой романтический бред о самодержавии владел головою наследника. Трезвая царица решила отвлечь Павла от этих, по ее мнению, сумасбродных идей. Молодого человека надо было женить. Выбор Екатерины остановился на Вильгельмине, дочери ландграфини Гессен-Дармштадтской. Этому сватовству предшествовали весьма сложные придворные интриги и дипломатическая игра. В конце концов, ландграфиня с Вильгельминою и ее сестрами согласились приехать в Петербург.

Ассебург в письме к графу Панину из Дармштадта дал характеристику невесты Павла: «На сколько я знаю принцессу Вильгельмину, — писал он, — сердце у нее гордое, нервное, холодное, быть может, несколько легкомысленное в своих решениях»...

Павла вовсе не посвящали в предварительные переговоры по делу о его браке. В Любек была отправлена особая эскадра, которая должна была привезти в нашу столицу Гессен-Дармштадтское семейство. Одним из фрегатов командовал граф Разумовский. Он был всего только на два года старше Павла, но уже успел приобрести немалую опытность. Он учился сначала в Петербурге у Шлецера, потом в Страсбургском университете, а военное свое образование завершил службою в английском флоте. Вернувшись из Англии, он внушил Павлу чрезвычайное расположение к себе. Павел, кажется, не знал одной особенности Разумовского. Этот блестящий молодой граф пользовался необыкновенным успехом у дам, прелестями коих он любил наслаждаться, не считаясь с правилами строгой нравственности. Путешествие от Любека до Ревеля Разумовский совершил на фрегате, где находилась ста-

рая ландграфиня со своими дочерьми. Повидимому, он произвел тогда же сильное впечатление на невесту Павла, Вильгельмину.

Павел, в свою очередь, влюбился в девицу, которая ему предназначалась в жены. Архиепископ Платон, учитель Павла, наставлял ее православию. Она приняла имя Наталии Алексеевны. В августе отпраздновали ее обручение с наследником. То, что Вильгельмина приняла православие, дало повод для острот Вольтеру и Фридриху II. Их веселость разделяла и Екатерина, которая сама, однако, настояла на принятии принцессою церковного вероучения, ибо это было, — как она думала, — необходимо по соображениям политическим.

Бракосочетание состоялось 29 сентября 1773 года. Среди пышных торжеств и празднеств Павел сохранял любезный и приветливый вид, о чем свидетельствуют иностранные дипломаты. Однако жениха и молодожена волновала какая-то мрачная мысль. Надо было побороть это опасное настроение. У Павла явилась потребность поделиться с кем-нибудь своими чувствами. Он решил, что лучше всех его поймет граф Разумовский. И он тогда же написал ему: «Дружба ваша произвела во мне чудо: я начинаю отрешаться от моей прежней подозрительности, но вы ведете борьбу против десятилетней привычки и побораете то, что боязливость и обычное стеснение вкоренили во мне. Теперь я поставил себе за правило жить как можно согласнее со всеми. Прочь химеры, прочь тревожные заботы»... Однако освободиться от этих тревожных забот и химер не так было легко. Трудно даже понять иногда, где начинается действительность и где сон. Едва окончились празднества по поводу бракосочетания цесаревича, как в Петербурге было получено известие о Пугачевском мятеже. Слухи были так загадочны, что это давало повод для всевозможных сумасшедших проектов, в коих имя Павла называлось неоднократно. Даже Андрей Разумовский, заметив в простом народе расположение к Павлу, будто бы в порыве искренних чувств затеял разговор с цесаревичем о его правах на престол, и Павлу пришлось грозным взглядом принудить дерзкого к молчанию.

Все тревожило Павла — и такие огромные события, как Пугачевский бунт, и такие мелочи, как осколки стекла, случайно попавшие в блюдо сосисок, которое было подано на ужин его высочеству. Павел, разгневанный, пришел к Екатерине и заявил, что дворцовые слуги покушаются на его жизнь.

И вообще все шло не так, как надо. В это время высоко поднялась на государственном небосклоне звезда Потемкина. Это уже был не «дуралей» Орлов и не Васильчиков, человек незначительный, а умный, способный и надменный временщик.

По мнению Павла, однако, этот Потемкин ничего не понимал в государственных делах. У него, Павла, есть своя программа. В 1774 году он представил императрице записку — «Рассуждения о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов».

Смысл записки был в том, что России надо вести не наступательную, а оборонительную политику. Расширять пределы России нет надобности.

Армию надо сократить, но зато подчинить ее строгой регламентации. Надо стремиться к экономии прежде всего. Одним словом, в этой записке была резкая критика Екатерининской программы. Императрица поняла тотчас, что ее пути с наследником разошлись окончательно. Она не очень скрывала от него свои чувства.

Сторонники Екатерины презирали Павла. Пугачевский бунт, хотя и задушенный правительством, странным образом напоминал знати о тех требованиях, какие пред'являл Павел. Мятежники как будто перекликались с наследником престола. И Пугачев, и Павел тревожили тень убитого Петра III, приписывая ему добродетели, каких у него, вероятно, вовсе не было. Правда, Павел был в ужасе от побед страшного самозванца, но он доказал впоследствии, что у него к дворянству было не меньше ненависти, чем у этого беглого казака.

Музыка придворных празднеств, шум Екатерининских дворцов, звон бокалов и пение кантат — ничто не могло заглушить мятежных воплей, которые доносились до столицы от дебрей Урала и степей Поволжья. Пылали дворянские усадьбы; бежали в панике отряды, руководимые испытанными генералами; передавались бунтовщикам тысячи казаков, крестьян и горожан; находились даже попы и офицеры, присягавшие Пугачеву в надежде, что он отнимет власть у Екатерины... Понадобилось послать Петра Панина и самого Суворова, чтобы они усмирили губернии, охваченные огнем восстания. Павел, быть может, догадывался о смысле этого огромного бунта. Быть может, он понял слова самого Пугачева, сказанные им графу Панину: «Я вороненок, а ворон-то еще летает»... 10 января 1775 года отрубили голову тому, кого Пушкин назвал «славным мятежником». Память о нем сохранилась навсегда не только в народе, но и во дворце. И среди услад брачного алькова Павлу мерещилась окровавленная голова казненного.

Павел был влюблен в свою жену. Он слепо ей верил. И когда однажды Екатерина, раздраженная честолюбивыми мечтаниями великой княгини, постаралась внушить Павлу недоверие к жене и к его и ее другу А. М. Разумовскому, из этих внушений ничего не вышло. Ему, Павлу, Наталья Алексеевна казалась существом прекрасным и безупречным. Ее дружба с Разумовским была, как он думал, исполнена чувств совершенно невинных и целомудренных. Только в апреле 1776 года, когда, после неблагополучных родов, она умерла, несчастный Павел убедился, что жена его была любовницей того самого Разумовского, с которым он так доверчиво делился сокровенными чувствами и мыслями. Екатерина нашла в шкатулке покойной письма ее возлюбленного и не утаила их от молодого вдовца.

III.

Незадолго до женитьбы цесаревича на Вильгельмине Гессен-Дармштадтской с ним случилась странная история.

Однажды Павел засиделся до поздней ночи со своими друзьями, разговаривая и куря трубку. Светила ярко луна, и он решил прогуляться по

Петербургу инкогнито в обществе князя Куракина. Была ранняя весна. Тени ложились по земле длинные и густые, а воздух весь был пронизан стальным прохладным сиянием.

Князь Куракин, не замечая меланхолии Павла, шутил насчет запоздавших прохожих. Петербург был, как всегда, таинственный и прекрасный. Дворцы Растрелли и Гваренги казались в эту лунную ночь волшебным сном, ни с чем не сравнимым.

При повороте в одну из улиц, где мощные гранитные стены были неожиданно похожи на призрачные декорации, Павел заметил на крыльце одного дома высокого и худого человека, завернутого в плащ, вроде испанского, и в военной, надвинутой на глаза шляпе. Он, казалось, поджидал кого-то, и, как только молодые люди миновали его, он вышел из своего убежища и подошел к Павлу с левой стороны, не говоря ни слова. Невозможно было разглядеть черты его лица; только шаги его по тротуару издавали странный звук, как будто камень ударялся о камень. Этот спутник показался Павлу несовсем обыкновенным. Он шел рядом, почти касаясь цесаревича, и Павел почувствовал, как остывает его левый бок, как будто он прислонился к глыбе льда.

Павла охватила дрожь, и он, обернувшись к Куракину, сказал:

— У нас странный спутник.

— Какой спутник? — спросил Куракин.

— Вон тот, что идет слева и стучит каблуками.

Но Куракин никого не видел.

Зато Павел не сомневался в том, что его преследует кто-то. Цесаревич стал внимательно рассматривать незнакомца. Павел заглянул к нему под шляпу и встретил взгляд, который покорил и очаровал его.

Павел дрожал не от страха, а от холода. Какое-то странное чувство овладело им и проникало в сердце. Ему казалось что кровь у него стынет.

Вдруг из-под плаща раздался глухой и грустный голос:

— Павел!

Цесаревич невольно откликнулся, удивляя Куракина:

— Что тебе нужно?

— Павел, — повторил тот. — Бедный Павел! Бедный государь!

— Слышишь? — спросил цесаревич Куракина. Но и на этот раз Куракин ничего не слышал.

А спутник продолжал говорить Павлу:

— Не увлекайся этим миром. Тебе не долго в нем жить, Павел.

Молодые люди вышли на площадь около Сената.

— Прощай, Павел, — сказал незнакомец, — ты меня снова увидишь, здесь...

И Павел тотчас узнал орлиный взор, смуглый лоб и строгую улыбку прадеда.

Они стояли как раз на том месте, где, по воле Екатерины, воздвигнут был впоследствии Фальконетом памятник Великому Петру.

Сам Павел придавал своей галлюцинации особый смысл и был уверен, что видение не было случайною игрою больного воображения. Однажды, будучи за границей, он рассказал о своем видении. Этот рассказ тогда же, летом 1772 года, был записан баронессою Оберкирх. Он дал серьезный повод предположить, что голова бедного наследника не в порядке, что рано или поздно на Российский престол взойдет безумец.

Надо сказать, что во время этой фантастической прогулки по лунному Петербургу Павел был уже причастен тайнам масонства. Масоном был и его спутник Куракин. Суеверие великого князя и трезвость его друга легко мирились с тогдашнею практикою «вольных каменщиков». В ложах не было строгой идейной дисциплины: позволялось мыслить, покорствуя личным склонностям. Суть дела была в одном — в отрицании материализма, с одной стороны, и в соперничестве с христианскою церковью, — с другой. Очевидно, митрополит Платон сознательно или невольно уступил своего воспитанника Н. И. Панину, который был, как известно, влиятельный масон. И. В. Лопухин даже восхвалял в стихах графа Панина за то, что он ввел Павла в сообщество иллюминатов:

О, старец, братьям всем почтенный,
Коль славно, Панин, ты успел:
Своим премудрым ты советом
В храм дружбы сердце царско ввел...
Грядущий за твоим примером,
Блажен стократно он масон...

Кроме того, Павел, следуя примеру Петра III, весьма чтил Фридриха Великого, который покровительствовал масонам. Из Пруссии получались масонские книги и рукописи. Их жадно читал цесаревич в надежде, что он познает истину. Братья-масоны внушали, между прочим, мечтателю, что его будущее самодержавие провиденциально, что он, как посвященный, будет возглавлять не только государство, но и церковь. Эти идеи не казались Павлу жалким бредом. Он с ужасом смотрел на свою коронованную мать, которая, по его представлению, кощунственно владела престолом. Безбожница! Она смеялась над святыней. Нет, он, Павел, будет молиться часами перед иконами. Ему не приходило в голову, что братья-масоны лишь до поры до времени терпят его суеверие; он не догадывался, что именно из масонских кругов выйдут не в далеком будущем те самые «якобинцы», которых он впоследствии считал врагами рода человеческого.

Сухой, ясный и насмешливый ум Екатерины не позволял ей отнестись к масонству с доверием и сочувствием. Она изучила масонскую литературу и сочинила на братьев-каменщиков три сатирических комедии. Впрочем, наступили дни, когда ей пришлось бороться с вредным, по ее мнению, сообществом иными средствами — и арестами и ссылками. Расправа с Новиковым всем известна. Сами масоны об'ясняли эти кары тем, что были установлены следствием сношения Новикова с цесаревичем. Преступность этих связей в глазах Екатерины усугублялась еще близостью Павла к дипломатическим агентам Берлина. Иллюминаты возлагали надежды на Павла.

В московском издании «Магазин свободно-каменщической» имеются хвалебные вирши, обращенные к Павлу.

История не оправдала масонского оптимизма. Павлу слишком долго пришлось ждать престола, и он занял его сорока двух лет, с душою уже помраченною и больною. Впрочем, масонские вожделения были не лучше странных идеалов безумного самодержца.

IV.

Екатерина решила утешить обманутого и оскорбленного вдовца. С обычной фривольною игривостью она писала Гримму, как она ловко повела дело и убедила цесаревича в необходимости жениться. Она подыскала ему невесту. Это была Виртембергская принцесса, София-Доротея, внучатная племянница Фридриха II, который сочувствовал этому браку. Софии-Доротее, принявшей в православии имя Марии Федоровны, суждено было сыграть немалую роль в жизни Павла.

Эта юная принцесса, миловидная и сантиментальная, была воспитана в духе Руссо. Павел встретился с нею в Берлине, где Фридрих II, несмотря на свойственную ему скупость, чествовал русского наследника престола с необыкновенною пышностью. Хитрый король готовил себе будущего могущественного союзника. Павел был польщен. Невеста ему понравилась.

Сантиментальная принцесса влюбилась в Павла не менее, чем он в нее. Она так же, как и он, изливает свои взволнованные чувства в письмах к родным и подругам. Что касается до знаменитого прусского короля, то он, угождая Павлу и его державной матери, повидимому, не утратил, однако, своей наблюдательности и скептицизма. В его исторических опытах имеются следующие любопытные строки, относящиеся к Павлу: «Он показался гордым, высокомерным и резким (altier, haut et violent), что заставило тех, которые знают Россию, опасаться, чтобы ему не было трудно удержаться на престоле, на котором, будучи призван управлять народом грубым и диким (dure et féroce), избалованным к тому же мягким управлением нескольких императриц, он может подвергнуться участи, одинаковой с участью его несчастного отца».

Холодный рационалист, но зоркий соглядатай душ и сердец, Фридрих Второй как будто угадал судьбу Павла. Это предвидение тем более замечательно, что цесаревич вовсе не на всех производил такое мрачное впечатление. Некоторые мемуаристы восхищаются внешностью и характером великого князя. Мария Федоровна в числе этих панегиристов: «Великий князь очаровательнейший из мужей... — писала она подруге своего детства — Дорогой мой муж — ангел. Я люблю его до безумия». Вот какие чувства внушил женщине Павел Петрович, но сам он сознавал особенности своего характера. В интереснейшем письменном «наставлении», которое он приготовил и вручил своей невесте, есть, между прочим, следующее предупреждение: «Ей придется прежде всего вооружиться терпением и кротостью, чтобы сносить мою горячность и изменчивое расположение духа, а равно мою

нетерпеливость»... Он мог бы прибавить и еще кое-что о странностях своего характера. Повидимому, вскоре он и сделал это. Павел признался своей возлюбленной, что его душа наполнена призраками, которые внушали ему ужас. Он, великий князь, любезен и приветлив; иным он кажется остроумным и добродушным; у него есть царственная самоуверенность и свой собственный стиль: но за этою маскою таится слепой и мучительный страх. Чего он боится? О, разве мало привидений вокруг него! Разве по ночам не стоит перед ним загадочный мертвый Петр III, как будто призывая его, Павла, к отмщению? Разве не мерещится ему красивое холодное и непонятное лицо покойной великой княгини Натальи Алексеевны, чьи ноги он целовал, не подозревая, что она отдается бесстыдному ловеласу Разумовскому? А разве не страшно живое и как будто светлое, как будто открытое, как будто милостивое лицо императрицы Екатерины? Разве эта самодержавная властительница его судьбы не ужаснее всех покойников? Что у нее на уме, у этой великолепной царицы? Не грозит ли ему, Павлу, такая же участь, какая постигла Иоанна Антоновича или Петра Федоровича?

«Богу известно, каким счастьем представляется для меня вскоре принадлежать вам, — писала Павлу невеста, — вся моя жизнь будет служить вам доказательством моих нежных чувств»... «Покойной ночи, обожаемый и дорогой князь, спите хорошо, не беспокойтесь призраками (n'ayez pas des fantômes), но вспоминайте немного о той, которая обожает вас».

«Не беспокойтесь призраками!» — Легко давать такие советы, но как их исполнить? Удалить призраки не в нашей власти. Они преследуют больную душу. Напрасно несчастный мечтает освободиться от этих видений. А у Павла жизнь складывалась так, что он с каждым годом становился все более и более мнительным и подозрительным. Для его подозрительности были серьезные основания. При первом знакомстве с Марией Федоровной Екатерина оказала ей свое внимание и расположение. Под первым впечатлением от этой встречи у властолюбивой императрицы явилось желание обласкать и очаровать молодоженов. У них состоялся ряд свиданий, на коих Екатерина держала себя, как нежная мать. Павел, со свойственной ему экспансивностью, тотчас же откликнулся на милостивое дружелюбие царицы. Но эта идиллия не долго продолжалась. Главное, у Екатерины и Павла были различные вкусы. В Павле проснулись те самые интересы и настроения, какие были характерны для Петра III — симпатии к Пруссии, восхищение ее порядками и военной дисциплиной. Политическая программа вытекала из этих увлечений мнимою гармонией прусской государственности.

Павлу не хотелось расширять пределы Российской империи. Ему хотелось сосредоточить ее силы, замкнуть их в рамки существующей территории, привести в порядок весь этот громоздкий хаос запутанных дел и отношений. А у Екатерины были другие планы. Ей была нужна великолепная панорама империи-победительницы, империи-завоевательницы. Отсюда ее войны на Юге, борьба с Оттоманскою Портою, с Польшей и невольная война со Швецией. В то же время ей нужно было кокетничать с Европою своим либерализмом. У нее была потребность переписываться с Гриммом, с Вольте-

ром, со всеми знаменитостями, занимавшими воображение европейских салонов. У Павла были другие корреспонденты. Из Берлина, из Швеции, из Москвы он получал тайно письма и сочинения масонов. Об этих сношениях подозревала Екатерина. Она понимала, что с ее смертью, если Павел взойдет на престол, вся ее государственная программа будет уничтожена в первые же дни его правления. И она задумала отстранить Павла от престола. И он об этом догадывался.

Жизнь Павла протекала в семейном быте, в политическом бездействии, не лишенном, однако, острого и враждебного внимания к государственным делам. Своими мрачными впечатлениями от политики Екатерины он откровенно делился с Н. И. Паниным, и они единодушно осуждали большой двор, где, по выражению Павла, «боятся не страшного и смеются не смешному». Весною 1777 г. великая княгиня забеременела. Осенью пришлось переехать в Зимний Дворец, покинув Павловск, который был подарен Екатериною молодым супругам. Они уезжали в меланхолии, как будто предчувствуя, что там, в Петербурге, их ожидает что-нибудь недоброе. В самом деле в эту осень постигло столицу ужасное бедствие: приезд великокняжеской четы совпал с самым страшным в летописях Петербурга наводнением. Суеверный Павел в ужасе смотрел на огромные пасти волн, готовые поглотить всех на их путях. Ему казалось, что эта темная стихия угрожает безбожному городу, мстя за преступления коронованных убийц.

Едва потускнело в душе Павла мучительное впечатление от буйства непокорной Невы, как на его долю выпало новое испытание. На этот раз в нем был оскорблен не почтительный сын, не ревнивый любовник, не претендент на престол, а муж, отец и семьянин. Когда 12 декабря 1777 года родился в семье цесаревича столь желанный им сын Александр, этот младенец был, по требованию императрицы, отнят от матери и отца и отдан на попечение особых воспитательниц, назначенных Екатериною. В известные сроки разрешалось Марии Федоровне навещать ребенка, но ни ей, ни Павлу не доверяли воспитание будущего императора. Екатерина, очевидно, тогда уже рассчитывала подготовить ребенка к судьбе престолонаследника. Так отняты были от родителей все их дети — Александр, Константин, Николай. Той же участи подверглись и дочери Павла. Он должен был покорствовать, стиснув зубы, затаив мучительное чувство. Одного этого испытания было бы достаточно для того, чтобы потерять душевное равновесие. И Павел все менее и менее владел собою.

В 1780 году политика Екатерины определилась очень твердо. Русское правительство порвало связь с Пруссией и сблизилась с Австрией. С таким направлением нашей дипломатии Павлу трудно было мириться. Но Екатерина была непреклонна. В конце 1781 года, в связи с новой политической программой, у Екатерины явился план отправить великокняжескую чету за границу. Согласно ее программе, Павел должен был посетить Австрию, Италию и Францию. Берлин, о котором мечтал Павел, в маршрут цесаревича не вошел. И на этот раз Павел повиновался, не посмев настаивать на свидании с Фридрихом II.

Павел путешествовал под именем князя Северного. Европейские дворы встречали Павла с таким почетом, какого он не знал у себя в России. Это льстило ему и волновало его честолюбивое сердце. А между тем в Европе многие сознавали, как странно и двусмысленно положение великого князя. В придворном Венском театре предполагалось поставить Гамлета, но актер Брокман отказался играть, сказав, что, по его мнению, трудно ставить на сцене Гамлета, когда двойник Датского принца будет смотреть спектакль из королевской ложи.

Из Вены Павел с женою поехал в Италию. Он посетил Венецию, Падую, Флоренцию, Болонью, Анкону, Рим, Неаполь. В Неаполе он встретился с обольстителем своей первой жены. Разумовский был там нашим послом. В это время он находился в связи с королевой Неаполитанской. Рассказывают, что, увидев своего оскорбителя, Павел будто бы обнажил шпагу и предложил ему поединок, который не состоялся, благодаря вмешательству свиты. В Риме у Павла было несколько свиданий с Пием VI. Во Флоренции в страстном порыве Павел не удержался от резких порицаний Екатерининских фаворитов. Путешественники побывали в Ливорно, Парме, Милане и Турине. Оттуда через Лион князь Северный со свитою поехал в Париж.

Это был канун Большой Французской Революции.

V.

Совершая свою поездку от Лиона до Парижа, будущий император России не мог не видеть резких контрастов сельской жизни. Пышные шато дворян, епископов, откупщиков и нищие, крытые соломою, хижины крестьян и фермеров красноречиво говорили о том, что не все благополучно в этой «прекрасной Франции». Правда, глаз будущего властелина мог уже привыкнуть к подобным контрастам и в тогдашней России, но там многомиллионное население дремало и лишь изредка дико кричало в кошмарном сне какой-нибудь пугачевщины. Здесь, во Франции, мятежи стали явлением обычным и вошли в традицию. В одной Нормандии — как точно сообщил один кавалер Павлу — бунты из-за хлеба отметили собою ряд лет — 1725, 1737, 1739, 1752, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 и так далее, и так далее. Чем ближе к дням кроткого Капета, тем чаще вспыхивали эти огни, освещавшие сумерки обреченной на гибель ветхой государственности.

Когда Павел со свитою останавливался в городах и селениях, к его удовольствию он ни в чем не чувствовал недостатка. Он был окружен комфортом, который казался глазевшим на него крестьянам непростительною роскошью и бесстыдною расточительностью. Крестьяне не могли думать иначе. Как раз в этом году в равнине Тулузы они не ели ничего, кроме маиса, и то в небольшом количестве; в других местностях сельскому населению приходилось еще хуже — даже каштаны и гречиха считались лакомством. В Лимуссене питались репой; в Оверни — смесью ячменя и ржи. Крестьяне почти не видели хорошего пшеничного хлеба.

Павел, интересовавшийся армией прежде всего, не мог не обратить внимания на то, что из 90 миллионов, которые тратила казна Людовика XVI на содержание армии, 46 шло на офицеров и лишь 44 на солдат. Если принять во внимание, что на каждого офицера приходилось до 50 и более нижних чинов, то становится очевидною безобразная несправедливость в распределении государственных средств. Павлу казалось, что система эта напоминает порядки Екатерины. В народе слагались легенды, также иногда похожие на наши российские мифы о народном царе. Этими легендами охотно пользовались во время мятежей, приписывая королям то, что у нас мужики приписывали царю. «Крестьяне все время говорят, что у нас грабежи и разрушения, которые они учиняют, соответствуют желанию короля». — В Оверни крестьяне, сжигающие замки, выказывают большое отвращение к подобному плохому обращению «с такими хорошими господами»: они ссылаются на то, что ничего не поделаешь — «приказ непреклонен и они имеют уведомление, что его величество так хочет». Лет через десять легенда о народолюбивом короле была разоблачена, но тогда еще пользовались ею, крича «Долой подати и налоги! Долой привилегированных!»—«Грабили магазины, рынки, замки, сжигали списки недоимщиков, счетные книги, думские архивы, помещичьи библиотеки, монастырские пергаменты — все подлые бумаги, которые создают повсюду несчастных и угнетенных».

Впрочем, Павел об этом скорее мог догадаться, чем точно знать. Пестрая и великолепная панорама аристократической и придворной жизни искажает перспективу истории.

При в'езде в Париж Павел не мог, однако, не заметить, как роскошны золотые экипажи коронованных особ и знати и как нищи и грязны улицы, где, за отсутствием тротуаров, несчастные пешеходы рискуют головою: дворяне любили бешено гнать своих лошадей, давя народ. В это время в салонах говорили о правах человека, с наслаждением читали Вольтера, смеялись вместе с веселыми кардиналами над суеверием отцов, цитировали Дидро, вздыхали над Руссо, декламировали непристойные стихотворные повести Лафонтена. Предчувствовало ли это привилегированное общество свою гибель?

В начале мая великокняжеская чета приехала в Париж. В первый же день Павел инкогнито присутствовал на торжественной мессе и видел процессию кавалеров Св. Духа. Он был очарован великолепием Версаля. Представляясь королю, он сумел сказать любезные слова, не теряя достоинства, на что застенчивый Людовик XVI отвечал не слишком складно. Мария Антуанетта была в восторге от визитов Павла и его жены.

Торжества и празднества шли неизбежною вереницею по случаю их приезда. Слушали оперу в волшебной зале Версальского театра, участвовали в блестящем празднике в Малом Трианоне. «Графиня Северная имела на голове маленькую птичку из драгоценных камней, на которую едва можно было смотреть: так она блистала. Она качалась на пружине и хлопала крыльями по розовому цветку»... Сад был чудесно иллюминован. Потом был бал в Зеркальной галлерее Версаля. Роскошь этого бала была необы-

чайна. Павел говорил остроты, которые передавались из уст в уста. На другой день был смотр французской гвардии на Марсовом поле. Потом устроена была поездка в Шантильи, где гостей чествовал принц Конде. Здесь не любили вольтерьянцев. Вольнодумцы чувствовали себя лучше в Пале-Рояле. В Шантильи, после спектакля, ужинали на острове Любви, а на другой день охотились на оленей.

Возвращаясь из королевско-аристократического дворца Конде, Павел и Мария Федоровна посетили могилу Руссо в Эрменонвиле, очевидно, не подозревая, что они преклоняют свои колени перед тем самым философом, которого в это время благоговейно читал Робеспьер.

Павла и его жену угощали пирами и балами каждый день, — между прочим, граф д'Артуа и граф Прованский. Ни Павел, ни эти графы не предвидели, что они встретятся при совершенно иных обстоятельствах: принц Конде, граф д'Артуа и граф Прованский спустя несколько лет бежали от огня революции и нашли убежище в России, выпросив субсидии и покровительство у Павла Петровича.

Цесаревич удивлял парижан знанием французского языка и французской культуры. Гримм рассказывал, что, посещая мастерские художников, русский принц обнаружил тонкий вкус и немалые знания. Он осмотрел Академию, музеи, библиотеки и всевозможные учреждения, всем интересуясь. Бомарше читал ему еще ненапечатанную тогда «Свадьбу Фигаро». Поэты подносили ему груды мадригалов и од.

И вот в разгаре этих торжеств и успехов Павел неожиданно получил от Екатерины грозное письмо. Оказывается, была перехвачена переписка наперсника Павла, князя Куракина, с Бибиковым, который в своей корреспонденции отзывался неуважительно об Екатерине и ее фаворитах.

Слухи о неладах императрицы с наследником дошли до Людовика XVI, и король однажды спросил Павла, имеются ли в его свите люди, на которых он мог бы вполне положиться. На это Павел ответил с присущей ему выразительностью: «Ах, я был бы очень недоволен, если бы возле меня находился хотя самый маленький пудель, ко мне привязанный: мать моя велела бы бросить его в воду, прежде чем мы оставили бы Париж».

Восьмого июня Павел уехал из столицы Франции. В Россию они возвратились через Вену, минуя — по приказанию императрицы — опасный Берлин. Они прибыли в Петербург 20 ноября 1782 года.

Глухая вражда императрицы и Павла продолжалась. Бибиков был сослан. Такой же участи в более мягкой форме подвергся Куракин. Умер Никита Иванович Панин. Цесаревич, лишенный друзей и сочувствующих, был окружен враждебными интригами, и для его мнительности было слишком много поводов. Он был даже удивлен, когда 12 мая 1783 года, после присоединения Крыма, Екатерина удостоила его серьезной беседы по вопросам международной политики. Павел отметил это в своем дневнике, как «доверенность ему многоценную, первую и удивительную».

Вскоре у Марии Федоровны родилась дочь Александра, и Екатерина подарила по этому поводу цесаревичу «мызу Гатчино». Она была куплена

у наследников бывшего любовника царицы, знаменитого своей веселостью Григория Орлова, который умер, однако, как многие весельчаки, в припадках дикой меланхолии. Политический разговор Екатерины с Павлом и ее дар Гатчино были последними ее милостями сыну.

Наступает тринадцатилетний «гатчинский» период жизни Павла. Здесь созрели окончательно политические идеи будущего императора; здесь определился его характер; здесь он создал своеобразный и мрачный быт; здесь душа его, уже отравленная ревнивыми мечтами о власти ничем не ограниченной, заболела страшным недугом.

Екатерина зорко следила за отстраненным от власти Павлом. Ее любимый внук Александр был окружен новыми воспитателями и учителями. Среди них был швейцарский вольнодумец Фридрих Лагарп. И этот воспитатель, как и все прочие, был назначен императрицей без ведома Павла. С цесаревичем вовсе не считались. Но Павел не мог с этим примириться. В письмах к графу Н. П. Румянцеву его сетования похожи на вопль: «Тридцать лет без всякого дела!». Чтобы чем-нибудь занять себя, Павел стал настоящим гатчинским помещиком. В этом хозяйстве, однако, был свой стиль — «Павловский стиль». В Павловске работали замечательные мастера — Камерон, Гваренги, Бренна, Скотти, Гонзаго, Баженов... Но Екатерина была скупа, когда деньги просил Павел. Поэтому зодчие и художники были связаны экономией. От этого великолепные замыслы казались странными и смешными, как, напр., псевдороманская крепость Бип. Зодчий Бренна, по воле Павла, построил покорно в Павловске средневековую крепость с донжоном, с остроконечными башнями, со всеми грозными атрибутами воинственной эпохи, но эта постройка, благодаря своему малому масштабу, производит впечатление игрушечное и комическое. Бедный Павел! Будучи взрослым и зрелым человеком, он играл роль самодержца в своем небольшом поместье, как мальчики играют, забавляясь ненастоящими крепостями и ненастоящими армиями.

И Павел создал в Гатчине свою особую армию. Сначала она состояла всего лишь из восьмидесяти человек. Ими командовал капитан Штейнверг, которому были известны все тайны и тонкости экзерцирмейстерства Фридриха Второго. Впрочем, с каждым годом эта игрушечная армия увеличивалась, благодаря настойчивости Павла. Введена была та военная дисциплина, какая применялась в Пруссии. Вся эта затея напоминала Екатерине военные увлечения ее покойного супруга, но она не считала возможным отнять у Павла его забаву. Императрица не угадала в Гатчинской армии той военной и политической идеи, которая надолго определила судьбу нашей государственности. Эта идея пережила безумного императора. Она пережила и самого вдохновителя этой идеи — Фридриха Великого, который умер в 1786 г. С ним Павел находился в постоянных сношениях вплоть до его смерти, о чем Екатерине неизменно доносили ее агенты.

1788 год был годом испытаний для России. Нашему правительству пришлось вести две войны — с Оттоманской Портою и со Швецией. Павел решился просить Екатерину о позволении отправиться на театр военных

действий. Императрица, боясь столкновения Павла с Потемкиным, не разрешила ему ехать в Южную армию. Павел отправился на север, где немедленно поссорился с главнокомандующим Мусиным-Пушкиным. Ему только однажды удалось побывать под огнем неприятеля. Кампания окончилась для нас благоприятно. Павел был отозван Екатериной до окончания военных действий, ибо ему самому пришлось уведомить императрицу, что неприятельские генералы пытались вести с ним, Павлом, переговоры, минуя Петербургское правительство. Этого, конечно, Екатерина не могла потерпеть.

О военных подвигах Павла Екатерина отзывалась насмешливо. Он даже не получил георгиевского креста, на который он имел право рассчитывать.

Снова, поневоле, уединившись в Гатчине, Павел занялся формированием своей маленькой армии. Теперь у него было уже около двух тысяч солдат; были орудия; был даже игрушечный флот. Люди, правда, были живые, не игрушечные, но маршировали они, как заведенные автоматы. Одеты они были на прусский манер, все в париках с косами, усыпанных мукою. На улицах Гатчины стояли прусские полосатые будки. И на гауптвахтах наказывали солдат совершенно так же, как в Берлине — немилосердно и педантично. Зато кормили солдат изрядно, и офицеры не смели обижать нижних чинов зря, без нарушения дисциплины. Воспитывался особый тип гатчинского служаки, покорного царского раба и жестокого фронтовика. Идеальным типом такого офицера был Алексей Андреевич Аракчеев, любимец Павла, злой гений Александра.

Надо представить себе лицо или маску Аракчеева, ибо сам Павел без этого спутника не вполне понятен и выразителен. В своих записках Н. А. Саблуков оставил для потомства портрет будущего временщика: «По наружности, — пишет мемуарист, — он походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав и жилист; в его складе не было ничего стройного, так как он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на которой можно было изучить анатомию жил и мышц. Сверх того, он странным образом морщил подбородок. У него были большие мясистые уши, толстая безобразная голова, всегда наклоненная в сторону. Цвет лица его был нечист, щеки впалые, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот огромный, лоб нависший. Наконец, у него были впалые серые глаза, и все выражение его лица представляло странную смесь ума и лукавства. Будучи сыном мелкопоместного дворянина, он был принят кадетом в кадетский корпус, где он настолько отличился своими способностями и своим прилежанием, что вскоре был произведен в офицеры и назначен преподавателем геометрии; но он оказался таким тираном в обращении с кадетами, что вскоре был переведен в артиллерийский полк»... Оттуда он попал в Гатчину.

Павел полюбил его. Почему? Кажется, будущий император дорожил им прежде всего потому, что в этом верном рабе он чувствовал какую-то опору. Опора была нужна безумному цесаревичу, который изнемогал в тщетной борьбе с призраками. Почти все мемуаристы говорят об этом бреде Павла. Так и Ф. В. Растопчин в письме к графу С. Р. Воронцову говорит о том, что Павел постоянно не в духе, ибо голова его «наполнена призра-

ками». Иностранцы также обращали внимание на странности великого князя. Сегюр, например, в своих мемуарах пишет: «Павел желал нравиться; он был образован, в нем замечалась большая живость ума и благородная возвышенность характера... Но вскоре, и для этого не требовалось долгих наблюдений, во всем его облике, в особенности тогда, когда он говорил о своем настоящем и будущем положении, можно было рассмотреть беспокойство, подвижность, недоверчивость, крайнюю впечатлительность, одним словом, те странности, которые явились впоследствии причинами его ошибок, его несправедливостей и его несчастий».... «История всех царей, низложенных с престола или убитых, была для него мыслью, неотступно преследовавшею его и ни на минуту не покидавшею его. Эти воспоминания возвращались, точно привидение, которое, беспрестанно преследуя его, сбивало его ум и затемняло его разум». Эти впечатления относились к 1785 году. Спустя четыре года, возвращаясь во Францию, где его ждали события Большой Революции, этот дипломат провел в Гатчине у цесаревича два дня. Наблюдательный француз заметил в Павле те противоречия, которые изумляли и других современников — любезность, остроумие, образованность и в то же время высокомерие, небрежность, деспотизм и, главное, мнительность, похожую на болезнь души. Француз угадал и причину этой душевной неуравновешенности Павла. Цесаревич изнемогал от страха. «Печальная судьба его отца пугала его; он постоянно думал о ней, это была его господствующая мысль»...

(Окончание следует).

Мекка.

М. Аксельрод.

«Возвести народам о путешествии к дому святому, чтобы приходили они туда из дальних стран, пешком или на быстрых верблюдах. Совершайте обещанные обходы вокруг дома древнего!..» (Коран, сура 28).

И вот десятками и сотнями тысяч подымались мусульмане со всех концов земли, от отрогов Рифа до хребтов Тянь-Шаня, от просторных берегов Волги до бездонной сини Зондского моря, чтобы «пешком или на быстрых верблюдах» по морю или по суше поспешить в дом божий, «и там найти милость и утешение от господа своего».

Как-то проще и прозаичней стало это сейчас, в век пара и электричества. Потомки мамелюков одели воротнички и смокинги, падишах проел в Сан-Ремо последние остатки своих богатств, а паши и беи увлеклись игрою на бирже.

Но тысячи и десятки тысяч бедняков: феллахов, хаммалов (носильщиков), ремесленников и мелких лавочников, годами не доедающих и не досыпающих, чтобы скопить еще десяток пиастров для совершения хаджа (паломничества), они по-прежнему густыми толпами валят в Геджаз, в священную страну. Но старые дороги сейчас пустуют. По древнему караванному пути Дамаск — Медина, где плавно шли когда-то корабли пустыни — верблюды, тарахтят сейчас маленькие, точно игрушечные вагончики, битком набитые паломниками, и кашляют и надрываются простуженные паровозики, отхаркиваясь сизым дымом. Вместо медлительных и важных бедуинов, погонщиков верблюдов, суетятся замызганные и замусоленные сирийцы и турки, первые представители квалифицированного пролетариата под аравийским солнцем.

Пыхтя и отдуваясь, рассекают легкую рябь Красного моря громадные махины океанских пароходов, начиненные человеческой трухой. Отодвигается вглубь Геджаза таинственный покров святости и недоступности. Обычно, деловито и просто громадные суда бросают якорь, визжат лебедки, и громадные стальные руки небрежно сбрасывают в санбуки (лодки) убогие подушки, ковры, сундучки и корзины.

Вот уже маячат подернутые дымкой стройные белые очертания Джедды, залитые невыносимо ослепительным аравийским солнцем. По тихой синеве

скользят легкие парусники — санбуки, и чудится, будто громадная птица плывет медленно по поверхности воды, погрузив одно крыло в воду и простирая другое навстречу горячему солнцу. Долго кружат санбуки между отмелей и рифов, пока достигают пристани.

С непокрытой головой вступают паломники на священную почву. Благоговение написано на их лицах. Торжественная встреча ждет их: «мутаввифы» — эти спецы по божьим делам и проводники по святым местам, как стая шакалов — обрушивается на паломников, друг у друга оспаривая добычу. Каждый из них имеет об'ектом своих попечений известный территориальный район (страну или чаще всего часть страны), но каждому хочется поживиться лишней парочкой хаджиев (богомольцев) за счет своих конкурентов.

— Ты говоришь, ты из Пенджаба? Да нет же! Ты из Гайдерабада! Я вижу это по твоему лицу! Я позабочусь о тебе, и да будет проклят этот «мутаввиф» пенджабцев, собака и сын собаки! Ведь, он ограбит тебя и снимет с тебя последнюю рубашку.

Наконец, вырвавшись из цепких рук мутаввифов, пройдя загородки и стойла портового управления, где происходит проверка документов, паломники толпами заполняют собою все улицы обычно тихой и полупустынной Джедды.

Какая смесь племен, наречий!

Вот движутся маленькие, подвижные малайцы с раскосыми глазками, с черными, жесткими волосами; вот высокие, худые индусы, с крашенными хенной бородами; вот бледные афганцы, с ниспадающими до плеч, расчесанными надвое волосами и вьющимися, точно ассирийскими бородами, а вот и крепкие жилистые египтяне. Среди них много интеллигентных лиц. И кто знает, быть может, это те, которые только неделю тому назад ходили с демонстрациями по улицам Каира и кричали: Да здравствует Заглул! Да здравствует конституция!.. Черные, отполированные гиганты — «такруни» (суданские негры), матовые эбенового дерева сомалийцы с тонкими женственными лицами, широколицые кашгарцы, юркие персы с оливками, вместо глаз, крепкие коренастые хадрамийцы, стройные, гибкие йеменцы с черными кудрями или косами, — все это смешалось в одну громадную, многоликую толпу.

Полуголые грязные мальчишки с целыми подвижными лавками на громадных деревянных и жестяных подносах, комфортабельно расположенных на их собственных головах, снуют между паломниками, и ни на секунду не умолкают их зазывные вопли самых различных мотивов и интонаций. Какое изысканное богатство ароматов, какое необычайное обилие деликатесов для изощренного гастронома! Вот бесчисленные сорта «халява» — сладостей: тут и «семсемия» из кунжута, приготовленного с сахаром и растительным маслом, и «гариса», и «махаджамия» — катышки из сладкой муки, и «леддо» из миндаля, и «киджль» — длинные палочки халвы, которые арабы с наслаждением тянут и жуют по целым часам. А вот и жареная баранина, и «махши» — начиненные кабачки, и «шаур» — вонючая копченая рыба, и помидоры, и огурцы — и все это густо облеплено мухами, так

что подчас все эти яства движутся и живут... А вот на лотке уместился целый «Гум» (основной капитал один меджиди, — ок. 80 коп.), где вы найдете все, начиная от бритвы и кончая усовершенствованным амулетом, с гарантией предохраняющим от дурного глаза, лихорадки, солнечного удара и 47 других болезней.

Тут же парикмахеры, кахваджи, саррафы-менялы, точильщики, чтецы Корана, проводники по святым местам, носильщики и просто нищие... Но, конечно, наиболее нужными людьми оказываются погонщики верблюдов. Это они на своих верблюдах доставляют паломников в самый центр священной страны в Мекку, туда, где находится святилище «Бейт-уль-Харам»...

Правда, и сюда уже ворвался XX век со своими новшествами. Желающие могут совершить путешествие Джедда — Мекка в автобусах Геджазского автомобильного общества (Ширкат-уль-аутомобилят уль Хиджизийя). Конечно, песчаная дорога мало приспособлена для автомобильного движения, и автомобилям и их пассажирам приходится вершить тяжелую работу передвижения до Мекки по очереди: то автомобили везут публику, то публика тащит автомобили на себе. Однако все же вместо двухдневной езды на верблюдах, все путешествие можно совершить в автобусе в 6, а то и в 4 часа.

Но где же бедному феллаху взять 1 фунт 2 меджиди (ок. 12 руб.), чтоб позволить себе такую роскошь? Автомобиль для богатых, а для бедных есть верблюд. За несколько меджиди бедный феллах может запихнуть свои подушки, ковры, жену и детей в одну половину «шукдуфа» (плетеная корзина из двух створок, которая размещается на спине верблюда по обе стороны), самому усесться в другую, и долго ли, коротко ли, а через 2 дня быть уже в Мекке.

И вот со всех концов Геджаза собираются бедуины со своими верблюдами для перевозки хаджиев. Хадж—это самое сытное (верней, единственно сытное) время года для бедуинов (как, впрочем, и для всей страны), и недаром так борются бедуины против всякого улучшения дорог в Геджазе. И понятным становится неожиданное заявление одного из бедуинских вождей на последнем всемирном мусульманском конгрессе в Мекке. Когда конгресс, обсудив и прожевав со всех сторон вопрос о необходимости проведения железной дороги в Геджазе, вынес торжественное единогласное постановление по сему поводу, участник конгресса, представитель геджазских племен, опустив только что поднятую руку, вдруг заявил: «Мы шестьсот лет воевали с турками из-за дорог. Вы можете постановлять что вам угодно, а мы совсем не собираемся умирать с голоду!».

Сумерки сгущаются над Джеддой... Пылающее солнце, точно сконфузившись, что целый день поджаривало Джедду на медленном огне, мучительно покраснев от стыда, нырнуло в море, чтобы отсидеться там до завтра. Термометр катится, кажется, будто с облегченным вздохом, куда-то вниз и останавливается временно на 32°. На улицах собираются караваны, готовящиеся отправиться в Мекку. Длинной цепочкой вытягиваются на площадях

верблюды. Веревка, обхватывающая шею одного из них, привязана к хвосту другого. По бокам их качаются пустые пока «шукдуфы», но они быстро заполняются. Хотя верблюдчик давно нанят, хотя 30 уже раз до хрипоты в горле с ним обсужден вопрос о причитающемся ему вознаграждении, и волноваться, казалось бы, нечего, все же хаджии нелепо и бестолково мечутся вокруг верблюда, швыряют почему-то поспешно свои подушки и ковры в шукдуфы, покрикивают на жен и детей, не забывая, однако, обменяться любезностями с верблюдчиком.

— Да будет проклят твой отец! — сулит паломник погонщику.

— Да погибнет твой дом, да будет проклята твоя вера, и вера отца твоего, и отца твоего отца!.. — погонщик за словом в карман не лезет...

Караван движется по улицам Джедды, чтобы через Баб-Мекка [1]) выйти на широкую мекканскую дорогу. У самых ворот целое столпотворение: здесь происходит проверка уплаты погонщиками установленного с каждого верблюда налога («кушан»). Каждый стремится прорваться скорей. Крики и проклятья сыпятся крупным градом. Злобно фыркают и урчат верблюды, напирая друг на друга. Трещат шукдуфы. Взвизгивают испуганно женщины. Плачут дети.

Ночь в пути... Мерно покачиваясь, в развалку идут верблюды. Вверх и вниз подымаются шукдуфы. Вокруг расстилаются песчаные унылые холмы, покрытые бурым, давно сгоревшим на пылающем огне пустыни вереском. Утром караваны прибывают в Бахра (на полпути между Джеддой и Меккой), где проводят весь знойный день.

А на следующее утро с окружающих холмов раскрывается путнику во всей его красе святой город, лежащий на дне долины. В самом центре его «Бейт-уль-Харам» — святилище, — громадная устланная мрамором и окруженная колоннами площадь. На ней знаменитая Кааба — высокий каменный куб, в один из углов которого вделан Черный Камень. Вокруг «Бейт-уль-Харам» беспорядочно лепятся высокие четырехэтажные белые дома, как будто ребенок-гигант, играя в кубики, рассыпал их в беспорядке по земле и забыл их потом собрать. По краям города небольшие одноэтажные глиняные мазанки, а там далее, похожие на ульи, шатры бедуинов и чудные дома «такруни», выстроенные из керосиновых бидонов, с цыновками вместо крыш...

Такова «прославленная Мекка» (Мекка аль-Мукаррама), божий дом, сердце и мозг священной страны. Сюда 5 раз в день, во время молитвы, обращаются взоры мусульман всего мира. Сюда стекаются они ежегодно в хадж, сюда текут деньги с благочестивых «вакуфов», отсюда расходятся по всей земле муллы и улемы, приобщившиеся к кладезю мудрости сунны и фыкха (богословия) в святейшем городе Ислама.

Наконец, паломник в Мекке... Он трепетно ступает босыми ногами по священной, хотя и раскаленной земле; он вдыхает в себя святой воздух. Вот

---

[1]) Мекканские ворота.

святая Кааба. Сам архангел Гавриил спустил ее сюда с неба по просьбе Адама. После потопа ее отстроил Ибрагим (Авраам), и еще совсем недавно показывали благочестивым пришельцам ту яму, где Ибрагим с Исмаилом месили глину для своей постройки.

Тяжелое покрывало из дорогой ткани, с вышитыми на нем изречениями из Корана, — «кисва» — ниспадает с вершины Каабы. Ежегодно присылается такое покрывало из Египта. С помпой и торжественностью снаряжается в Каире пышная процессия. — На сытых откормленных верблюдах везут паланкин — «махмаль» — в память того, в котором совершала походы дочь пророка Фатима. Многочисленная свита, вооруженный отряд, музыка сопровождают «махмаль». Толстый и важный чиновник — начальник хаджа (эмир-уль-хадж) возглавляет эту миссию. Он везет с собою пожертвования, частью собранные со всего Египта, частью ассигнованные правительством. И не удивительно поэтому, что с таким торжеством встречают в Геджазе Махмаль, этот рог изобилия, призванный осыпать своими благодеяниями улемов (богословов), шерифов (потомков пророка) и прочих достойных людей. А роскошное покрывало должно свидетельствовать всему мусульманскому миру о богатстве и могущественности Египта и о благочестии его великого короля — потомка мамелюков — Фуада. Оно покрывает собой грубый камень Каабы, оставляя открытым лишь Черный Камень. В дни хаджа по примеру паломников и Кааба облечена в Ихрам. С благоговейным трепетом совершают пилигримы 7 раз «таваф» (обход) вокруг Каабы, целуя при этом каждый раз Черный Камень.

«О, боже! владыка древнего дома! Освободи меня от адского огня и предохрани меня от всякого дурного веяния!» — шепчет растроганный паломник.

Затем хаджиям предстоит бег (са'й) между Сафа и Мерва. Когда-то это были два холма, но в результате почти ежегодных наводнений, повышающих своими наносами уровень города, они едва выдаются над его поверхностью. Здесь, стеная и ломая руки, металась когда-то Агарь в поисках воды для умиравшего от жажды Исмаила, и в память этих поисков с благочестивыми молитвами бегут хаджии 7 раз от одного холма к другому. Но, как известно, бог смилостивился над несчастной матерью, и по его распоряжению ангел указал Агари колодезь. Этот, с тех пор святой, колодезь Земзем находится в самом храме, а вода его составляет особый об'ект вожделений паломников, разносящих ее по всему миру. Вода эта отвратительна на вкус, но это, конечно, только для «неверных». «Что же касается неверных, то не все ли равно? Бог может обойтись и без всего мира!» (Коран). Для верующих Земзем — это нектар, избавляющий к тому же от всех болезней. Земзем — это высшее блаженство, дающее спасение и в загробном царстве. Ныне колодезь Земзем предусмотрительно покрыт сверху сетчатой покрышкой, ибо многие фанатики, особенно «такруни» и малайцы, бросались туда, чтоб умереть в святой воде...

Наконец, таваф совершен, выпита кружка Земзем, семь раз отмерен путь между Сафа и Мерва, но много еще и до хаджа ожидает блаженства

паломника еще в Мекке. Он может помолиться на могиле Хадиджи, первой жены Мохаммеда, посетить место рождения дочери пророка Фатимы, могилу его деда Абу-Талиба, могилу шейха Махмуда и т. д.

Настают торжественные дни священного месяца Зульхидже. Гуще становятся толпы паломников. Лихорадочно торопятся пароходы выплюнуть партию людей, чтобы поспешно, не переводя дух, кинуться за новой партией. Все дороги в Мекку забиты. Бегут, обгоняя друг друга, ослики, позванивая бубенчиками, тарахтят запряженные мулами телеги со скарбом паломников, пыхтят, обволакивая дорогу синим вонючим дымом, автобусы, невозмутимо спокойно выступают верблюды. С гор спускаются караваны запыленных черноволосых, смуглолицых, сухощавых бедуинов. Это не обычные паломники, беспомощно барахтающиеся в шукдуфах. Гордо восседают они на верблюдах, развеваются по ветру их белые ихрамы, тусклым сиянием отдают чеканные ножны сабель. Это — братья, «ихван», беззаветно смелые и мужественные бойцы Центральной Аравии — Неджда. Тридцать тысяч спустилось их нынче с гор в долину Мекки. В ихрамах, как паломники, с обнаженной головой, идут они сюда, но их винтовки и сабли напоминают, что еще в прошлом году они явились сюда, как завоеватели. Широким лагерем раскидываются они на самом краю мекканской долины, и религиозные песнопения и гимны все время звучат из их лагеря, как звучали когда-то псалмы из лагеря пуритан Кромвелля...

8-е зульхидже. Еще накануне «имамы» (духовные лица) произнесли ряд проповедей, раз'ясняющих верующим предстоящие торжественные церемонии. Сегодня вся многотысячная толпа широкой волной движется по мекканской долине, мимо мечети Муздалифа, на большую равнину у подножия горы Арафат, той самой, где архангел Гавриил обучал Адама первой азбуке богопочитания.

Солнце высоко поднимается над головой. С особым злорадством оно нещадно поливает снопами пламени непокрытые головы хаджиев, едва находящих себе убежище под легкими зонтиками. Поднявшись на склон горы, имам храма начинает длинную проповедь, где он призывает благословение божие на пророка и его друзей и сподвижников, на все его потомство, на правоверных халифов, на всех мусульман и на его величество короля и султана, могущественного и великого. Время от времени имам останавливается, чтобы передохнуть, и тогда вся толпа в молитвенном экстазе подымает глаза к небу и испускает могучий вопль: «Ляббейка, Аллахум, Ляббейка!» — Вот я перед тобой, о, господи, вот я перед тобой! «Ляббейка, ля шерик ляк, ляббейка!» — Вот я перед тобой, нет подобного тебе! Все громче и громче раздаются эти крики. Опьяненные религиозным экстазом, люди подымаются на носки и взмахивают руками, точно в самом деле собираются лететь на небо. До самого захода солнца произносит свою проповедь имам. Вечером утомленная толпа возвращается обратно и ночует у Муздалифа. Здесь каждый паломник набирает семь маленьких камешков, которым суждено

сыграть важную роль в церемониях следующего дня. На рассвете 10 зульхидже, подкрепившись новой порцией проповеди и сотворив утреннюю молитву, вся масса паломников движется в долину Мина. Здесь предстоит торжественный акт побивания камнями диаволов и принесения жертвы. Мерно движутся густые массы паломников, вздымая клубы пыли. Вот идут сухие изможденные индусы, и их крашеные хенной бороды развеваются по ветру. Их глаза подняты к небу, и резкие выклики несутся из их толпы. Вот мчатся, приплясывая, «такруни», копья вздымаются за их спинами; даже здесь они не хотят расстаться с ними. Вот движется египетский махмаль. Островерхий, разукрашенный паланкин покачивается на спине громадного верблюда, четко отбивает вокруг него шаг охрана — 400 египетских солдат, в ихрамах, но с патронташами и винтовками через плечо; мулы, навьюченные пулеметами и легкими орудиями, замыкают шествие... Египет мнит себя великой мусульманской державой. Где же, как не здесь, в центре Аравии, блеснуть перед всем мусульманским миром своей военной мощью и боевой выправкой никогда ни с кем не сражавшихся солдат. Гордым и непреклонным бедуинам не по нутру эта заносчивость... Кто знает, быть может, вспыхивает в их сердце память о давних обидах, о походах Ибрагим-паши, о разрушении египтянами их древней столицы Дераийи?.. А тут, как на зло, из рядов египтян, доносится столь ненавистный для пуританского слуха ваххабитов музыка. Гневные возгласы и глухие проклятья слышатся из ваххабитских рядов: «Еретики, да будет проклята ваша вера! Да проклянет бог отцов ваших и матерей!». Вот уже чьи-то порывистые руки, не дождавшись момента, когда нужно будет побивать дьяволов, швыряет поднятые с земли камни в «еретиков». Египетский полковник, командующий охраной, храбр и бесстрашен. Как? Эти дикие мужики, не умеющие даже держать оружие, поднимают руку на войска Е. В. короля Египта? Полковник недаром получил английское воспитание. Миг, и, окинув орлиным взором диспозицию, он отдает распоряжения. Тра-та-та-та-та-та-та-та! Свинцовый дождь посыпает ваххабитов из пулеметов, берутся на прицел винтовки, вот уже тявкнули орудия... Панический крик раздается в близстоящей толпе паломников. Заворачивают обратно испуганные верблюды. Еще минута и...

Но уже мчится на вороном коне юный сын короля и султана эмир Фейсал. Его женственное изнеженное лицо, лицо поэта и мечтателя, на этот раз неузнаваемо: оно пылает... Его длинные, заплетенные в косы волосы развеваются по ветру, блестят его огромные, черные глаза. Подобно ангелу смерти Азраилу несется он в самый центр побоища, туда, где с цоканьем падают пули, туда, где 30.000 «ихван» готовятся лавиной обрушиться на кучку египтян и раздавить их своими телами.

«Паломники наши гости! Кто смеет обидеть гостя? Вы недостойны называться неджийцами! Кто посмеет бросить камень в меня?»

Сраженная шальной пулей падает под эмиром лошадь. Крики ужаса... Смятение... В этот момент появляется сам король и султан Ибн-Сауд, громадный (самый высокий человек в Аравии), с виду спокойный, но сосредоточенный, весь — воля, весь — энергия, весь — движение.

И никнут буйные головы, тухнут пламенные взоры. Молча отступают «ихван», унося 25 убитых и сотню раненых. Сорок верблюжьих трупов остается на земле. И со вздохом сожаления храбрый полковник велит, в свою очередь, убрать пулеметы. Какая прекрасная победа могла бы быть одержана!

А толпа, толпа течет, перекатываясь валами.

Мина... вот они виднеются столбики, отмечающие местопребывание дьяволов. Великий пророк Ибрагим, по указанию архангела Гавриила, поборол здесь когда-то гениев тьмы, кидая в них камни, и по его примеру верующие поочереди побивают большого, среднего и малого шайтанов.

Затем наступает самый торжественный момент — жертвоприношение, к которому все, что происходило до сих пор, было лишь подготовкой. Лица повернуты к Каабе. Громкий крик вырывается из грудей: «Бисмиллахи, рахмани, рахим! Аллах акбар! Во имя бога, милосердного, милостивого! Господь велик!». И алая кровь орошает раскаленную жадную землю. Необязательно с'едать жертвенное животное, предпочтительно раздать мясо его бедным. Но даже в нищем Геджазе нет такого количества бедных, чтобы уничтожить десятки тысяч животных, принесенных в жертву. Бедуины сдирают с них шкуры, оставляя ободранные туши валяться на земле под жарким аравийским солнцем. То-то раздолье для шакалов и собак! Как правоверные мусульмане со всего мира, так собаки со всего Геджаза стекаются в эти дни на неслыханно роскошный пир.

Собственно хадж закончен. Паломник может снять ихрам, остричь волосы, которых не могли коснуться ножницы с тех пор, как он одел его, но большинство паломников продолжает оставаться в долине Мина еще 11 и 12 зульхидже, чтобы каждый день в полдень повторять побивание камнями шайтанов и тем прочней посрамить лукавого. Другие торопятся направить свой путь в Медину, чтоб поклониться гробу пророка.

Кончились священные дни. Снова тянутся верблюды по дороге из Мекки в Джедду. Просыпаются от спячки заснувшие в горячей истоме пароходы. Отфыркавшись и отдышавшись, в развалку развозят они паломников обратно на изумрудные острова Зондского моря, в пальмовые поросли индийских деревень, на хлопковые поля Египта. Гордые своим почетным званием «хаджи» уезжают паломники. В их паспортах, исписанных старательно выведенными черной тушью китайскими письменами с тюркским переводом, они уже авансом названы «хаджи». Разве нельзя позволить себе маленькую вольность, если человек добровольно обрекает себя на такие муки. Впрочем, сейчас они были бы счастливы отделаться от перспектив мучительного переезда через Индию под опекой английских чиновников; СССР — вот легкий и удобный для них путь. Напрасно отговаривают их разные «благодетели», пугая неминуемым ограблением на советской границе, и — главное — перспективой отнятия у них Коранов и Земзема. Напрасно сулят им всяческие мучения в стране неверных большевиков — ничто не помогает. Толпой осаждают они советское консульство, громко и настойчиво толкуют они, что

не хотят ехать через Индию, что они готовы бросить на ветер уже оплаченные обратно билеты, гордо стуча кулаком по груди, они повторяют: «дехкан, дехкан!» — знают, что крестьянство почетное «сословие» в нашей республике. И только немногие робко осведомляются, не грозит ли опасность их «святыням», которые везут они на родину. А возвращаются они домой с целым скарбом святости не только в душе, но и за спиной.

В их котомках вы найдете и жестяночки со святой водой Земзема, и Кораны, обычные Кораны, но купленные в святой земле, и молитвенные коврики, и «хурма» — святые финики из рощ Медины, и ситцевые платки с полумесяцем и звездами, и целую кучу реликвий, как волосы из бороды Мохаммеда, амулеты: «Джавшан» и «Бадр» от дурного глаза и наговоров, от злых лихорадок и болезней, «Акраб» от скорпионов и «Ханаш» от змей... Надо же жить чем-нибудь жителям священной страны. Бог проклял ее, наградив пустынными скалами и зыбучими песками, сухим вереском и колючим репейником, но он же благословил ее, дав ей хадж. И вот все 300-тысячное население Геджаза, начиная от шерифов и кончая последним нищим, все это живет хаджем. Наиболее знатные мекканские семьи имеют свои монополии: семья Шейби — потомки хранителей Каабы времен Мохаммеда, разрезают на мелкие кусочки «кисву» (покрывало с Каабы), распродавая их за бешеные деньги. Потомки Аббаса (дяди пророка) продают воду Земзем, другие специализировались на чем-либо другом.

Валюта! И здесь умеют прекрасно ценить ее достоинства. Недоброй памяти король Геджаза Хуссейн был здесь и королем биржи. В месяцы хаджа он отдавал строгий приказ: английский фунт — восемь меджиди! (Обычный курс 11 с половиной). И горе тому саррафу (меняле), который осмелился бы дать хоть на один герш (ок. 5 к.) больше! А затем, выкачав эти фунты у саррафов по тому же курсу, он также приказом подымает их цену выше нормального уровня. Явившиеся из пустыни и привыкшие обходиться без денег ваххабиты еще не додумались до того, чтоб заниматься такими операциями, но сами саррафы хорошо усвоили себе уроки Хуссейна.

Курс фунта и нынче 9 с половиной меджиди. Ведь паломник, божья скотинка, на то и создан, чтоб обирать его! Берут все: берет правительство за несуществующий карантин, за визу на в'езд, которая выдается... в Джедде, за проезд из Джедды в Мекку, за палатку, за воду, обыкновенную питьевую воду, которой прежнее правительство короля Хуссейна беззастенчиво спекулировало, продавая ее на вес золота. Берут и святые люди за чтение молитв, за вождение по святым местам, по гробницам и мечетям, наконец, с малайцев берут за присвоение им святого мусульманского имени, вместо тех диких, варварских имен, которые они носят у себя на родине. И понятно, что такса здесь разная: Мохаммед стоит дороже, чем Сабир или Зейд, а Фатима или Аиша дороже, чем Зейнаб. Эти бедные терпеливые, покорные малайцы! С них вообще дерут шкуру больше, чем со всех. Вот с них требуют шесть фунтов за

«угощение в день приезда, питание на Арафат и в течение 4-х дней в Мина, наем палатки на Арафат и Мина со всем необходимым: керосином.

дровами, водой, чаем и кофе, наем верблюда для перевозки палатки, питание и лекарства и т. д.» [1]).

Совсем, как в анекдоте! За пиво, которое вы не пили, за свечу, которая не горела, и за музыканта, который играл в соседней квартире! И люди платят. Кому же охота ссориться с небом? И платят, и едут, несмотря ни на что, волна за волной, тысяча за тысячей, преодолевая и горы, и долы, и моря, и пустыни. Их было 43 тыс. в 1922 г., 64 — в 1923 г. и 82 тыс. — в 1924 г. Их около 60 тысяч сейчас, несмотря на смену режима и на некоторый страх перед ваххабитами. Сотнями гибнут они в пути, валятся от палящих лучей аравийского солнца, сотнями умирают от малярии, холеры, чумы, заражаются проказой и сифилисом у священного Земзема. Что же? Болезнь идет от бога: «кадар». Так предначертано, а умершие, узрев святую страну, идут прямо в рай, избегнув даже допроса двух ангелов-могильщиков Накира и Мункара. Об умерших некому пожалеть: радуются их родные по поводу уготованных покойному райских наслаждений, весело потирают руки представители пароходных компаний. Ведь билет продается в оба конца! Лишний покойник — лишний доход...

Пароходные компании больше всех наживают на этом деле.

Так на костях паломников создаются целые состояния. Хадж — одно из средств первоначального накопления в этой стране, — средство, не уступающее по своей хищности и дерзости индульгенциям римских пап.

Хадж окончен... Умолкло урчание верблюдов, валяются на задворках до будущего сезона шукдуфы, бессильно повисли на легких санбуках паруса. Те, кто остался в живых, торопятся домой; мертвые мирно спят под землей, и только кружатся черные вороны и воют собаки и шакалы в долине Мина, где лежат полузарытые груды гниющего мяса. Да святые люди подсчитывают фунты, гульдены, рупии...

До следующего хаджа!..

Геджас, Джедда,
15/VII — 1926 г.

---

[1]) Тариф для наших братьев мусульман, восточных и западных, кто пожелает выполнить заповедь хаджа и т. д).

«Христопродавец».

Родион Акульшин.

Не по-стариковски доживал свою жизнь Тихон Иваныч. В его годы о боге думать надо, о псалмах, а он и дорогу в церковь позабыл, поп за версту избу его обегает. У каждой завалинки диковинный старик баб с пути истинного стишками Демьяна Бедного совращает... Старухи о страшном суде вздыхают, а Тихон Иваныч посмеивается:

— Спустите тогда веревочку, как в смоле буду кипеть...

Надо ли рассказывать, как до точки такой доехал старик, что кличку «Безбожник» от старых и малых радостным сердцем ловил на улицах, на задах, в переулках, в поле, в лесу, на лугах, везде, где нога человеческая ступала. Разве может человек с запечатанным ртом мимо чудесного старика пройти?

Тихон Иваныч грабильники из лесу несет, а уже летит, вьется по воздуху:

— Безбожник... Безбожник...

Ребятишки думают, осой нечаянной ужалит старика прозвище вдогонку, а седая голова оглянется, улыбнется:

— Молодцы, — скажет, — признали старика...

И жаворонком весенним, трелью ласковой душу радует страшное для многих:

— «Безбожник»...

Восьмым десятком катится жизнь... «Образумься, образумься», — то плачет, то ворчит, то Христом богом умоляет своего родного отца единственная замужняя дочь, — вспомни, куда идешь. Неужто перед страшным смертным часом не покаешься? Проходу на улице нет, смотрите, кричат, смотрите, безбожникова Наташка идет... Здравствуй, Наталья, как безбожник твой поживает? Господи, в кого я несчастной такой зародилась?.. Брось, говорю, а то не посмотрю, что ты мне отец... Не дам лопать — пусть дьяволы курятиной потчуют...»

И гремят ухваты, летят с посудной лавки горшки.

— В пору бсел на шею, да в омут к сомам.

— — —

Упомянул я в книге своей о Тихоне Иваныче и о дочери, поедом старика заевшей. Строчек пять всего: вот, мол, какой диковинный человек в нашей деревне. Надо бы мне тогда добавить еще, как старик жизнью своей доволен, и бедность его никогда не печалит: привыкать, что ли, к заплатанным порткам, к худым опоркам? С младости не шелка, а посконь и дерюга, под старость об этом и думушки нет...

Есть радость — газеты и книжки, а в книжках рассказы, да стишки занятные, а лучше всех стишков — Демьяновские...

Мог ли я думать, мог ли думать старик о последствиях нескольких строчек?

Дошла книга до Демьяна Бедного, заинтересовала безбожником, маслом по сердцу помазала. Приглашает меня знаменитый поэт в Кремль, совет держит: послать или не послать старику денег, чтоб не зависел он от своей дочери сварливой, чтоб еще больше в человеческом (в человеческом, а не в божьем) милосердии укрепился...

И полетела в деревню из Кремля полсотня рублей, полсотня рублей человеку, у которого больше пятерки за всю долгую жизнь никогда не бывало...

Пятьдесят рублей. Пять червонцев. Половина сотни.

В бытность солдатом царским в походе на турок участвовал, в крепости Арзеруме на турчанок зарился, после службы в судьях пятнадцать лет ходил, много на своем веку страстей и встрясок перетерпел, а такой не доводилось... Страх, сомнение и радость завертелись в голове старика, когда письмоносец, призвав к себе Тихона Иваныча, в присутствии баб и мужиков, громко, как дьякон в церкви, с расстановкой, огласил:

— Тихон Иваныч, от советского бога манна из Московского Кремля. Радуйся, Тихон Иваныч, и распишись в получении пятидесяти рублей от народного писателя Демьяна Бедного.

Вздохами и стоном загудела изба:

— Из Москвы от Бедного... Вот так Бедный!.. Какими кусками кидается!.. Корова... Половина лошади... Чего там половина, добавить немножко, и лошадь любую...

... Вот тебе и безбожник... А мы все лбы порасквасили, да ниоткуда пятака не дождались.

— Шутишь, Анд...

Ком радости к горлу прилип, поперек имени письмоносца застрял.

— Кха, кха... рей Сергеич!..

— Бабы, отойдите от окна!.. Не верит он еще... Вот тебе перевод на дневном свету... Видишь? Наименование и адрес отправителя, во? Разглядел? Читай! Кому?

Но не мог читать Тихон Иваныч, боялся — рассыпятся слова по одной букве, широкая улыбка сказала, что сердце поверило диковинке.

А за улыбку прямо неловко: не приставишь верхнюю губу к нижней, растянула их радость, сил нехватает рот прикрыть, как трудно бывает распахнутые бурей ворота к вереє приставить.

На шесть верст в длину наше село растянулось.

Не успел письма разнести письмоносец, а все уж как пчелы гудят:

— От Демьяна Алкудину деньги пришли... Эх, что мы не безбожники?.. Была бы у нас теперь лошадь... С неба, небось, не прыгнет.

Судачат, завидуют, пророчат:

— Теперь он его озолотит...

На другой день во все соседние деревни и села весть разлетелась, а через неделю кто-то из наших мужиков поехал в уездный город, за семьдесят пять верст, зашел в чайную, а там за каждым столиком:

— Слыхали, в деревню, простому мужику... Ну, вот такому же, как мы с тобой... Демьян Бедный... этот... Стишки интересные сочиняет... Так вот он самый... Пятьдесят рублей отвалил... С места не сойти...

— Что ж, прошению мужик подавал?

— Какую там прошению! Верно по наитию в сновидении господь бог сочинителю шепнул: «Пошли от своих достатков бедняющему старичку за свое здоровье».

Много всяких разговоров было. В нашем селе многие от зависти дня по три хворали, а племянница Тихона Иваныча, вдова, Настасья, с досады две недели поносом страдала, что не ей прислали денег из Москвы.

— А как будто часто в церковь хожу?.. И всего-то три раза в год: на Рождество, на Пасху, да на Троицу...

Капиталисту горы золотые спать не дают... А разве Тихон Иваныч с полсотней рублей не богаче Рокфеллера, Моргана и Форда? У тех для денег шкафы несгораемые, а у Тихона Иваныча — карман худой... Куда спрятать? И прятать жалко... Так бы все и глядел на белые бумажки, на синеватые буквы справа:

— Банковый билет.

— Один червонец.

На каждой такие слова. Три смятых, а две новенькие. Возьмешь в руки, шуршат, да как громко... Мыши в подполье не так явственно скребут, как эти бумажки белые звонкие...

Спит с мужем дочь на кровати, спит на лавке внучонок Ванька, а Тихон Иваныч на печке вздыхает, думает, не придумает:

— Если за божницу положить? Да бог сердит на меня, не будет охранять...

Горячо на печке, как бы не испортились червонцы.

Перелез на полати — воздуху нехватает.

Лучше на печке лечь, а деньги в тряпочку завернуть, ниточкой связать, на шею повесить, пусть на груди полежат...

Вот уж и светает. Какие ночи стали короткие, верно день прибавился, верно масляная скоро...

Встала дочь печку топить, не гремит ухватами, не косит глазами...

— Что не спишь-то? Неловко, што ль? На вот подушку мою...

— Всю ночь животом маялся...

— Можа «крутики» скипятить? Телятам от поносу помогает...

— Так пройдет...

А хворь не прошла, три ночи бессонница мучила, три ночи с печки на полати, с полатей на печку путешествовал. На четвертый день в соседнюю деревню пошел, в кооперативе пять белых бумажек на десять синих пятерок разменял.

Еще больше стало денег... А как ночью на печке телеса от жары пропотели, спохватился: — Сопреют бумажки от поту, мягкие они, тонкие... На что лучше серебряные деньги... Только надо мешочек разыскать...

Над трубою узелки с семенами висят: арбузные, дынные, тыквенные семена весны дожидаются. Уснули все, вышел на задний двор, тыквенный мешочек опростать. Вырыл ямку в снегу, никто не догадается, не скоро хватится дочь пропавших семян.

— Что обедать не садишься?

Не обед на уме, новая забота: бумажки на полтинники перекроить... Не мало полтинников на десять пятерок потребуется, сотня целая, не вдруг замену сделаешь...

Упросил заведующего лавкой: как будут полтинники, береги... после сделаемся, за мной не пропадет...

На шестой день последняя пятерка полтинами зазвенела... Увесистый получился мешочек... А до чего хороши сукины дети: белые все, как один, ровные, поставишь на ребро — стоят.

Захотелось полюбоваться серебряной армией — засветил моргушку, в три погибели на полатях изогнулся... «Стойте, шельмецы, не катитесь... Ух, ты, как много!.. Тпру!» Разбежался один, да в щелку... Зазвенело серебро по полу, звончей колокола полтина гудит. Проснутся зять и дочь, надсмеются над стариковской забавой.

Девяносто девять кружков в мешочке лежат, а сотый в потьмах по полу катается. Надо найти озорника. Весь пол обшарил — нет нигде, а с огнем страшно, обязательно дочь проснется...

Разве под кроватью? Так и есть, вот он, чертенок... Ой! Спиной за кровать задел, закряхтел зять, дочь на другой бок повернулась... Слава богу... Тьфу ты пропасть, и бог на язык вскочил.

Заскрипели полатные доски, прыгнул в мешочек сотый шельмец.

— Не годится так, надо на дворе под застреху засунуть. Невдомек будет жуликам, где добро припрятано...

И чуть зимнее утро забрезжило, сунул сокровища в надежное место.

Днем ласковая дочь, тихонько:

— Вот лошадь другую купить собираемся... двадцать рублей нехватает. Дал бы взаймы... Куда тебе столько?..

У племянницы Настасьи на телку нехватает, тоже клянчит, и больной живот левой рукой придерживает... С того самого дня, как деньги пришли, хворь пристала и не бросает...

«Много вас, — думает Тихон Иваныч, — той телку, другой — козу, третьей — жеребенка...»

Дочери посулил, а племяннице отказал. Позеленела племянница:

— Умри только, век не помяну добрым словом... Июда...

Не стерпела обиженная, в соседях на Июду наябедничала. А там прицепились:

— А ведь и правда... Июда Христа алхиреям продал, Тихон Иваныч — Демьяну Бедному. Июда тридцаткой удовольствовался, Тихон Иваныч подороже взял, да только все равно промахнулся... В Июдины времена на тридцать рублей дом можно было справить, а при Советской власти что? На пятьдесят рублей корову немудрящую не укупишь... Что ни говори, промахнулся... Я бы меньше трех сотен не взял.

— Ты бы, ты бы... На кого нарвешься, иной и копейки не даст... Ты думаешь, этот товар ходкий, надбенный?..

Всякое говорили, и всплыло из разговоров большое, липкое — «Христопродавец»...

А с мешком серебра беда стряслась: бог весть куда пропал мешок. Может быть и не пропал, в мыслях замстилю, куда засунул его? Сначала был там, потом вот тут... Куда упрятал третьего дня, убей — не припомнить... Две ночи не спал, а дремота одолеет — чудится: лежит мешок под застрехой над воротами.

Вскочит, выбежит в опорках на босу ногу, обшарит все, — нет ничего... Согнулся от горя; почернел... Неловко на улицу выйти, заприметит народ черноту, скажет:

— Што, аль черти спать не дают? На спине катаются, серебряными кнутами стегают?

Только б найти, сразу отсчитал бы сорок полтин в лошадиную долю... А может быть жулики серебро в расход пустили? Да... И следы как будто на снегу приметны... Во... след от валенок... Должно быть, подшитые валенки. Остановился над следом, соломинкой вдоль и поперек вдавленный снег измерил...

«Нужно будет к мужикам пойти, как у двора перед вечером соберутся... Жулика по глазам узнаешь...»

— «Христопродавец» идет, смотрите, скрючился как!.. — долетело до чутких ушей, первый раз за всю жизнь от слова передернуло...

— Здравствуй, что новенького от Демьяна? Шубу прислать не собирается?.. Напиши: «изорвался, мол, лохмотья одни»...

— Чай, там у него не кладовые с золотом...

А про себя подумал: «Напишу, и пришлет».

В затылок каждому заходил, пятки разглядывал, на глаз прикидывал:

«Не этот ли мешок с серебром сбондил?»

— Что это по спинам стреляешь, аль колдуешь по-советски?..

— Пора б в обновки облачаться.

— В банку положи, на прожитье одних процентов хватит.

— Куда торопиться? Эх, кажется, обедать зовут...

И ушел от скалозубов... А на сердце еще чернее.

За калиткой на дворе приостановился, ухо к щелке приложил, слышно, как мужики хохочут, «Христопродавцем» потешаются...

А денег все нет. А куда ни пойдет — «Христопродавец», «Христопродавец»... Непрошенно детство вспоминается, когда шилом горячим кличка втыкалась: «шпингалет длинноносый». Вот так же, нет, не так, еще больней, еще хуже «Христопродавец» сердце полосует... Что это? Или правда бесы разум помутили, или бог последнюю радость в сердце иссушил?

«Бог... бог... какой же бог? Где местожительство его? Двадцать лет без бога обходился, двадцать лет одну природу признавал... А, может быть, ошибался двадцать лет?.. Только б деньги найти, тогда б... тогда...»

Боялся признаться, что б сделал тогда, не перед людьми, перед собой стыдно...

На пятый день вернулась память. Пошел в сарай, в плетеное из соломенных жгутов куриное гнездо руку опустил — вот они... На заднем дворе пересчитал — девяносто восемь, еще раз пересчитал — девяносто семь. Бога помянул, третий раз пересчитал — сто.

Рубаха еле-еле корпит... Дочь о новой не заводит разговоров — свои капиталы, может справить.

Через неделю расползется старая... В кооперативе ситец дорогим кажется. На базаре кому-нибудь наказать — обсчитают.

В лаптях по оттепели восемь верст туда, восемь обратно. Зато всего накупил: штаны, картуз, рубашку, сапоги...

— Скрои, Наталья...

Надо, чтоб при глазах кроила, а то отхватит аршин от рубахи на фартук, а рубаху обузит... Не знай еще Демьян пришлет, не знай нет. Уж справлять, так не кургузое, просторное...

Сапоги семь рублей стоят, а дегтем помазали, дешевле десятки не оценишь...

— Ты мне, Наталья, к воскресенью сшей...

— Ай, невесту хошь сватать?..

— Ублажи, Наталья, отца, сшей к празднику... Вот сорок полтин на лошадь... Бедствовать буду, поможете...

— А то разве не поможем?.. Ладно, сошью...

В воскресенье впереди всех стоял Тихон Иваныч в церкви... Народ не слышал ни ектений дьякона, ни возгласов попа... С Тихона Иваныча глаз не спускали, словно с чудовища заморского. Переступит старик с ноги на ногу — скрипнут сапоги, покачнет голову, блестят помазанные елеем седые волосы, распахнется нечаянно зятнина поддевка, и видно, как по синей земле рубашки белое пшенцо посыпано.

А молится как. Никто таких широких крестов не кладет, никто не вздыхает так истово.

Кончилась обедня, разошелся народ, беседует на паперти Тихон Иваныч со священником:

— Исповедаться хочу, батюшка!

— Да благословит господь раба, вернувшегося в лоно православия...

— Боюсь, батюшка, грехов много, двадцать лет копились, не простит господь...

— Долготерпелив и многомилостив всевышний.

— Так я на этой неделе, батюшка, поститься начну...

— В час добрый...

Никто не кричит Тихону Иванычу: «Христопродавец», всем и каждому рассказывает Тихон Иваныч об учености попа.

— Батюшка наш, что апостол, никогда не скажет неправды... большого ума человек... юрист...

Каждую субботу, каждое воскресенье, каждый праздник под сводами божьего храма видится бывший безбожник с «юристом», после службы беседуют душеспасительно, нередко в квартире «юриста» чайком балуются, над писателем Демьяном Бедным подтрунивают.

А время идет... Слетела новизна с рубашки и штанов... Скособочились сапоги, от полсотни рублей гроша не осталось... Попросил у «юриста», а «юрист»:

— Знаете, Тихон Иваныч, какие нынче у нас доходы? Сами грошиками пробавляемся...

«Разве Демьяну письмо написать?»

Доплелся от вечерни, а дома «заказное» — Москва, Кремль, Демьян Бедный...

«Уж не деньги ли? Вот бы кстати». Нет, только марка и письмо, а письмо не рукописными, а печатными буквами составлено.

Демьян Бедный. 8 августа 1926 года.

Москва, Кремль.

Многоуважаемый Тихон Иванович!

Как вы здравствуете? Пошла ли вам впрок моя помощь? Не обижает вас больше дочь? Все ли вы такой стойкий безбожник, каким были? В церковь зря не ходите? С попом сражаетесь? Есть ли у вас последователи? Уважают ли вас комсомольцы? Мне все это хочется знать.

Если вы нуждаетесь в моем вторичном пособии, то напишите мне, сколько денег вам прислать? По получении вашего письма вышлю немедленно.

Пусть темные церковники знают, как Демьян Бедный помогает тем, у кого стала светлая голова и чистая совесть.

Мне все же необходимо, чтобы о вас мне написали и местные комсомольцы. Сам я мужик и знаю, что мужику веры без проверки давать нельзя. Мужик не только мужика, но и бога привык обманывать, хотя и говорит, что без бога ни до порога.

Сердечный вам привет.

Демьян Бедный.

Нужно ли рассказывать читателю, как потрясло это письмо Тихона Иваныча, как вкрадчиво он убеждал комсомольцев дать ему безбожное удостоверение? Нужно ли рассказывать о планах старика?

Все будет ясно из письма героя и удостоверения комсомольцев. Вот что ответил бывший безбожник:

«1926 года, 15 августа.

Многоуважаемому благодетелю, Демьяну Бедному!

Здравствуйте, Дорогой наш наставник от религиозного Дурмана привет Вам и Великую благодарность шлю я Вам, из глухой деревушки Старый Безбожник Тихон Иваныч Алкудин!

Демьян Бедный!

Вы меня спрашиваете пошла ли моя помощь впрок. Да я Вашей помощей одел себя на тридцать рублей и остальные деньги дал дочери на лошадь и которая говорит откудова такой благодетель нашелся. Но не только моя дочь но даже вся наша деревня удивляется Вашему подарку как это так такому Безбожнику ктото Выслал помощь которую он не видал за всю свою жизнь Еще пишу Вам я Демьян Бедный что последователи у меня есть из молодежи но я Всвоем здравом уме твердо каждого укоряю от тех религиозных сетей которыя нас опутали Веками.

Но В Вашей помощи я навсегда нуждаюсь а почему да потому что я старик безродный. Забытый был и кругом заброшенный. Еще осмеливаюсь просить Вас Демьян Бедный Вышлите мне журнал Безбожника и какую небудь газету.

Жду Вашей Помощи и ответа старый Безбожник Тихон Иваныч Алкудин».

Вот какое удостоверение дали бывшему безбожнику комсомольцы:

«Старичок Тихон чисто политического духа он у нас новый апостол красный проповедник везде и всюду где либо в короводе или в групи мужиков он проповедовает про все старые обманы».

Читатель в недоумении? Или, наоборот, читателю все ясно и понятно? Время идет. Обещанных денег старик не получает.

Лунные туманы.

(Сергей Клычков. «Чертухинский балакирь». Роман. Гиз. Стр. 374. 1926 г.)

А. Воронский.

«С этого часа и начала весенняя луна над Петром Кирилычем шутки шутить».
(«Чертухинский балакирь»).

I.

Флобер писал о своем романе «Саламбо»:

«Когда будут читать «Саламбо», не подумают, надеюсь, об авторе! Лишь немногие угадают, каким надо быть печальным, чтобы предпринять воскрешение Карфагена!.. Достаточно этих горестных замет, чтобы «Саламбо» предстала пред нами не как многосложная стилистическая игра, не как огромная мозаика, бесстрастно сложенная из пестрых граней, а как далекое прибежище для уязвленной чувствительности писателя, «башня из слоновой кости», в которой уединилась его мизантропия, «искусственный рай», каким был опиум для Кольриджа, алкоголь для Эдгара По».

Слова эти невольно вспоминаются, когда закрываешь после прочтения роман Сергея Клычкова. И не нужно принадлежать к немногим прозорливцам, дабы почувствовать печаль писателя и убедиться, что именно от этой печали — в искусственном, им созданном, парадизе он ищет прибежища для своей чувствительности и для своей мизантропии.

Далекой дедовской стариной, дремучей деревенской, староверской лесной сказкой веет от вещи Клычкова. Озорует ведьма, баба-бобылка Ульяна; из мохнатой кочки вылезает леший Антютик; на дне Дубны у мельницы встает дивный терем царевны Дубравны; гасит святые свечи мудрый церковный бес; умирает от сонной травы Маша, уходят люди в заплотинное царство. Как будто подлинны — балакирь Петр Кирилыч, мельник Спиридон, Аким, Феклуша, роман изобилует богатейшим фольклором, как будто тайные моленья «столоверов», девишники, изгнание попа, свадьба, похороны прочно приковывают читателя к были, к жизни, — верить всему этому нельзя: писатель лукавит, хитрит, бытовыми подробностями он обрамляет

выдумку, химеру, мечту. Правдив он лишь говоря, что не может отличить были от небылицы.

Роман называется «Чертухинский балакирь», но не балакирь Петр Кирилыч является главным героем и не мельник Спиридон Емельяныч, — главный герой в романе — месяц — цыганское солнышко. Ему писатель посвятил лучшие свои страницы и, пожалуй, о месяце — подсчитайте — их больше, чем о других действующих лицах. Месяц у Клычкова гордится, что светел и высок, во всю мочь он обливает еловые ветви; выплывает, как от хорошего токаря, бьет и сыплет зеленое золото; по утрам, когда садится в чащобу, у него расплывается лицо; он плывет, как дорогая корона; золото-зеленой куделью развешивает он свой свет по облакам, повиснув в тумане; а вот он, русоголовый, нагнулся, глаза у него закрыты, губы, словно что шепчут сквозь утренний сон; вот дразнится он языком и нарисован на нем — это доподлинно известно писателю от Антютика — не кто иной, как мужик Иван Ленивый, ему чорт за безделье оторвал голову, и катится она с тех пор по поднебесью; горит свечей его свет в заячьих лапах, качается месяц на мачтовой сосне, как золотой фонарь на корабле, рассыпается зайчиками по дороге, по лесу, — всего о нем не перескажешь.

Но больше всего он колдует, ворожит, усыпляет. Свет его мешается с дубенскими туманами — а они плывут и плывут без конца и без края — и в этих лунных чарах странно преображается жизнь: простое, трудовое деревенское житье-бытье в лесной сторонке развертывается в чудесную древнюю сагу, теряет ясную, дневную видимость, небывалые приключения происходят с балакирем, со Спиридоном, с Феклушей, с Машей, все становится как бы вверх ногами, оборачивается новым, незримым, потусторонним ликом, — полуночная лунная явь уводит в царство теней, призраков, раскрывается невиданная, сверхчувственная тайнопись вещей и в колдовских лунных полуснах сладостно бродит писатель, держа за руку читателя, забывая о дневном свете, о настоящей, неприкрашенной правде и, чтобы лучше не видеть ее, он лукаво мешает быль с новыми и новыми вымыслами.

И как благодарен месяцу писатель за этот увод от жизненной скверны и повседневщины! Какой мощный, пламенный, прекрасный и сердечный гимн слагает он лунному чародею!

> «Ой, же, ты, месяц, цыганское солнышко!..
>
> Все кошки при тебе серы! Все девки красивы, каждый молодец образец...
>
> Любит тебя серый мужик, потому что под тобой можно поспать, можно руки и ноги хорошенько расправить, до утра прогрезить и обо всем на свете забыть!
>
> При месяце много пригожей жена, и мурцовка ввечеру вдвое вкуснее, при месяце на каждом крылечке, словно резьба по застрежке, под месяцем и нечистая сила виляет хвостом возле мужицкой избы в виде блудливой собаки».

Легче спать, легче грезить! — вот почему главный герой в романе не солнце, а месяц. Солнце разгоняет лунные туманы, при солнце нужно работать, добывать, оно не дает забыть все на свете.

Как же это случилось: в наши дни писатель, ратующий за мужиков, со знанием дела повествующий о тюрях и мурцовках, свое внимание сосредоточил не на том, что делают или делали мужики при дневном свете, а на том, что грезится в лунных туманах? Почему он крестьянское солнышко сменил на лунную ворожбу, почему он ищет забвения в лунных очарованиях?

II.

Писатель настойчиво излагает и повторяет в романе довольно стройную и по-своему продуманную систему мыслей и настроений. Без преувеличения можно утверждать, что эти мысли занимают центральное место в произведении, — без них роман непонятен и распался бы на отдельные, не скрепленные органически части. Удивительные и волшебные события в жизни Петра Кирилыча, Спиридона, Маши по замыслу автора являются наглядным, образным оформлением этих мыслей.

Сергей Клычков — дуалист.

Человек по Клычкову — двуипостасная тварь. Спиридон Емельяныч, мужицкий мудрец и провидец, устами которого то-и-дело говорит писатель, открывает дочери Феклуше свою премудрость:

> «В жизни человека все по двум дорожкам идет, потому и сам человек как бы на две половинки расколот... Одной половиной человек в небо глядит, а другой низко пригнулся к земле и шарит у нее на груди огневые цветы!.. Все сотворено по двум ипостасям».

Есть плоть и есть дух. Всему свое время, свое место. И у плоти, и у духа есть свои законные требования, но два естества в человеке на земле различны, противоположны друг другу и ведут между собой нескончаемую борьбу. Вера Спиридона построена на этом убеждении. Земле — земное и самое важное и праведное — мужицкая жизнь. Это — правда превышняя. Во исполнение ее Спиридон покидает монастырь, возвращается в лесную родную сторонку, уносит из монастыря один лишь «недотяпин армяк», устраивает в подизбице свою церковь, скит «столоверческий».

Земле — земное. На земле мир плоти не преоборим, плоть всегда торжествует, главенствует. Непомерна плоть у молельщика Спиридона, про остальных и говорить нечего. Тщетно он отбивает поклоны, спит на голых досках, звонит на чердаке, читает святые молитвы, — слишком могутны его плечи, широка и окладиста борода и силушка плотская по жилочкам течет. Ни шестом, ни крестом не отмахнешься от непомерной плоти. Совсем не далек был Спиридон Емельяныч от спасенья. Святой Петр уже уготовил ему на том свете почетное место сторожа, а Устинька, первая жена, приходила из загробного царства утолять его плоть, чтобы дотянул он кое-как до святого, но и Спиридон не выдержал — соблазнился. Ласки Устиньки, моления оказа-

лись напрасными: пришла ведьма, бобылка Ульяна, совратила Спиридона. Пожар мельницы, в котором сгорает Спиридон, его вера, скит, иконы, естественен, вполне соответствует замыслу писателя.

Мир во зле лежит. Спиридон пытался преобороть плоть, не осилил. «Иде же никто пройдет, токмо бог».

В мире господствуют плоть и судьба. «Подчас глядишь: вот-вот человек схватит судьбу за загривок, ан не тут-то было, в самый нужный час в глаз и попала соринка». Героям романа, Петру Кирилычу, Спиридону, Маше, все время попадает такая соринка в глаза. Петр Кирилыч прозевал красавицу Феклушу, он держал у своей груди Машу, — но вышло все же так, что, в конце концов, в его руках очутилась ведьма Ульяна. Маша умирает от сон-травы в первую брачную ночь, судьба и здесь потешается над балакирем, а заодно и над Машей. Судьба разрушает планы Спиридона попасть в святые. Феклуше приходится коротать свой век с мужем, который ей не по душе. Устинька, первая жена Спиридона, помирает, не узнав мужниной ласки.

Судьба не только идет наперекор человеку, она над ним зло шутит, издевается «в самый нужный час». Не случайно писатель олицетворил ее в образе Ульяны-ведьмы, существа озорного, насмешливого, злого, грубого и всюду поспевающего в самый нужный час. «В поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам».

Любопытно: чаще всего судьба-злодейка издевается у Клычкова и вмешивается в дела любовные. С этим мотивом мы встречаемся еще в «Сахарном немце», но там он не разработан писателем, а всего лишь намечен. В «Чертухинском балакире» писатель довел свою тему до полной, образной и выразительной законченности. Здесь надо искать одну из главных индивидуальных причин его общего пессимизма и мизантропии.

Противоречие между телом и духом не находит разрешения в человеческой жизни. Остается один единственный путь — попытаться устранить дуализм в потустороннем мире. Клычков так и делает.

> «Плоть в человеке крепка и упорна, как зимний лед на реке, дух же прозрачен и чист, как вода речная под ним, бегущая по золотому песку чисел, сроков и лет. Растает лед на реке и сольется в виде стоялой и отяжелевшей за зиму воды с весенней веселой водой, тогда придет на землю весна и поднимет над головой высокую чашу, до края налитую светом и радостью, и из чаши Вечный Жених отопьет только глоток... Сотлеет упорная плоть и сольется с духом текучим, рассыпавшись прахом, смерть с дороги под окно завернет и подаяния попросит и никто ей в куске не откажет и даст самый лучший кусок. Вот что плоть в человеке и что в человеке есть дух».

Сравнение плоти и духа со льдом и водой превосходно, оно монистично и противоречит дуализму писателя, но нас сейчас интересует иное: борьба духа с плотью, неудачная для духа в мире земном, разрешается в пользу духа в мире загробном: плоть преображается, становится единым

естеством с духом и вечно живет. Заплотинное царство, о котором так много говорится в романе, и есть этот сверхчувственный мир.

Сергей Клычков отрицательно относится к православной церковности, но он громит ее как «столовер», т.-е. как мистик на иной лад и образец. В вопросе о плоти и духе, о заплотинном царстве он совсем недалек от этой церковности — это ясно всякому, «даже не обучавшемуся в семинарии».

Верит ли писатель по серьезному в свое заплотинное царство, удовлетворяет ли его примирение противоречия между плотью и духом в боге?

В этом можно весьма и весьма сомневаться. О загробном царстве Клычков рассказывает в очень пленительных выражениях, но в то же время как бы подшучивая, подсмеиваясь и балагуря, с подчеркнутой наивностью и простоватостью: кто ее знает, может быть, и есть это заплотинное царство, а, может быть, и выдумано оно себе и читателю в усладу: «не отличить были от небылицы, правды от выдумки». Не плывет ли оно всего лишь лунным туманом, чтобы лучше было слаще поспать и погрезить? И если сам писатель не знает как следует, выдумка ли, правда ли его царство не от мира сего, то как ему поверить? Когда-то о царстве божием говорили и писали со страстью, с нетерпимостью, с неистовством, ибо там была у людей действительная вера, фанатизм, здесь же только приукрашивание действительности сказкой, над которой иногда не прочь пошутить и сам новоявленный пророк потустороннего надзвездного мира.

Сомнения наши тем более законны, что писатель овеществил и омужичил до последнего предела царство чистейшего и прозрачнейшего духа. В это царство ведет прямая дорога, начинается она с гусенского погоста, упирается в голубой сад, вокруг сада золотая ограда, за оградой растет калина, бежит живая водичка. Людей распределяют там хозяйственно: святой Петр обозначил быть Спиридону сторожем при ограде: «у него силенки — молодого такого наищешься». Словом, великолепный парадиз, где должно происходить таинственное и гармоничное слияние духа и плоти в одно естество, слишком по-земному попахивает русским лаптем, онучей, хомутом и коровьим пометом. Как будто несовсем естественно это соединение мира идей Платона с русскими полатями, не естественно, не серьезно и потому не убедительно.

Серьезен во всяком случае дуализм писателя, его вера в судьбу-злодейку. Это прочувствовано, выстрадано, опирается на известный комплекс чувств.

III.

Дуализм писателя, его мысли о роке, потешающемся над человеком, определяются прежде всего общественными эмоциями.

«Ничего, ничего впереди... не видно», горестно сознается писатель. Вернее сказать, хорошего не видно, а плохого много.

Плохого много. И в настоящем, и в будущем.

Начать с современного цивилизованного человека.

«Самое главное: нет у человека правильного глаза на все...

Ему больше... кажется, а он принимает всурьез... Глаз у него ленивый и надменный».

Все живущее боится человека. Человек мнит себя центром мироздания, а на самом деле занимает в нем малое, подчиненное место.

«В мире есть одна только тайна: в нем нет ничего не живого». Но человек не видит этого, и потому он уничтожает, разрушает, безжалостно топчет вокруг себя все живущее.

> «Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей передушит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги — подрежет пилой-верезгой. Тогда-то железный чорт, который только ждет этого и никак дождаться не может, привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что чорт в духовных делах — порядочный слесарь. С этой-то гайкой заместо души человек, сам того не замечая и ничуть не тужа, будет жить и жить до скончания века».

С помощью «железного чорта» человек механизирует, стандартизирует, уничтожает живое вокруг себя. Материя побеждает дух. Человек окружает себя довольством, сытостью, удобствами, но угашает духовную жизнь. Растет материальная культура, но в ущерб духовной. Так расщепляются, по мысли писателя, плоть и дух.

Будущее безрадостно. Уже в «Сахарном немце» Сергей Клычков показал, как гибнет старый прадедовский психический уклад под грозными бичами железного века. Зайчик, обыкновенный житель лесной сторонки со всей своей наивной, поэтической душой ввергается в страшную пасть последней империалистической войны. Военная обстановка, муштра, необходимость посылать на убийство и убивать — опустошают духовно Зайчика и доводят его до петли. Вот этого опустошения, распада цельного когда-то «столоверческого» человека и боится писатель. И не только боится, но и чувствует, что весь ход современной жизни обрекает этого человека на вымирание со всем его когда-то прочным и крепким бытом.

В «Чертухинском балакире» Клычков любовно живописует этот быт: «скит» Спиридона, изумрудные леса, старая мельница, река Дубна, песни, поверья, пляски, сундуки с девичьей срядой, расшитые простыни и полотенца (по простынной каемке в самом низу у постели бежит вышитый красным и синим шелком петух, и от него цепочкой впереди с расставленными кверху хвостами куры и желтые цыплята), — сон-трава, моленья, вещие сны, но все это уже в прошлом, отошло, отзвучало, было и быльем поросло: «приходит и нашей стариковской жизни конец».

Впереди и в настоящем — «железный чорт», торжество «непомерной» механики, материальной культуры над духом, над спиридоновой верой; позади — милая сердцу, но отжившая старина. Кругом все чужое, враждебное, непонятное, бессмысленное. Отсюда — ощущение не только разрыва между материей и духом, но и рока, судьбы-злодейки, издевающейся над человеком, игра слепых сил, коловерть.

Дуализм писателя, вера в судьбу-злодейку питаются, таким образом, прежде всего разладом художника с современной «железной» общественной средой. Конечно, дуализм, вообще говоря, старше железного века; дуалисты существовали задолго до нынешней цивилизации; писатель воспринял теорию о двуипостасной твари от «столоверческой» седины, но особая трактовка этого вопроса, заостренность его по-своему об'ясняется именно этим разладом. У Клычкова плоть и дух противопоставляются друг другу не познавательно, а как бы чувственно и этически. К гносеологии он, повидимому, равнодушен, его занимает «непомерность» плоти и ее непреоборимость, но она непомерна потому, что человек забыл о духовном, забыл о главной тайне: все — живое в мире, — предал себя в руки железному чорту, который заместо души привинтил ему гайку.

Спорить с писателем по поводу его воззрения на плоть и на дух здесь едва ли уместно, но одно следует отметить.

Роман Клычкова вновь и вновь подтверждает истину, что расщепление мира на две ипостаси, принципиально враждебные друг другу, есть миропонимание по сути своей пессимистическое и мизантропическое. Эту истину «Чертухинский балакирь» подтверждает не теоретически и отвлеченно, а наглядно, в художественной форме, путем эмоционального опыта художника.

Дуализм — пессимистичен, безнадежен. Только материалистический монизм, рассматривающий «дух», «душу», психическое как функцию «непомерной плоти», материи, примиряет диалектически противоречие, которое мучает Клычкова, и только он, этот монизм, жизнерадостен, не требует подспорья в виде заплотинного царства. Мы знаем стихийных материалистов в художественном слове. Таким был Л. Н. Толстой. Он, как художник, поиному разрешал вопрос о материи и духе. Как художник, он был жизнерадостным язычником.

Сетования Сергея Клычкова на то, что человек вскоре уничтожит все живое, имеют свои основания; его протесты против механизации и стандартизации жизни тоже своевременны, и от них нельзя легко отмахнуться. Недавно американский писатель Синклер Льюис написал превосходный роман «Мистер Беббит»; он показал в нем, как душит и ошаблонивает почтенных мистеров современная буржуазная действительность. Она заставила Беббита, даже Беббита, бунтовать по-своему против этого мертвящего нивелирования и обездушивания.

Механизация — явление грозное, но выхода следует искать не в «столоверческом» прошлом, а в социалистическом будущем: механизация—порождение не железного чорта, а капиталистических общественных отношений. Это смутно сознают иногда — увы, наш русский романист! — даже мистеры Беббиты. Сам по себе «железный чорт» в других руках, при иных общественных условиях несет лишь освобождение человека от власти стихийных, природных сил и от судьбы-злодейки. В «железном чорте» имманентно отнюдь не заложено ничего, что уничтожало бы главную «тайну». Появись сейчас железный чорт в образе, например, трактора в Чертухине, не знаем, устоит ли наш проповедник заплотинного царства от того, чтобы не согрешить и не воссесть

на него для обработки лесной сторонки, если в этом будет нужда? Сдается — не устоит. Ах, силен, силен бес!

Хороши свадебные песни, месяц, Дубна, лесные тропы, романтична подизбица Спиридона, но как бы ни пытался приукрасить спиридоновское житье-бытье писатель, трудно забыть о темноте, о безграмотности, о невежестве, свивших себе прочное гнездо в тысячах российских Чертухиных, трудно и невозможно забыть о тяжелом, под'яремном труде, о батраках, о нищих. Приятно и занятно побеседовать с Антютиком, но когда эти Антютики вдохновляют проламывать головы дрекольем, топить в колодцах врачей, изгонять учителей, изуверски обходиться «своими средствиями», пропадать пропадом ото вши, сифилиса и разных «родимчиков» — весело ли это? Нет, пусть уж переселяется Антютик куда подальше, куда подальше!

IV.

«Чертухинский балакирь» — произведение большой общественной значимости.

Надеюсь, тов. Горький не посетует, если я приведу одно место из его лично адресованного письма: оно имеет прямое отношение к нашей теме:

> «Мне кажется, — писал он этим летом, — было бы своевременным отметить в текущей литературе разноречие двух отношений к деревне, наметившихся уже довольно определенно: поэтизация деревни, нисходящая до сочинений Златовратского и иже с ним, и скептическое отношение к деревне, напоминающее Слепкова. Я говорю не о тенденциях, они еще не слышны, а о настроениях, — это уже есть. Как хотите — думайте, — но все-таки человек бунтует для того, чтобы достичь покоя. Поощрять его в этом следует. Ты, милый, бунтуй, не забывая, что это — работа навсегда, на тысячелетия.
>
> Я встретил «Цемент» Гладкова — произведение не художественное в принятом смысле слова, но и не чисто «агитационное» — с радостью, потому что это у нас первая попытка поэтизации созидающего труда и хотя достаточно корявая, неубедительная в диалогах, — но сопоставьте-ка ее с гекзаметрами Златовратского, которыми он написал картину косовицы в «Устоях», или с гекзаметрами Радимова, с «Сахарным немцем» Клычкова»...

В другом письме — его, к сожалению, у меня сейчас нет под рукой — М. Горький пишет, что разноречие двух отношений к деревне он видит не только в России, но и во французской, в немецкой, в итальянской, в японской и даже в индусской литературах.

Алексей Максимыч несомненно прав: разноречье в нашей литературе наметилось довольно отчетливо.

Мужиковствующая струя у нас чрезвычайно сильна. Пожалуй, она преобладает. Вернее, однако, сказать: у нас есть две струи. Одна из них чрез Всев. Иванова, Леонова («Барсуки»), Сейфуллину, Неверова, отчасти чрез

Пильняка сопутствует, содружествует Октябрю. Эти писатели не боятся «железного чорта» и не ищут в седовласой патриархальности разрешения «проклятых вопросов» современности. Они выросли, воспитались, окрепли в революционной атмосфере. Любя «плоть», деревню, ратуя «за крестьянский мир честной», нередко идеализируя деревню, досадуя, что город «забижает» крестьян, они все же — худо ли, хорошо ли — усвоили, что без города и без рабочего крестьянину некуда податься и что уходить в подизбицу Спиридона — дело негожее и пустое.

Другая струя, — струя Клычкова, Клюева, отчасти Есенина. Не скажу, что они реакционны в узко-политическом смысле. По-своему они и за Октябрь, и за Май, но они напуганы железным веком, городом, они тянут к сыченой браге, к патриархальной деревенщине, не веря в то же время в ее возврат. Они — квиетисты. Им чужда поэзия творческого, преображающего, освобождающего труда, поэзия «рая», творимого человеком по своей воле и хотению, своими руками и мозгом.

Сергею Клычкову в «Чертухинском балакире» удалось найти наиболее яркое художественное воплощение в прозе этим настроениям. Вместе с тем его роман как бы подчеркивает, подытоживает расхождение в нашей литературе двух основных линий: городской, бодрой, призывающей человека преодолеть косность природных сил, и деревенской, пессимистической, уязвленной, пассивной, об'ятой страхом пред веком пара и электричества. Такое расхождение является своего рода сигналом, о нем следует крепко пораздумать.

Впрочем, деревенским писателем Клычкова можно назвать лишь в очень условном смысле. Действительно, и «Сахарный немец», и «Чертухинский балакирь» отражают в известной степени чувства и мысли гибнущей патриархальной, «крепкой», спиридоновской деревни, но Клычков в целом не крестьянский писатель, во всяком случае не писатель трудовой крестьянской жизни. Недаром главным героем его романа, помимо месяца — цыганского солнышка, выступает балакирь, краснобай, лентяй, неудачник Петр Кирилыч, да Спиридон, который больше сидит в своем «скиту», чем работает. Очень много они спят, грезят и вообще «прохлаждаются». Трудовая деревня не показана ни в «Сахарном немце», ни в «Балакире». Она писателя не интересует. В этом коренное отличие Клычкова от прежней народнической литературы, в том числе и от Златовратского, не говоря уже о Глебе Ивановиче Успенском. Клычкова больше занимает фольклор, интимные, узко-индивидуальные и религиозные переживания. Социологически Клычков — довольно причудливая и яркая смесь патриархальной деревенщины, лишившейся корней и устоев, и прежней интеллигентской богемы, в недавнее время посильно эстетствовавшей, но растерявшей за революцию и этот багаж и ищущей теперь прибежища в лунных чарах.

Романы Клычкова — показатели распада нашего народничества. Когда-то крепкое своими общественными настроениями, оно окончательно выветрилось в наши дни. Вместо идеализации трудовой деревни — идеализация фольклора. Вместо Ивана Ермолаевича и подлиповцев — балакирь Петр Кирилыч; широкие общественные цели сменились религиозным атавизмом,

лунными, обманными чарами. Прибавился страх перед железным чортом, совсем затуманились перспективы.

Клычков необычайно талантлив. С точки зрения фольклора роман имеет первоклассную ценность. Писатель сумел показать спиридоновскую, дикую, дремучую Русь в ее плоти. Она встает как заповедный, нетронутый, свежий и пахучий сосновый бор. Ни у Мельникова-Печерского, ни даже у Лескова нет такого телесного ощущения этой Руси. Революция, как это ни странно с первого взгляда, помогла нашей литературе заглянуть в такую канонную Русь, так ее почувствовать, как этого не было никогда.

Художественные достоинства романа высоки и несомненны. Прекрасна и чиста у писателя наша родная речь, разговорный, упрощенный сказ с тонкими, прочувствованными и напряженными лирическими отступлениями, с полушутками, с прибаутками, с умеренной словоохотливостью. Выразительны образы, многие из них запечатлеваются прочно:

«Андрей на лугу так уложит травяные валы — издали примешь за оконный оклад, когда трава на другой день от росы пожелтеет, а пашня — как книга с прямыми строками, раскрытая на самой главной странице: только читай, если разум имеешь»... «Сенька... когда сам было-копнул поглубже на штык, да не пошел заступ, о что-то упершись, так матюкнулся, что, кажется, родная мать его, косоглазая, царство ей небесное, Домна, высунулась с погоста и покачала на сынка головой»... Таких мест в романе много, они обильно и легко рассыпаны повсюду. Образы лишены надуманности и наигранности, от них пахнет и вправду лесной сторонкой.

Освежает язык ряд самобытных, клычковских оборотов и выражений, народных, но очищенных писателем.

Несколько хуже обстоит дело с обрисовкой героев. Клычков больше рассказывает о них, чем их показывает. В романе, например, не доказано наглядно, что Петр Кирилыч — балакирь. Мы должны пока на слово поверить писателю.

Клычков — поэт. Его последняя книга стихов «Домашние песни» выделялась узким лирическим кругозором и тщательной вязью рифм. «Сахарный немец» и «Чертухинский балакирь» — его первые прозаические произведения. В последнем романе он удачно сочетал поэта с художником прозаиком. Это очень редкое сочетание. Клычков показал, как можно, оставаясь поэтом, стать прозаиком. В этом оригинальность его романа с формальной стороны и шаг вперед по сравнению с «Сахарным немцем», романом интересным, но написанным в большой мере по Андрею Белому.

Все это хорошо, очень хорошо.

Но нехорошо, а плохо с спиридоновой верой, с книгой «Золотые уста», с бесами, с лешими, оборотнями, с заплотинным царством. Какая идейная и наивная старина! Обезвреживает эту мистику и лесную чертовщину то, что писателю, видимо, и самому дико порой всерьез говорить об очажных и церковных бесах, о хождении деревьев друг к другу в гости.

По поводу всех этих удивительных и необычайных историй остается сказать словами писателя:

— Это уж да. Это уж да!

Современные художественные группировки[1]).

Д. Аранович.

Истекший год наших художественных устремлений прошел под знаком ряда существенных противоречий кризиса и роста, упадка и расцвета, сокращения и развития. Мы являемся свидетелями того, как кризис выставочных помещений совпадает с исключительным ростом самых разнообразных выставок, количество которых за текущий год насчитывается чуть ли не десятками и, пожалуй, превосходит довоенную норму; нам приходится наблюдать, как углубление и улучшение качества работ отдельных художников и целых группировок обгоняется и затмевается их расширением, ростом по периферии; мы видим, как катастрофическое почти сокращение спроса на произведения станковой живописи сопровождается появлением на наших выставках особенно большого количества их; как итоги длительных дискуссий о синтезе искусств своеобразно иллюстрируются, впервые за все время устроенными узко специальными выставками скульптуры, рисунка, графики и т. п.; как пренебрежение к производственным факультетам наших художественных вузов (Вхутемас, Академия Художеств) уживается с чрезмерным вниманием к случайным ремесленным мастерским АХРР'а; как, наконец, графики, называя себя станковистами (!), стремятся к созданию монументального стиля в живописи («ОСТ»), а живописцы, пытаясь отразить пафос и напряженность революции, приходят к воплощению ее посредством провинциальных картинок этнографического быта (АХРР).

Отмеченная противоречивость сказалась не только на нашей художественной жизни в целом; под знаком ее прошли и выставки отдельных группировок порознь; именно те выставки, которые представляют собой или пытаются представить определенные художественные течения в современном искусстве, в текущем году их было четыре: «Маковец», «Бытие», «ОСТ» и АХРР.

«Итак, если Вы, зритель, ищете здесь отражения жизни, то скука сожмет Ваше сердце, как серый дождливый петербургский день».

Р.

Группа «Маковец» возникла на четвертом году революции, в период расцвета кубо-футуризма; ее первые выступления запомнились, как предвещение переживаемого нами ныне возврата к реалистическому, иллюзионистическому отражению действительности. В этом была социальная значимость первых выставок «Маковца», несмотря на их некоторую мистичность. Последняя выставка «Ма-

[1]) От редакции. Выводы автора об АХРР'е печатаются в дискуссионном порядке. Редакция считает их односторонними.

ковца», если не считать выставки рисунков, состоялась два года тому назад; за это время, естественно, в живописи многое изменилось. Многое в художественном мироощущении сегодняшнего дня для нас стало яснее и отчетливее; формы устремления современной живописи — конкретнее. Отразилось ли все это на живописи «Маковца»? Да, отразилось, но весьма своебразно и неудачно.

Довольно пестрое по своему составу, последнее выступление «Маковца» имело на себе печать художественной неосведомленности и идеологической отсталости. Несмотря на некоторые современные сюжеты, их живописная и формальная программы были настолько скромны, что существование таковых у «Маковца», вообще, должно быть взято под серьезное сомнение, ибо последняя выставка «Маковца» не выдвинула ни единой современной идеологической проблемы, не выкинула ни одного живописного лозунга, который мог бы служить основным, характерным признаком, отличающим данную художественную группу от остальных. Причины того следует искать, главным образом, в самом составе «Маковца». Организовавшись в самые первые годы после революции раньше всех других группировок, когда важно было об'единиться хотя бы как-нибудь, — «Маковец» включил в себя художников весьма различных, подчас чуждых друг другу, направлений. Пока связующий их лозунг реализма был актуальным, они, относительно, еще представляли собой еще нечто целое; когда «реализм» стал всеобщим, и подчас весьма неярким, девизом каждой художественной группировки, — «Маковец» оказался уже не столько группировкой, художественным течением, сколько чисто житейским, организационным об'единением. Все это имело существеннейшие последствия для последней выставки «Маковца». Так, двое наиболее старших и почтенных участника выставки — Н. П. Крымов и А. В. Шевченко выставились каждый в совершенно иной, присущей ему одному манере, которые, никак не повторяются у остальных участников выставки. Пятнадцать этюдов южной природы А. В. Шевченко, выполненные в смелой импрессионистской манере, говорили о продолжающейся близости незаурядного мастера к традициям формально скончавшегося «Бубнового Валета»; в то же время многочисленные этюды Н. П. Крымова при всех их достоинствах в смысле своеобразия освещения живо напоминали изображение природы нашими разночинцами в живописи — передвижниками. При столь резком различии меж собой столпов «Маковца» положение остальных живописцев оказалось, естественно, более чем затруднительным. И, хотя нет основания думать, что они не стремились к некоему художественному единству, — живопись большинства из них говорит обратное. К. К. Зефиров совершенно по-своему сочетает темы передвижников с живописными приемами кое-кого из «Бубнового Валета»; талантливый С. В. Герасимов повторяет начала давно усовершенствованных импрессионистами проблем освещения («Кожевники»), а Н. М. Чернышев стремится достичь современной формы, изображая пионеров с галстухами в виде дегенеративно сухощавых детей города.

Однако было бы не справедливо судить о работах «Маковца» только на основании их живописи. Ибо, если большая часть их картин не может вызвать просто никакой реакции у современного зрителя, то про рисунки многих из «Маковцев» можно сказать обратное. Именно здесь, в сфере интимного искусства рисунка, художники «Маковца», питаемые огромной любовью к своему призванию, создали те маленькие шедевры, которые на сей раз оказались призванными заменить отсутствующие достижения в области станковой живописи. Из рисовальщиков первое место принадлежит безусловно Л. А. Бруни, молодому еще художнику, будущее которого полно самых заманчивых надежд; в его рисунках, цветном карандаше и акварелях, на-ряду с острой и свежей наблюдательностью, неизменно много радостно-яркого ликующего солнечного света; тонкие очертания его фигур и предметов таят в своих всегда изысканных линиях бесконечно много движения, даже тогда, когда художник изображает их в минуты замершего покоя. Однако в области рисунка Л. Бруни не исключение, здесь несравненно интереснее

себя выявили и другие. Не мало достоинств рисунка явил в своих видах Италии С. В. Герасимов; ценную четкость очертаний, много подвижности света, выразительности тени и прочувствованности отдаленных контуров дал в пейзажных рисунках М. С. Радионов; наконец, только рисунками выделился и Н. М. Чернышев, среди юных фигур пионеров которого можно было наблюсти не мало выразительных линий полных, так сильно ожидаемой нами, современной характерности.

«Прежние художники «пользовались» глазом, настоящие — в рабской «зависимости» от него».

Александр Бенуа.

Значительно ярче в художественном, но не менее противоречивой в идеологическом отношении оказалась демонстрация произведений второй художественной группировки — «Бытие». Возникнув еще в 1921 году и выступая с очередною выставкой четвертый раз, данная группировка по-настоящему себя показала только в нынешнем году. Тому способствовали два обстоятельства: во-первых, в состав «Бытия» в нынешнем году вступили одни из лучших представителей «Бубнового Валета» — П. П. Кончаловский, А. В. Куприн и А. А. Осмеркин; во-вторых, независимо от этого, несколько созрели и выросли качественно в своих произведениях некоторые художники из прежнего молодняка «Бытия». Тем более досадно, что в целом, ни формально, ни идеологически, последнее выступление «Бытия» не было для нашего времени актуальным.

Занимая промежуточное положение между левым «ОСТ'ом» и натуралистическим АХРР'ом, «Бытие» неуместно торжественно все еще стоит на позициях французской живописи девяностых, девятисотых годов и так называемых «Русских сезаннистов». Памятуя, что их русские и непосредственные учителя (П. П. Кончаловский и др.) когда-то осуществили у нас несомненно историческую миссию реформаторов живописной формы, — молодые художники из «Бытия» не замечают исчерпания этой миссии «Бубнового Валета», утекшего времени и тех изменений формы, которые произошли за последние пятнадцать лет. Через два года после официального распада «Бубнового Валета», преданные ученики его — художники «Бытия» — сражаются с ветряными мельницами за лозунги, бывшие когда-то боевыми, а ныне уже оставленные их учителями, за задачи живописи, отошедшие, как у нас, так и на Западе, в прошлое... Вместо того, чтобы стремиться к воплощению героической энергии нашей эпохи в новый самостоятельный стиль, вместо того, чтобы создавать органическую форму для выражения наших неповторимых настроений, — художники «Бытия» ограничиваются посильным повторением стиля отошедших в историю импрессионистов и сезаннистов, полагая единственным для того оправданием несомненное мастерство этих выдающихся живописцев прошлого.

Забывая, что всякая форма в искусстве преходяща и что им не остановить колеса истории, художники «Бытия» в своей массе, вместо новых исканий, ограничиваются в итоге старательным подражанием тем или иным образцам. Одна группа их (М. С. Перуцкий, В. А. Савичев, А. А. Лебедев-Шуйский и др.) производят свои художественные исследования преимущественно в области, столь общеизвестных, приемов Сезанна; другая группа (напр., М. Н. Аветов, Г. А. Сретенский, В. М. Новожилов, И. П. Булатов, Г. И. Рублев и др.) повторяют в тех или иных незначительных вариациях различных представителей импрессионизма; так, И. П. Булатов в «Портрете» девушки особенно явно воспроизводит Ренуара; Г. И. Рублев в расплывчатом изображении нашей Тверской-Ямской пользуется в качестве образцов общеизвестными парижскими бульварами Писсаро и его немецкими подражателями.

Конечно, в самом факте подражания выдающимся мастерам прошлого нет ничего дурного. Культура русской живописи всегда была немыслима без значительных порой заимствований с Запада; подражания могут иметь место у молодых и в отношении наших отечественных художников; но подобные штудии имеют только частное учебное значение для данного художника и не могут претендовать на роль художественных произведений, заслуживающих общественное внимание. Кроме того, мы видим, как социально неосмысленное подражание, повторение старых живописных приемов без оглядки на окружающую жизнь, неизбежно приводит молодежь «Бытия» к несерьезному эклектизму; к эпигонству, которое мешает начинающим художникам выражать свое непосредственное восприятие действительности, ограничивает возможности подлинного творчества и, следовательно, роста. Особенно наглядно это сказывается на тех вещах «Бытия», авторы которых, судя по сюжетам, определенно стремились к отражению нашей эпохи. Так, несомненно талантливый, Г. А. Сретенский в своем изображении неудачно им названной комсомолки инстинктивно стремится к монументальному стилю современности; но его рыхлая форма, подражающая П. Кончаловскому импрессионистического периода, ставит художника почти в безысходное противоречие, лишь частично смягченное им меткой, выразительной разработкой лица. И, наоборот, технически менее сильные вещи В. П. Поваляевой («Радиолюбители» и «После работы»), будучи менее подражательными, оказались современными не только благодаря сюжету, но и в силу присущего им некоторого своеобразия формы. Аналогичное противоречие сказывалось и на вещах других представителей «Бытия», где старая подражательная форма противодействовала запечатлению нового, современного образа, несмотря на искренние попытки к тому художников (напр., «Крестьяне» Н. П. Ражина, «Пионер» В. А. Савичева и др.). Правда, среди многочисленных, сравнительно, экспонатов «Бытия» можно было найти в смысле качественном работы весьма удовлетворительные; например, пейзажи В. М. Новожилова, Н. П. Ражина; натюрморты С. А. Богданова, Г. Розанова, рисунки Б. Земенкова и др.; однако решающего значения эти вещи играть не могут. Основная черта данной группировки в целом — непонятное и неоправданное канонизирование импрессионизма и пост-сезаннизма — нуждается в безусловном пересмотре в смысле попыток работы над стилем современности. Отмеченная неуместная ортодоксальность молодежи «Бытия» в отношении к чуждым нам аморфному импрессионизму и абстрагирующему сезаннизму тем более досадно, что от этих принципов отказались уже присутствовавшие на той же выставке недавние и нынешние учителя «Бытия» — П. П. Кончаловский, А. В. Куприн и даже «левейший» А. А. Осмеркин; особенно это относится к П. Кончаловскому, который, впрочем, выставил свои главные вещи отдельно, на индивидуальной выставке.

Сквозь десятилетие войны и революции П. Кончаловский прошел в нашей живописи вождем и вдохновителем упоминавшейся группы русских сезаннистов — «Бубновый Валет», в свое время выступивших против, как всегда, консервативной Академии Художеств. Хотя уже прошло два года со времени официального упразднения данной группировки, как течение русской живописи она продолжает еще существовать по настоящее время в лице ряда художников, вошедших в другие группировки. При таких условиях последние работы П. Кончаловского представляют интерес не только, как произведения незаурядного участника, своеобразного почетного председателя «Бытия», но и как проблематические вехи того пути, по которому, возможно, пойдет дальнейшее развитие разрозненных ныне участников «Бубнового Валета».

П. Кончаловский — слишком крупный художник, чтобы говорить о его росте в смысле качества; все его вещи, несмотря на случающиеся срывы, одни в большей, другие в меньшей степени, говорят об исключительном размере дарования и о мастерстве художника. Вещи, выставленные на обеих выставках охватывают

два последних года работы художника, из которых первый посвящен Италии, а другой — русскому северу. Париж — нынешний законодатель художественных вкусов и увлечений — оставил зрелого живописца нетронутым, никак не повлиял на его творчество; Италия отразилась только своими сюжетами. С большим удовлетворением можно отметить, что, изменяясь, П. Кончаловский прежде всего осуществил закономерность собственного развития и вместе с тем выказал большую близость к основным задачам нашей современной живописи. Последнее сказывается в уходе художника от вялой импрессионистической формы и от анализирующих построений сезаннизма к большому четкому стилю, отмеченному крепостью органической формы и в огромной красочной жизнерадостности, пронизывающей все произведения художника; последнее чувствовалось не только в «Портрете дочери» и в «Автопортрете» (обе вещи приобретены государством), но и во всех остальных вещах, вплоть до кусков материалистического натюрморта его разнообразных пейзажей. Весьма характерно, что в качестве нового и чуть ли не преобладающего сюжета у художника появилась архитектура с ее твердокаменными, четкими очертаниями и монументальными массами. Правда, в изображении итальянской архитектуры бывший импрессионист еще дает себя чувствовать и, подчас, сокрушает новые попытки художника передать в живописи чеканные и ясные линии архитектуры; зато в произведениях следующего года, посвященных монументальной архитектуре древнего Новгорода, живописец уже совершенно изживает свою прежнюю линейность и рыхлость рисунка. Отличаясь незаурядным живописным темпераментом, П. Кончаловский необычайно остро подмечает и передает в своих произведениях пафос бодрости, силы и жизнерадостности, — будь они в облике человека, в живой природе, в свете яркого солнца или в очертаниях и в цвете самых обыденных вещей. Это бодрое мироощущение, которое он неизменно вкладывает в свою трепещущую радостью жизни живопись, делает творчество П. Кончаловского особенно близким в наши дни напряженной борьбы, когда мы обращаемся к искусству за поддержанием своих порой упадающих сил. Социальное значение жизнерадостности искусства П. Кончаловского было особенно сильно отмечено во время последней выставки П. П. Кончаловского в Париже, как друзьями, так и врагами советской России; первые в лице сенатора де-Монзи и других усматривали в живописной мощи и бодрости художника отражение той идеологии, которую принесла с собой «новая Россия»; вторые видели в крепком творчестве П. Кончаловского символ несокрушимой силы большевика.

По сравнению с П. Кончаловским, А. А. Осмеркин вернулся в лоно ординарного реализма пока не особенно удачно; лучшая из его вещей — «Подмосковный трактир» — при свидетельствовании о несомненной даровитости автора, не блещет ни особенно своеобразным колоритом, ни оригинальным толкованием формы. Зато работы третьего и последнего из старших участников «Бытия» — А. В. Куприна — на-ряду с большим мастерством являют не только отказ художника от старых лозунгов французской живописи конца прошлого столетия, но и завоевание каких-то новых форм, вытекающих из глубоко самостоятельного ощущения природы.

Выделяя, таким образом, из группы «Бытия» трех крупных мастеров старшего поколения (П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. А. Осмеркин), мы должны признать основным из'яном данной группировки отказ от поиска новых форм, канонизирование отошедшего в прошлое русского сезаннизма и вытекающее отсюда чрезмерное увлечение подражанием; принцип подражания, как точку отправления собственного творчества, большинство из них подменили подражанием внешним, ограничивающим всякие возможности действительного творчества, но главный недостаток их в том, что в своих художественных устремлениях молодые художники «Бытия» отправляются не от содержания, идеологии эпохи (которое отнюдь нельзя выразить при помощи одного только сюжета), а от наду-

манных в значительной мере формальных задач. По молодости лет, они полагают, что в искусстве можно творить при помощи одной только техники, формы. По этому поводу известный европейский критик справедливо сказал: «Техника есть средство выражения художника, имеющее решающее значение для его искусства, подобно тому, как для оратора и писателя важен его язык; но, разумеется, она имеет не абсолютное, а только лишь относительное значение, по тому, что в настоящем произведении она никогда не является поводом, а всегда только следствием и всегда зависит от того, что художник имеет сказать».

«Во всяком случае, эти живописцы являются корнем, связующими звеньями, добросовестными исследователями, исполненными самых лучших стремлений, которых манит слава, чарует новизна и томит жажда лучшего».

Эжен Фромантен.

В этом году больше всего надежд возлагалось на группу «ОСТ»; их первая выставка, состоявшаяся в прошлом году, встретила необычайно единодушную поддержку и, действительно, сулила многое. За истекший год группа «ОСТ» во многом несомненно успела; состав ее пополнился рядом новых участников из числа нашей наиболее талантливой молодежи и вполне зрелых, подчас, выдающихся мастеров. Как и в прошлом году, группа «ОСТ» выгодно отличается от всех остальных группировок своей наибольшей органичностью и цельностью в смысле живописном и идеологическом; несмотря на то, что такое значительное количество вновь принятых членов делало это единство весьма затруднительным. В целом нынешнюю группировку «ОСТ» можно характеризовать, как серьезнейшее об'единение наиболее талантливых представителей нашей художественной молодежи и кое-кого из старших, стоящих на точке зрения безусловного признания художественного Октября; то-есть — как группу живописцев, которые, придя к реализму, понимают его отнюдь не как возвращение вспять, а как облачение в реальную оболочку всех своих лабораторных формальных исканий предшествующих лет. О правильности подобной художественной позиции спорить не приходится, ибо, несмотря на призывы «назад» одного небезызвестного критика, история подобных возвращений не знает и не допускает. Тем не менее, по причинам иного порядка, последнее выступление «ОСТ'а» страдает все же очень уязвимым местом, которое побуждает нас к весьма серьезным предупреждениям. Дело в том, что при всех своих формальных и прочих достоинствах на последней выставке «ОСТ'а» было значительно меньше того, что сделало ее столь ценной в прошлом году: содержания и формы, как непосредственного отражения современности. Правда, данное замечание относится не ко всем ее участникам; и на последней выставке «ОСТ'а» были вещи глубоко современные (напр., А. Дейнека и др.); тем не менее, в целом на второй выставке «ОСТ'а» наметился явный отрыв молодежи от окружающей среды; вместо питающего духа эпохи, от некоторых вещей «ОСТ'а» повеяло знакомыми образцами Запада; напряженные образы сегодняшнего дня начали оттесняться почти самоценными формально-техническими приемами дня минувшего.

Счастливое исключение оказалось на сей раз, в полном об'еме, только за А. Дейнеке; его «На стройке новых цехов» это — не только талантливейшее сочетание живописи с графикой, плоскостного увеличенного рисунка, с приемами выразительнейшей монументальной картины; для нас ценно, что его работницы получили такое преображение по сравнению с действительностью и такое запечатление в художественном образе, полном выражения физической мощи и со-

циальной силы, какого мы до сих пор не встречали у других художников; для нас важно, что образы А. Дейнека в его рисунках («Деревня», «Текстиль», «В библиотеке» и др.) представляют собой не только следствие его незаурядных технических данных, но вместе с тем художественно осмысливают нашу действительность, многообразно обогащают наше эмоциональное восприятие ее. Вот почему досадно за не менее талантливого П. Вильямса, который на-ряду с мастерским фигурным «Портретом», где искусство рисунка счастливо сочетается с трудностями живописности, дал какую-то совершенно непонятную, никак не осмысленную большую композицию «Пейзаж с фигурами», достойную участи обычных школьных штудий. Равным образом, обидно за третьего юного столпа «ОСТ'а» — Ю. Пименова, который, потрудившись целый год, помимо весьма неплохих рисунков, дал только две большие живописные вещи, из которых ценность одной («Каток») в значительной мере спорна, а другая («Инвалиды войны») представляет собой неприятную по грязно-зеленому тону и своей болезненно напряженной экспрессивности картину, напоминающую соответствующие образцы недавней немецкой живописи, и не имеют ничего общего с нашей современностью.

Весьма относительны в текущем году были успехи и другой группы молодежи «ОСТ'а», у которой заметнее превалируют задачи живописности над графикой. Из них С. Лучишкин, в несделанной вещи которого прошлого года («Трубачи») было столько пафоса революции, тоже, к сожаленью, отошел от духа эпохи к живописным задачам самим по себе и к общеизвестным художественным образцам; в его лучшей вещи — «Вечерами поют песни» — комсомол выглядит маленьким пятнышком на фоне искусно синего неба не только в прямом зрительном, но и в переносном, идеологическом смысле; а почти злободневная по своему сюжету — «Я очень люблю жизнь» — пытается отделаться от сложной проблемы современности в искусстве «литературой», разрешенной в форме живописно-графического плаката с слишком явной оглядкой на Руссо. На сей раз гораздо интереснее показал себя новый участник «ОСТ'а» — К. Пархоменко; нарисованные очень приблизительно, его вещи привлекают мягкими тонами красок (синий и красный) и монументальной трактовкой фигуры («Крестьяне», «Комсомолка» и др.); однако будущее молодого художника пока скрыто за той туманностью, которой он покрывает всю поверхность своих картин; когда эта туманность исчезнет у К. Пархоменко и художник покажет свой колорит и композиционное построение в чистом виде, без намеков и недоговоренности, судьба его определится в ту или иную сторону. Впервые выступившие на «ОСТ'е» А. Лабас и А. Тышлер принесли с собой в данную группировку еще не отстоявшуюся накипь недавних левых исканий с категорическим «все дозволено» в смысле условности композиционного построения, вымышленных, неестественных точек наблюдения, своеобразной фантастики образов и т. п.; достижения первого относятся к цвету в его пейзаже, наблюденном неизвестно откуда, но, во всяком случае, не с поверхности нашей планеты; примечательность второго — в его неисчерпаемой фантастичности образов и в досадливом воплощении живописного мастерства в неизменно неприятные, тускло-грязные оттенки цвета.

Перечисленными художниками, по существу, исчерпывается остов, молодняк «ОСТ'а»; остальные его участники составляют только массу (порой прекрасную), без которой немыслимо никакое художественное выступление, но представители которой не предрешают своим присутствием или отсутствием судеб данной группировки. Из них на первом месте — Д. П. Штернберг и Н. Купреянов, а также Ю. П. Анненков; вещи Д. П. Штернберга вызывают безусловно положительную оценку со стороны качества; однако, поскольку они фигурировали не в каком-нибудь музее живописной культуры, а на современной выставке, в отношении к ним допустим и другой подход; позволительно спросить: насколько они идеологически и живописно актуальны? Признав свои давнишние левые победы за абсолютные и вечные откровения, Д. П. Штернберг все еще ведет

беспощадную войну с сюжетом и «смыслом», предпочитая им чисто живописные задачи, искусность техники и трудность умения, виртуозность. Но ведь виртуоз, сам по себе, как справедливо сказал когда-то Рескин, это еще только фарисей, который любуется самим собой! Входит ли виртуозность в число самодовлеющих задач современной живописи?.. Пожалуй, на этот вопрос придется ответить отрицательно.

Выступление Н. Купреянова было значительно скромнее, но, пожалуй, внушительнее; этот выдающийся мастер литографии и рисунка участвует в данной группировке больше фактически, нежели идеологически; тем не менее, все показанное им, отличающееся большей или меньшей силой, продуманностью до конца или незаконченностью — является несомненным качественным активом «ОСТ'а». Равным образом, безусловно уместным было появление на выставке «ОСТ'а», хотя и нескольких незаконченных, портретов Ю. П. Анненкова, лишний раз свидетельствующих о незаурядных портретных данных этого художника.

Возвращаясь, в заключение, к выступлению группировки «ОСТ'а» в целом, мы должны отметить его несомненный рост, но лишь по линии наименьшего сопротивления; в то время как по линии основной — идеологии, духа эпохи — приходится констатировать досадно значительное отступление. Видимо, прошлогодняя победа, которая далась «ОСТ'у» слишком легко, вскружила молодежи голову и отразилась на степени серьезности их работы. Быть может, наша оценка «ОСТ'а», по сравнению с другими группировками, слишком сурова; но кому многое дано, с того много и взыщется. В искусстве бывают два положения: если таланта нет, нужно его бросать; и, наоборот, когда данные есть, необходимо напряженно и много работать. К результатам искусства приходят в итоге огромного труда. Отмечено ли им последнее выступление «ОСТ'а»? В отношении к наиболее талантливым его представителям на данный вопрос приходится ответить отрицательно.

«Широкая публика гораздо больше разбирается в занимательности сюжета, нежели в художественных достоинствах картины».

Д. А.

«Я верю, что восьмая выставка АХРР ляжет в основу Музея народностей».

Л. Сосновский (афиша АХРР'а).

Когда на предыдущих выставках АХРР'а вызывали недоумение беспомощные в художественном отношении работы его участников, все терпеливо ждали, что́ покажет дальнейшее. В нынешнем году АХРР насчитывает в своей деятельности восьмую выставку; это дает нам основание коснуться данной группировки по существу. Мы постараемся об'ективно разобраться, почему у АХРР'а не мало сторонников и еще больше противников, каковы заслуги и грехи АХРР'а, какова диалектика его внутреннего и внешнего развития?

АХРР возник более четырех лет тому назад, угадав непреложное возвращение нашей живописи к реализму. Современность и правдивое, реалистическое отображение были первыми лозунгами АХРР'а, которые, соответствуя действительным потребностям революционных масс, обеспечили социальную значимость и первые успехи АХРР'а. С самого первого дня его существования АХРР имел только один недостаток: в произведениях его участников никак не осуществлялись ни один из прекрасных лозунгов их декларации; при всех добрых намерениях их авторов, картины АХРР'а всегда были совершенно не художественными. Первое время доброжелательные критики АХРР'а об'ясняли это

молодостью, неопытностью и трудностью задач, которые поставили перед собой живописцы АХРР'а. Однако сами участники АХРР'а на это посмотрели гораздо трезвее и проницательней; в то время как критика и общественное мнение на них возлагали еще всяческие надежды, сами идеологи и учредители АХРР'а почти единодушно решили, что ждать им от себя нечего. Прекрасно сознавая, что по существу лозунг реализма слишком расплывчат, чтобы о нем говорить серьезно, когда реалистами уже стали все; чувствуя, что у них, в их организации нет ничего художественного, и, в то же время, дорожа своим положением,—они решили пойти на крайнее средство: пригласить варягов, только таких, которые согласились бы, чтобы правили ими, а не наоборот. Первые опыты подобного прикрытия своей художественной наготы мы видели на предыдущей выставке АХРР'а, где, на-ряду с передвижнической по своим идеалам живописью основной массы АХХР'а, красовались произведения И. И. Машкова из «Бубнового Валета», Б. Кустодиева из «Мира Искусства», К. Юона из «Союза русских художников» и др. В нынешнем году этот метод художественного «прикрытия» был использован в несравненно большей степени; в АХРР были приглашены на своеобразную роль «шлема и брони» уже не отдельные «имена». У руководителей АХРР'а пробудились своеобразные империалистические тенденции, которые, благодаря наличию некоторых средств, привели к результатам поистине блестящим и плачевным. Из небольшой еще недавно группы слабых художников АХРР обратился в грандиозное профессиональное об'единение, охватывающее, совершенно неизвестно по какому признаку, художников самых разнообразных направлений, различных поколений (начиная с 50-х г.г. прошлого столетия), вкусов, взглядов, уровня мастерства и т. п. Таким образом, полное, казалось бы, торжество АХРР'а совпало с прекращением его фактического существования, как группировки художественной, в том смысле, в каком этот термин принято употреблять. Правда, художники того или иного направления были на выставке намеренно отделены друг от друга, ибо все они распределены были отнюдь не по признаку художественному, а, в зависимости от сюжета,—применительно к карте нашей отечественной географии; тем не менее, поскольку речь идет об искусстве, последнюю выставку АХРР'а можно рассматривать только как своеобразное собирательство осколков бывших группировок Москвы и отдельных многочисленных великовозрастных, но маленьких художников из провинции, среди которых уже почти теряется прежняя группа АХРР'а.

Тема выставки «Жизнь и быт народов СССР», естественно, не смогла оказаться связующей художественной идеей; наоборот, она оказалась наиболее уязвимым местом АХРР'а; ибо, говоря совершенно об'ективно, на эту тему можно было бы составить прекрасную выставку из находящихся в кладовых Третьяковской Галлереи и Русского Музея в Ленинграде многочисленных вещей несравненно более высокого качества. Народы, населяющие СССР, остались те же, что и были; что же касается штрихов современного быта, то будь они запечатлены посредством фото-репортажа, многое из них выглядело бы несравненно убедительнее. В наше время, когда мы так напряженно осуществляем режим экономии, когда насущнейшие потребности в искусстве — будь то живопись, скульптура или архитектура — так ограничены, — можно ли и нужно ли государству собирать со всех концов республики художников (участников АХРР'а) и поддерживать их в работах, по которым со временем можно будет изучать разве только флору и этнографию нашего необ'ятного Союза? В наше время, когда мы так напряженно стремимся к поднятию качества продукции и когда в то же время (не в пример Западу) наши маленькие художники, полные мещанских предрассудков и отмеченные поразительной некультурностью в массе, готовы лучше жить нищей богемой, нежели пойти работать в какое-нибудь текстильное, деревообделывающее или силикатное производство, где они так нужны, — вправе ли мы поддерживать в них ложно романтическое влечение

к «чистому» искусству в виде жалкой станковой картины, так напряженно стремящейся украсить стены какого-нибудь засиженного мухами мещанского интерьера? — Вот вопросы, которые невольно поднимает последняя выставка АХРР'а.

Все сказанное, естественно, не умаляет достоинств отдельных вещей тех или иных художников. По признаку художественной идеологии и качества, все экспонаты АХРР'а можно условно разделить на четыре неравноценные и количественно неравные между собою группы. Из них первая, которую составляют художники «Мира Искусства» (Б. Кустодиев, Е. Лансере и др.) и «Союз русских художников» (К. Юон, А. Е. Архипов и др.), будучи наиболее малочисленной, оказалась, пожалуй, наиболе художественно-яркой. Правда, К. Юон ограничивается в своих вещах, перенесенных с юбилейной выставки, пока только неутомимым искателем «секрета молодости» в искусстве, а Е. Лансере — чутким рисовальщиком в фигурах и почти покорившимся этнографии в изображении природы; зато то, что было показано Б. М. Кустодиевым, в смысле яркости отдельных вещей («Русская Венера», «Женщина с зеркалом» и портреты), можно сказать, покрывает чуть ли не большую часть из всего им ранее созданного и является в его творчестве чуть ли не целым событием.

Весьма незаметно отразилось вступление в АХРР на второй группе, которую составляет бывший «Бубновый Валет». Рассеянные по признаку сюжета по разным концам выставки, эти живописцы все же оставались «близкими среди чужих». Творчество большинства из них проходит под знаком болезненного сочетания изжитого старого и неизвестности нового. Сильнее всех изменился И. Машков; этот талантливейший живописец обрел за последний год необыкновенно бодрую красочную палитру, озаренную бесконечным обилием света; его крымские пляжи и виды крестьянского санатория, в одном из которых красные косынки так удачно гармонируются с роскошью архитектурного фона и торжественностью пальм, полны подлинной жизнерадостности. Однако дальше итти по этому пути художнику нельзя, в противном случае он неизбежно придет к шаблону салонных картинок. Остальным художникам «Бубнового Валета» посчастливилось пока еще меньше. Так, если И. Машков что-то обрел, то В. Рождественский и А. В. Лентулов должны были пока ограничиться только напряженными исканиями, при чем героическая попытка последнего перейти к бытоизображению оказалась мало удачной. Из остальных Р. Фальк, невзирая на все декларации АХРР'а, поглощен скромными формальными задачами в области цвета и света; член АХРР'а по сознанию долга, он по-прежнему - представитель «Бубнового Валета» по влечению вкуса; это дает ему возможность остаться самим собой и найти большую выразительность для своей своеобразной самоуглубленности; и не случайно одна из лучших вещей художника — его автопортрет. Наконец, уже никак не отразилось веяние АХРР'а на В. В. Федоровс, который остается в своих пейзажах «нетронутым», типично «зеленым» представителем все того «Бубнового Валета», каким он был в течение целого ряда последних лет.

К третьей группе последней выставки АХРР'а следует отнести ряд искусных и плодотворных живописцев с большой опытностью и знанием, которые пытались по возможности совместить свои художественные устремления с тематическим заданием АХРР'а — отразить в живописи бытовые черты того или иного района нашего союза. Разосланные по далеким провинциям и окраинным республикам, многие из них вернулись оттуда со свежими произведениями, зачастую возвышающимися над этнографией или протокольным запечатлением быта. Таковы живописные и выразительные акварели Н. П. Шестопалова, посвященные уральским заводам; кубанская «Ссыпка зерна» у Н. Никонова и др. Не лишены достоинств «Погрузка угля» у В. Карева; успели по сравнению с прошлым годом С. Карпов («Кузнецы») и, особенно, Ф. Богородский, последний,

впрочем, с бóльшим вниманием, нежели к этнографии, отнесся к своим темам сугубо богемного свойства («Кот», «Сифилис»); беда даровитого художника в том, что он достиг зрелости таланта раньше зрелости лет; слишком уверенный в себе, он тешит себя игрой в «беспутного гения». К этой же группе средних имен и талантов должны быть отнесены работы необычайно плодотворного и по-своему маститого А. Архипова; одну из лучших вещей на современные темы — «Рабфаковцы» не безызвестного украинского художника Прохорова, где обобщенные идеализированные формы удачно сочетаются с мягкими контрастами колорита. Наконец, сюда же можно отнести «Шкрабы за переподготовкой» Е. М. Чепцова, «Степь» А. М. Герасимова, рисунки Г. Фогелера, Б. А. Зенкевича и др.

Наконец, четвертую и наиболее значительную количественно группу составляет целый ряд живописцев-иллюстраторов; эти труженики искусства, не избалованные судьбой, к сожалению, не сознают ни сути, ни трудностей своего сложного ремесла; жаждущие понять и изобразить, все они большей частью берутся за задачи, доступные одним только гениям; в итоге, вынужденные к тому небольшим об'емом своего дарования, они сосредоточивают свое внимание не на проблемах формы и содержания, а исключительно на сюжете, т.-е. на повествующем литературном моменте живописи.

Каковы же в целом выводы относительно АХРР'а? На этот вопрос ответить довольно трудно, так как суждения об АХРР'е большей частью превратно истолковываются. Мы ограничимся рассмотрением интересующего нас вопроса не столько с социальной, сколько преимущественно с художественной стороны. Здесь прежде всего необходимо отметить ряд больших организационных заслуг АХРР'а и жизненность самой ее идеи. Однако последние два года многое изменили в положении АХРР'а, равно как и в сфере возникающих перед ней задач. За четыре года существования АХРР сумел не только как-то организовать огромное количество художников, разбросанных по всей территории Союза, но и завоевать широкое общественное мнение независимо от качества их живописи. Подобный организационный успех АХРР'а об'ясняется исключительно его лозунгами, которые выставили категорическое требование дать реалистическое отображение нашей трудовой и революционной действительности. В настоящее время АХРР принял такие размеры, что всякие дальнейшие организационные планы в отношении к художникам нашего Союза должны быть неизбежно связаны с АХРР'ом. Обойти АХРР нельзя ни одному художественному об'единению, ибо обстоятельства сложились так, что именно в распоряжении АХРР'а оказалась монополия не только якобы реалистического направления в живописи, но и (что гораздо существенней) монополия правдивого идеологического отображения современной действительности. Поскольку АХРР называет себя *ассоциацией художников революционной России*, выходит, что, кто не вошел в эту ассоциацию, тот якобы против революционной России. Между тем, вряд ли найдется кто-нибудь из художников, кто был бы против революционной России, в то время, как многие, наиболее значительные из них, несомненно против АХРР'а в его нынешнем виде; потому что при всех его идеологических устремлениях, художественная ценность АХРР'а в целом все же весьма сомнительна. Тем не менее, в силу указанных условий, при которых попутчиком в живописи признается лишь тот, кто вошел в АХРР, остается один выход — всем художникам вступить в АХРР. Ибо по существу, мы повторяем, АХРР есть некая *идеологическая* организация, а не художественная группировка, не некое самостоятельное направление в живописи. Это было ясно еще в прошлом году, но на последней выставке АХРР'а получила свое окончательное подтверждение. С одной стороны, под флагом реализма АХРР об'единяет в себе живопись самых разнообразных направлений («Передвижники», «Мир Искусства», «Бубновый Валет» и др.). С другой стороны, поскольку АХРР есть именно *ассоциация художников*

революционной России, а не какая-нибудь группа бытовиков, туда и должны войти все художники, которые себя к революционной России причисляют. Поскольку «напостовцам» не дали художественной монополии в литературе, нет оснований полагать, что подобная монополия будет предоставлена нынешнему АХРР'у в области живописи.

Внешне скрытая, но по существу наиболее существенная черта АХРР'а, как профессионально-идеологического об'единения, должна получить свое дальнейшее развитие и окончательное завершение; АХРР должен быть обращен в действительную Ассоциацию Художников Советского Союза; подобная организация тем более необходима, что, в то время как мы имеем аналогичные об'единения для деятелей в области остальных искусств (Союз революционных драматургов, Союз поэтов и др.), художники почему-то предоставлены самим себе. Только тогда Ассоциация Художников Советского Союза сможет поставить вопрос о художественных группировках по существу, распределить имеющиеся художественные силы нашей страны на те или иные фактические художественные течения. Трудно предрешать характер будущих группировок; тем не менее, этот вопрос безусловно назрел и должен будет в ближайшее время получить то или иное оформление.

О воспоминаниях.

(Критический набросок).

И. Вегер (отец).

Вопрос о достоверности воспоминаний и о пределах пользования ими, как историческим материалом, — вопрос старый. В настоящее время, когда участники наших двух революций пишут свои воспоминания, которые нередко служат и будут служить материалом для истории революции, вопрос об исторической ценности воспоминаний приобретает особо важное значение. Нужно обратить на этот вопрос самое серьезное внимание всех, кто по воспоминаниям своим описывает события революции. Воспоминания заводят иногда пишущих очень далеко от действительности. В отношении достоверности воспоминаний не может считаться достаточной гарантией и имя автора воспоминаний...

Мы анализируем здесь три примера: два воспоминания о первых днях февральской революции в Москве и одно воспоминание из области послеоктябрьской организации советских органов. Воспоминания эти принадлежат весьма ответственным товарищам.

I.

П. Г. Смидович. Выход из подполья в Москве. **Л. Хинчук.** Из воспоминаний о февральской революции в Москве.

Обе статьи напечатаны в «Пролетарской Революции» № 13 (1923 г.), при чем к статье тов. Хинчука даны редакцией примечания-поправки тов. Смидовича.

Тов. Хинчук пишет: «На ночном заседании Совета Рабочих Депутатов, на котором присутствовало свыше 3.000 человек, растерявшиеся «вожди» из комитета общественных организаций вбежали в зал заседаний с криками «Эверт наступает»... Я обратился к испуганным «вождям» со следующим заявлением...» и т. д.

Тов. Смидович делает к этим словам такое примечание: «Это было не в пленуме Совета, а в заседании исполкома, где присутствовало человек 10—12. Да и вся думская зала, как известно, вмещает не 3.000, а всего человек 600—700».

По воспоминаниям одного, присутствовало свыше 3.000 человек, а по воспоминаниям другого, только 10—12. Число присутствовавших на заседании в данном случае исторического, да и никакого значения не имеет. Но, как иллюстрация к нашей теме, случай великолепный. В памяти одного запечатлелась картина, на которой маленькая группа в 10—12 чел., а в памяти другого — картина, на которой — пусть не 3.000, а 700, но во всяком случае битком набитый обширный зал заседаний.

Дальше. Тов. Смидович в своей статье определенно говорит о существовавшем до образования Совета рабочих депутатов революционном комитете и даже рассказывает, как этот комитет, когда образовался Совет рабочих депутатов, «передал Совету рабочих депутатов власть». Тов. Хинчук в своих воспо-

минаниях ни слова не говорит о революционном комитете. Был или не был революционный комитет? Если бы он действительно был, то, надо полагать, такой близко стоявший, очевидно, к событиям человек, как Хинчук, и притом, как он указывает, член Московского Комитета и Центрального Комитета партии меньшевиков, безусловно знал бы об этом органе и даже, вероятно, участвовал бы в нем,— тем более, что, как он говорит, еще с 27 февраля «руководство революционным движением взяли в свои руки партийные комитеты». И раз Хинчук о нем не упоминает в своих воспоминаниях, в которых он подробно описывает, напр., такой пустяковый по существу инцидент, как инцидент с Грузиновым в Исполнительном Комитете, — значит, революционного комитета не было. Но тов. Смидович категорически говорит о революционном комитете. Был или не был революционный комитет? Имеются документы: две прокламации — одна от 28 февраля «Товарищи солдаты» за подписью «Московский временный революционный комитет», другая от 1 марта «Граждане» за подписью «Исполнительная комиссия временного революционного комитета». В своих воспоминаниях тов. Хинчук не говорит о революционном комитете, видимо, потому, что последний не оставил в его памяти заметного следа. Инцидент с Грузиновым оставил у него глубокий след, и он описывает его со всеми подробностями на целой печатной странице.

Таково свойство памяти. В ней запечатлеваются события вне зависимости от сознания человека и, следовательно, непропорционально тому значению, какое ему придает сознание человека. Притом «инцидент» — ярок и образен и запечатлевается; этих качеств может не иметь заседание какого-нибудь комитета. Революционный комитет скоро и легко выпал из памяти тов. Хинчука.

Третий эпизод в этих воспоминаниях, который мы отмечаем, касается вооруженных сил революции в первые дни. Он таков. Тов. Хинчук пишет: «Во время заседания Совета (28 февраля) мы услышали барабанный бой и увидели приближение к думе целой воинской части в сопровождении нескольких офицеров. Мы не могли знать, с какими намерениями приближалась воинская часть. Председательствуя на заседании, я заметил нервные лица, беспокойство, в свою очередь взглянул в окно и увидел уже остановившуюся на Думской площади воинскую часть... Появление двух офицеров, возглавлявших воинскую часть, сразу рассеяло сомнения всех. От имени прибывшей части офицеры просили принять их на службу революции, требуя приказов и распоряжений Совета. С этого момента началась уже организованная, планомерная, энергичная работа. Мы уже имели на своей стороне солдат и могли, в случае нужды, употребить воинское оружие. Немедленно составлен план получения оружия и привлечения других воинских частей. Постепенно одна за другой являлись воинские части группами, полным составом, отдавая себя в наше распоряжение».

Тов. Смидович делает в этом месте к словам тов. Хинчука следующее примечание: «Ничего подобного не было. Еще около недели «в нашем распоряжении» было только тысячи полторы сброда (большинство без винтовок) да пара пушек без снарядов и, кажется, без замков». А в своей статье тов. Смидович пишет: «День и ночь без перерыва приходили люди, подписывались бумажки. Время перепуталось, голова вдруг погружалась в небытие, чтобы опять вернуться к сознанию под толчком кого-либо. Число солдат увеличивалось, но команды никакой не было»...

Диаметрально противоположно описываются в этом пункте события двумя ближайшими участниками. Но тут уж мы имеем вопрос большой важности для истории февральской революции. Было ли так, как описывают воспоминания тов. Хинчука, т.-е. с первого же дня 28 февраля революция имела на своей стороне воинскую силу, или же было так, как описывают воспоминания тов. Смидовича, т.-е. революция около недели не имела на своей стороне никакой военной силы.

Мы взяли только три более резких, исключающих друг друга пункта противоречий в обоих воспоминаниях. Отметим один пункт, в котором показания

обоих авторов, совпадающие между собой, противоречат документам и современной газетной хронике. Это — вопрос о дне первого заседания Совета. Тов. Хинчук определенно называет 28-е февраля днем первого заседания Совета, у тов. Смидовича тоже выходит этот день. По прокламации революционного комитета и по современной газетной хронике, — первое заседание Совета было 1 марта.

Прокламация «временного революционного комитета» от 28 февраля, между прочим, говорит: «... Завтра утром собирайтесь по фабрикам и заводам, устраивайте митинги, выбирайте своих представителей. Пусть завтра же рабочие Москвы станут под руководство Совета рабочих депутатов. Пусть ваши избранники соберутся завтра к 12 час. в здание гор. думы, где будет заседать Совет рабочих депутатов». Газетная заметка говорит: 1 марта в 11 ч. утра было назначено общее собрание Совета рабочих депутатов. Явилось свыше 500 представителей... председателем избран А. М. Никитин»...

Итак, день первого заседания Совета рабочих депутатов был, вопреки обоим авторам, 1 марта.

Итак, даже в таком вопросе, как время первого заседания Совета рабочих депутатов, «показания современников (и ближайших участников) расходятся»...

В каждом из воспоминаний имеются отдельные ошибки, в которые мы могли бы внести на основании своих воспоминаний фактические поправки. Получились бы по ряду эпизодов три версии. Мы не станем делать этого. Мы, в пределах нашей темы, выясним фактические события по одному пункту: анализируем воспоминания обоих авторов о вооруженных силах революции.

Описываемый тов. Хинчуком факт прибытия первой воинской части во время заседания Совета и относимый им к 28 февраля не мог иметь места в этот день. Доказательства следующие. Сам тов. Хинчук говорит, что он председательствовал в этом заседании Совета. А, как известно, председателем Совета был в первом собрании Совета выбран Никитин, что, по тогдашней газетной хронике, имело место 1 марта. Затем Никитин был откомандирован заведывать градоначальством, а вместо него стал председательствовать тов. Хинчук. Таким образом описываемый тов. Хинчуком эпизод прихода воинской части никак не мог иметь места 28 февраля.

День 28 февраля и всю ночь с 28 на 1 марта не только не было в нашем распоряжении какой-либо воинской части, да еще с офицерами-командирами, но и мы сами в думе были совершенно безоружны. Ночью в думе появилось несколько солдат с винтовками. Они стояли в коридорах, карауля массу арестованных, которых приводили в гор. думу (главным образом полицейских), и которыми забито было много комнат. Но это не был настоящий военный караул, а именно несколько солдат с винтовками стояли то тут, то там в коридорах.

Каково было в эту ночь положение внутри думы, показывает следующий факт. Очень поздно ночью мне сообщили, что арестованные волнуются и требуют к себе для об'яснений какое-либо начальство. Я пошел к ним в сопровождении одного солдата, обошел все «камеры». Они были битком набиты. Для меня стало совершенно ясно, что если эта масса арестованных, размещенных в разных этажах, в разных комнатах, взбунтуется, то некому ей противостоять. И я тут же отдал распоряжение — больше не принимать в думу арестованных, но и из думы ни одного человека не выпускать, чтобы снаружи не узнали, что у нас внутри думы нет никакой военной силы.

Тов. Хинчук безусловно ошибается, когда говорит, что 28 февраля днем мы получили на свою сторону воинскую часть, да еще с офицерами-командирами, что мы могли, в случае необходимости, сражаться.

Если бы в эту ночь против нас к зданию гор. думы пришла какая-нибудь маленькая воинская часть (полу-взвод) или подобной же величины команда полицейских, они бы легко овладели думой и нас перебили бы, как цыплят. Масса находившихся внутри думы арестованных полицейских помогла бы им в этом.

Но, с другой стороны, ошибается и тов. Смидович, когда он говорит, что «еще около недели» в нашем распоряжении был только «сброд — большинство без винтовок — и команды никакой не было». Это утверждение тов. Смидовича опрокидывается прежде всего приводимым им же фактом военного парада на Красной площади 5 марта. Парад Московского гарнизона означает, что 5 марта весь гарнизон был «в нашем распоряжении». И, конечно, не в день парада он весь сразу стал наш, а по крайней мере на один день раньше. Но и парад был не 5, а 4 марта. Доказательства этому — фотографический снимок парада с датой, а затем опубликованный тогда приказ командующего войсками Москвы Грузинова от 3 марта о назначении им на 4 марта парада войскам Московского гарнизона и «благодарственного господу-богу молебствия». Таким образом, ясно, что в день отдачи приказа, т.-е. 3 марта, весь гарнизон уж во всяком случае был «в нашем распоряжении».

Итак, в этом пункте — о вооруженных силах революции — воспоминания обоих — и тов. Хинчука, и тов. Смидовича — ошибочны.

Можно было бы к этому прибавить на основании сохранившихся у меня записей, когда и как происходил переход на сторону революции воинских частей Москвы. Но здесь этому не место. В пределах нашей темы вышесказанного достаточно. Отмечу лишь, что присоединение военных частей к революции происходило в течение дня 1 марта и ночи с 1-го на 2-е и в эту же ночь закончилось.

Но вместе с тем слова тов. Смидовича о «сброде без винтовок» верны и имеют свое об'яснение. Когда к нам в «военный штаб» приходили делегации от воинских частей с сообщениями или с предварительными переговорами о своем присоединении, мы предлагали им выйти всем составом из казарм и помещали присоединившиеся части в Большой Московской гостинице (против думы), позднее — в Историческом Музее (тут же у думы). Еще позже мы перестали помещать присоединявшиеся части здесь, оставляли их на своих местах в казармах, а у себя оставляли только делегации — для связи. Наконец, перестали и это делать, ограничиваясь записью телефона присоединившейся части и имени какого-либо ответственного командира для связи со штабом. Из той массы солдат, которую мы поместили в гостинице и в Музее, более активным не сиделось там, и они, с винтовками или без них, приходили в думу. Их тут все время было масса. Их-то и наблюдал здесь тов. Смидович. О них-то он и говорит, называя их «сбродом».

Оба автора воспоминаний излагают положение с вооруженными силами существенно неверно. При этом ошибки обоих носят различный характер. Тов. Хинчук дал неверную дату (28 февраля), ошибшись, очевидно, на 1 день, что в данном случае имеет решающее значение. Ошибочность воспоминаний этого пункта у тов. Смидовича носит другой характер. Одна часть этого пункта («сброд, большинство без винтовок») фактически верна, т.-е. тов. Смидович описывает то, что видел, и видел он то, что в действительности было. Но об'яснение виденному он дает неверное («сброд без винтовок»), ибо то, что он видел, было не все, что было в данном явлении: он не видел и не знал Большой Московской гостиницы и Исторического Музея, куда помещались нами приходившие военные части, и не знал, откуда бралась в гор. думе и что означала эта масса солдат без винтовок. Словом, то, что он видел, было, но это было не все, что было в данном явлении. И потому его описание виденного им явления — существенно неверно. В другой части этого пункта воспоминаний («около недели») он дает фактически неверное определение протекшего количества времени, доверившись своей памяти, не проанализировав при этом своих же других частей воспоминаний (5 марта парад), не сопоставив их.

Кроме этих четырех пунктов воспоминаний обоих авторов, отметим у одного из них один пункт, имеющий особое для нашей темы значение, хотя для истории революции не имеющий никакого значения. В конце своих воспоминаний тов. Смидович пишет: «Когда дней через 10 после начала вечером я вышел из думы,

был теплый весенний вечер... Я в первый раз после восстания шел ночевать домой»... Здесь следует внести фактическую поправку такого рода: всего мы пробыли в гор. думе не десять дней, а только шесть. 28 февраля мы пришли туда, а 6 марта созданный Совет рабочих депутатов перешел из думы в Капцовское училище (в Леонтьевском переулке). Доказательства последнего срока: 7 марта заседание пленума Совета происходило уже не в думе, а в Политехническом музее. 7 марта в думе происходило уже заседание самой гор. думы. 7 марта с утра происходила чистка и дезинфекция помещения думы после нашего ухода. (Все эти факты я привожу по тогдашней газетной хронике). Таким образом, вечер, в который тов. Смидович возвращался из гор. думы ночевать в первый раз к себе домой, был никак не позже 6 марта, т.-е. через 6 дней после прихода в думу, а не через 10.

Эта ошибка тов. Смидовича представляет для нас, для нашей темы особый интерес. Мы здесь имеем интересное психологическое явление. Мне пришлось наблюдать его еще у некоторых и у себя самого. Нам казалось, что прошло значительно больше времени, чем прошло в действительности. Чувство времени делало значительную ошибку в определении количества истекшего времени в революционные дни. Казалось, что события происходили на гораздо большем протяжении времени, чем они в действительности происходили. Так, несколько месяцев спустя, при встречах с участниками первых дней февральской революции, приходилось нам при воспоминаниях насиловать свою память и устанавливать в ней действительную хронологию событий и изгонять ту неверную хронологию, которая там запечатлелась. Очевидно, мы тут имеем дело с какой-то ошибкой чувства времени. Привыкшее к обыденному течению событий чувство времени оказывалось несостоятельным в измерении времени той бури событий и переживаний, какая охватила нас в эти дни. И когда я, пришедший в гор. думу 28 февраля часа в 4 дня и пробывший там 4 дня и 4 ночи, вернулся 4 марта ночью к себе домой, мне казалось, что прошло много-много дней...

Эту психологию надо также принять во внимание при писании воспоминаний о революционных событиях и при пользовании этими воспоминаниями.

Необходимо подчеркнуть, что свои поправки в воспоминания обоих авторов мы вносили здесь, главным образом, на основании тогдашней газетной хроники, которая доступна была и авторам, конечно, когда они писали свои воспоминания.

2.

Н. Семашко. **Октябрьская революция и организация Наркомздрава.**

Эти воспоминания, написанные в 1926 г., относятся к тому времени (1918 году), когда революция регистрировала уже свои действия документами. Воспоминания тов. Семашко в тех частях, в которых он приводит более существенные факты, мы будем сопоставлять с официальными документами и правительственными актами.

Автор пишет: «Правительство Керенского решило созывать «Совет»... Показав свое бессилие уничтожить хаос в медицинском деле, «Совет» так и не созывался». — Центральный врачебно-санитарный Совет, образованный Временным правительством, действовал. И уж при Советской власти мы участвовали в его заседаниях, вели с ним долгую борьбу и, наконец, упразднили его декретом Совнаркома от 19 (6) февраля 1918 г. (См. Собр. Узак. и расп. раб.-кр. правительства 1918 г., № 25.)

Автор пишет: «Весной 1918 г. был создан так называемый Совет врачебных коллегий, в который входили представители различных организаций, ведающих медицинское дело». — Совет врачебных коллегий был образован много раньше и состоял он не из представителей. Декрет Совнаркома об его образовании опубли-

кован 30 января 1918 г., и состоял Совет из врачебных коллегий отдельных наркоматов: внудел, воен, путей и т. д., а эти последние назначены были наркомами или Совнаркомом. (См. Собр. Узак. и расп. пр-ва 1918 г., №№ 5, 6, 20.)

Автор пишет: «Сопротивление ведомств против такого об'единения работы (Советом врачебных коллегий) было колоссальное... Особенно резко было сопротивление военного ведомства, где старые чиновники устроили форменный саботаж». — Ни одного факта ни колоссального сопротивления, ни форменного саботажа автор не приводит при этом. Мы ограничиваемся поэтому простым утверждением, что этого не было. (Я был членом Совета врачебных коллегий и членом коллегии Главного военно-санитарного управления с начала их учреждения до конца их существования. Тов. Семашко членом врачебных коллегий не состоял.) Автор не говорит также, в чем состояли об'единительные действия Совета, против которых ведомства «колоссально сопротивлялись и устраивали форменный саботаж». Кто сколько-нибудь знает существование этого Совета врачебных коллегий, бездеятельного и совершенно ничем не проявлявшего себя, тот не будет говорить о каких-то его действиях, вызывавших колоссальное сопротивление. Для характеристики Совета врачебных коллегий (который, по декрету об его образовании, был высшим медицинским органом в республике подобно наркомату) достаточно сослаться на документ, гласящий о том, что при рассмотрении сметы этого органа в Малом Совнаркоме некоторые члены М. Совнаркома высказывались за полное отклонение его сметы, как органа, совершенно бездеятельного и ненужного...

Автор пишет: «Болтающий, ничего не делающий Медицинский совет Керенского». — Медицинский совет был не Временного правительства, а царского; он отпраздновал свой 100-летний юбилей. Автор здесь, очевидно, смешивает Медицинский совет с Центральным врачебно-санитарным советом, образованным Временным правительством. Но и этот совет автор не может назвать болтающим: как мог этот совет болтать, раз он, как несколько выше удостоверяет автор, и не созывался?

Тов. Семашко пишет: «В июне я имел разговор с В. И. Лениным, который полностью одобрил мои предположения об организации комиссариата, сосредотачивающего в своих руках все дело здравоохранения. В конце июня, — продолжает автор, — я по поручению В. И. Ленина сделал доклад об этом в Совнаркоме, где получил принципиальное одобрение этой идеи. А в середине июля я внес конкретные «Положения» об организации Комиссариата Здравоохранения, которые и были приняты Совнаркомом. 11 июля является, таким образом, днем образования Наркомздрава». — Документы говорят другое. Еще в мае или даже апреле Совет врачебных коллегий назначил комиссию для выработки проекта учреждения Комиссарита Здравоохранения, а 15—16 июня состоялся созванный Советом врачебных коллегий Всероссийский с'езд представителей врачебно-санитарных отделов, который обсуждал этот проект. 30 июня Совет врачебных коллегий представил проект в Совнарком. Меньшинством Совета врачебных коллегий представлено было в Совнарком одновременно «Особое мнение».

Итак, «идея учреждения Наркомздрава» была выдвинута и стала разрабатываться много раньше, чем о ней заговорил, по его словам, т. Семашко. И проект «Положения» был представлен в Совнарком раньше, чем представил, по его словам, т. Семашко. Выставляя себя первым и даже единственным в этом деле, автор, повидимому, рассчитывает, что за 8 лет сошли со сцены жизни все современники и истлели все документы...

Если проект «Положения» о Наркомздраве, обсуждавшийся в Совнаркоме 11 июля, принадлежит лично тов. Семашко, как он утверждает, то, во всяком случае, проект этот не был принят Совнаркомом, а был им отклонен «без перехода к постатейному чтению». Была назначена комиссия, которой поручено было выработать проект в недельный срок. «Положение» утверждено Совнаркомом 18 июля (см. Собр. Узак. и расп. прав. 1918 г., № 52). И таким образом, между прочим,

днем образования Наркомздрава, если установление этого дня важно, должно считаться не 11, а 18 июля.

Тов. Семашко пишет: «На заседании Совнаркома 11 июля были приглашены мы, защитники идеи Наркомздрава, и ее противники: д-р Вегер (отец) и д-р Цветаев». — Мы отнюдь не были противниками идеи Наркомздрава. (Кроме нас двух, был еще здесь и также выступал в прениях и третий противник — Вечеслов.) Мы были противниками представленного проекта и тех способов, которыми он проводился. Это ясно видно из помянутого «Особого мнения», которое мы, меньшинство Совета врачебных коллегий, подали в Совнарком. В этом «Особом мнении», между прочим, указывается, что проект учреждения Наркомздрава «запоздал на 6—7 месяцев». И после нашей критики представленный проект был отклонен Совнаркомом без перехода к постатейному чтению.

Автор пишет: «Решающее значение имело (в заседании Совнаркома 11 июля) выступление тов. Ленина, который эту идею решительно поддержал». — Тут у тов. Семашко непримиримое противоречие: идея была уже, как он раньше говорит, принципиально одобрена в заседании Совнаркома «в конце июня», а в заседании 11 июля вновь потребовалась решительная поддержка этой идеи со стороны тов. Ленина, и только его выступление решило вопрос. Потребовалась еще «горячая поддержка» тов. Смирнова (которого автор неверно называет тогдашним наркомвнуделом). Относительно этого заседания Совнаркома 11 июля у автора имеется еще ряд невязок. Он говорит, что его «предложение далеко не встретило единодушного признания среди членов Совнаркома», что «большинство членов Совнаркома помалкивало», что «тов. Троцкий заявил, что он — не против учреждения Наркомздрава, но он свое мнение резервирует». Все эти указания автора совершенно, опять же, не вяжутся с его указанием, что идея учреждения Наркомздрава получила еще раньше одобрение в заседании Совнаркома в конце июня. В Собр. Узак. и расп. прав. мы никакого следа такого постановления («одобрения») СНК не нашли.

Тов. Семашко пишет: «Приходилось (при организации Наркомздрава) вести линию «собирания» (отдельных частей Наркомздрава) твердо, но тактично». — Относительно «тактичности» при «собирании» комиссариата имеются документы, опровергающие эту самоаттестацию, — в том числе жалобы некоторых организаций. Документы подобные можно, между прочим, найти и в архиве СНК и ВЦИК...

Разобранные нами и сопоставленные с официальными и правительственными документами воспоминания тов. Семашко показывают, что автор их слишком понадеялся на свою память и совершенно не обращался к документальным и другим материалам. Он вполне доверился своей памяти не только в том, чему был свидетелем, но и в том, о чем имел сведения лишь по наслышке. И память завела его очень далеко от того, что было в действительности... Тов. Семашко, конечно, знал о существовании всякого рода документов на взятую им тему. И если он, все же, написал историю кусочка Октября так, как он ее написал — совершенно игнорируя документы и вопреки документам, то в этом виновата не память, а воля тов. Семашко.

3.

Можно бы продлить число примеров ошибочных воспоминаний. Но думаем, что достаточно и приведенных. Они дают достаточный материал для заключений на поставленную нами тему.

Практический вывод: 1) воспоминания надо писать не по памяти, а по материалам; 2) авторы воспоминаний должны отбросить легкое отношение к своим воспоминаниям: дескать, так у меня осталось в памяти, а я... не виноват; 3) умышленно при писании воспоминаний игнорировать документы — зазорно.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Звезда». Лит.-общ. журнал, под ред. Г. Горбачева и А. Зорина №№ 2, 3 и 4. 1926 г.; «Молодая Гвардия». Ежемесячный лит.-худ., обществ.-полит. и научно-популярный журнал ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ. Книги 6 и 7. 1926 г.

Из всего беллетристического материала последних трех книг «Звезды» в чисто художественном отношении выделяется отрывок из романа М. Слонимского «Лавровы» (кн. 4). Основное требование широкого, непредвзятого толкования действительности искусством дает ему немалое преимущество перед многими его соседями по журналу. Не то, чтобы отрывок этот был явлением большой яркости. Тема его — фронт и Февральская революция — уводит нас к тому прошлому, которое уже не может быть воспринято нами, как живая, актуальная современность, но пережитое в той или иной мере каждым современным читателем не освобождает последнего от необходимости разглядывать произведение, как нечто среднее между литературой художественной и мемуарной. Таким образом отрывок становится звеном длинного ряда хроник о пережитом Россией за последние полтора десятилетия. Но сосредоточение авторского внимания на семье инженера Лаврова, его двух сыновьях — рядовом фронтовике Борисе и окопавшемся в тылу Юрии, не может не ослабить значительности отрывка, как хроники: художественный центр его очевидным образом не совпадает с центром эпохи. Отсюда — расплывчатость фигуры Бориса, пребывание которого в облике рядового и участие в февральском перевороте с избиениями офицеров остается довольно слабо мотивированным.

Однако Слонимский, значительно упростивший свою писательскую манеру, ранее (в сборн. «Машина Эмери») далеко не свободную от вычурности, предстает перед нами в «Лавровых» на значительно более высокой ступени своего мастерства. Домашний быт буржуазной семьи, детали индивидуальных психологий, быт армейский, отдельные образы солдат и офицеров даны им хорошо. Уверенно сталкивает писатель сосуществующие в изображаемом лице противоречия в четкий конфликт, этим приемом раскрывая внутренний мир его в неожиданной перспективе:

Слонимский чувствует расстояние, разделяющее внутренний мир человека от его поступков и сознательных мыслей. Он изображает своих героев в пути, проходящими это расстояние на наших глазах. От этого в его изображении — перед нами живые люди.

Это искусство внутреннего жеста, к сожалению, почти совершенно отсутствует в романе А. Тверяка «Трактор» (роман в 3 частях, — в 3 и 4 книгах «Звезды» — первые две части, так что произведение развернуто здесь почти полностью). Это — идеологически выдержанное произведение на острую тему об отношениях города и деревни сегодняшнего дня. К сожалению, трудно сказать о нем что-нибудь большее. Между тем, после повести «На отшибе» мы вправе были ожидать от Тверяка не только идеологической выдержанности, но и искусства. Пафос внутреннего расстояния, чутье психологической перспективы, плодотворно оживляющее побочные интриги и второстепенные фигуры романа (напр., редактор уездной газеты, сотрудник ее Москвин и поповна Соня даны достаточно полно, как живые люди), покидает Тверяка, как только он переходит к развитию основной линии повествования. Роман обилен образами: здесь есть выдержанные

партийцы, буржуазные дамы, сбивающие их с толку (но безуспешно!), есть предатели-спецы, кулаки-мироеды, есть деревенская беднота, сперва забитая и растерянная, но затем объединяемая одним сознательным своим сочленом. Однако, за редкими радостными исключениями, все это маски с предначертанной судьбой. Странным образом автор забывает сообщить нам, как живут эти люди в своем внутреннем мире, как родятся их поступки, мысли и желания, социальная ценность или вредоносность которых подается нам, как голый факт. Отсюда — шаблонность положений: пощечина бедняцкой девушки пристающему к ней интеллигенту (который тут же или еще до этого разоблачается, как взяточник); аристократка замужем за красным директором, отравляющая ему жизнь назойливыми требованиями развлечений и абсолютно чуждая его общественным интересам; выкрадывание у красного директора и к тому же изобретателя-самоучки чертежей его изобретений предателем-спецом, который одновременно является бывшим владельцем завода, управляемого красным директором и т. п. Легко видеть, что все это далеко от новизны.

Несколько живее рассказ Ивана Никитина «Уклон». Образ партийца, ушедшего на землю, чтобы личным примером побудить крестьян улучшить свое хозяйство, вынужденного в силу новых условий своей работы оторваться от работы общественной, но неуклонно проводящего свою мысль о том, что его работа на земле — тоже общественная работа громадной важности, — запоминается. Образ его жены, партийной работницы, томящейся в деревне и, наконец, соблазненной коммунистом «городского» типа на связь и совместную с ним поездку в Крым, — тоже интересен. Но развязка портит дело. Городской коммунист оказывается просто негодяем. В день отъезда он арестован за целый ряд преступлений. Поездка расстраивается. Жена возвращается к мужу. Убедительна ли причина этого возвращения, и разрешает ли она проблему? Конечно, нет. И. Никитину мало было показать внутреннюю несостоятельность затеи, ему понадобилось придать ей оттенок неблагонадежности. Между тем это усердие, которое идет не от художника, портит вещь, все же обнаруживающую в авторе способность к художественной работе. (Напр., хорошо даны колебания женщины перед уходом из семьи.)

Рассказ Д. Четверикова «Братья Рябовы» свободен от недостатка предвзятости. Это повествование о двух братьях, молодых крестьянах, из которых старший, пройдя школу гражданской войны, возвращается на землю и берет на себя всю тяжесть крестьянского хозяйства, а младший едет в город, чтобы при поддержке брата пройти курс учения и стать квалифицированным специалистом. Характеры обоих братьев раскрыты жизненно и правдиво. Не ясно только, для чего понадобилась несколько необычная любовная интрига: старший брат сходится с женой младшего, когда последний приезжает с нею домой на каникулы. И в особенности неясно, что имел в виду автор, столь невразумительно обрывая эту связь: Константин и Евгения расстаются временно, так как их влечение обнаруживает все признаки прочности; а «через лето» младший Рябов снова возвращается с женой в деревню и застает брата женатым и отцом семейства. Все кончается как-то не мотивированно просто, — с той простотой, которая ничего не разрешает.

К группе крестьянских повестей относится еще повесть Я. Коробова «Земляная порода». В книге 2-й «Звезды» — ее окончание. Повесть богата тонко сделанными наблюдениями, раскрытие характеров проведено неторопливо, не насильственно и внимательно. Автор пренебрегает дешевой возможностью использовать то или иное положение для плакатно-обличительных целей, обнаруживая этим несомненный художественный такт (напр., выводя такое явление, как снохачество, он умеет дать ему хорошую психологическую и бытовую мотивировку; вместо этого он предпочитает использовать положение для непредвзятого анализа конкретной ситуации, попутно с большой естественностью раскрывая содержание религиозного момента в крестьянском сознании). Повесть Коробова может быть признана удачной. Вредит ей несколько вялое построение сюжета.

Рассказ Н. Баршева «Водоросли» (кн. 2-я) и повесть М. Козакова «Абрам

Нашатырь, содержатель гостиницы» (кн. 3-я) неудачны. Первый — о сыне царского генерала, эмигрирующем к белым после Октября, о его жене, которая сходится с коммунистом-интеллигентом, и о самом этом интеллигенте — страдает излишним психологизмом, при чем содержание драмы (это — семейно-любовная драма) остается очень неясным. Есть в нем и такие места: «Вот, Оля, два слова: любовь и революция. Они связаны духовно, ибо и та и другая не могут быть перманентными. Кроме того, обе несут за собой диктатуру».

Это сказано героем рассказа в шутку, но и самый рассказ, написанный автором, всерьез метит не дальше подобных... банальностей. Что касается М. Козакова, то достаточно будет двух выдержек, взятых наудачу, чтобы стало ясно, что перед нами макулатура, только по несчастной случайности попавшая на страницы серьезного журнала:

«Черные, как маслины, глаза казались слегка щурящимися и близорукими от того, что годы женщины отложили уже у зрачка жирноватые сгустки чуть пожелтевших волокнистых сосудиков».

«У него не было жены, но он несколько раз в месяц приводил к себе в гостиницу различных женщин и был горд их откровенными похвалами его мужской настойчивости и изнуряющей их силе самца».

Кроме этих «жирноватых сгустков» пошлости (есть там и пожирнее) в новом произведении Козакова решительно ничего нет.

«Новеллы» М. Карпова (с характерной надписью — «Посвящаю Вере») сделаны слащаво, сантиментально и не без терпкой примеси плохо проработанной средствами искусства эротики. Печатать их тоже едва ли стоило.

За недостатком места мы не можем остановиться на стихах и литературно-критическом отделе журнала. Из стихов отметим лишь «Саранчу» Н. Тихонова (кн. 2-я) — одно из наиболее удачных стихотворений этого поэта. В лит.-критическом отделе есть заслуживающие внимание статьи. К ним нужно отнести прежде всего статью Лелевича «Марксистское литературоведение и биография художника», дающую, несомненно, правильное разрешение этой оживленно-дебатируемой в литературоведческих кругах проблеме. Статья Штейнмана о Фурманове дает хороший анализ произведений покойного писателя.

Книга 6-я «Молодой Гвардии» огорчает читателя рассказом Пант. Романова «Без черемухи», а 7-я радует прекрасным отрывком — «Пути-дороги» — из романа Ал. Фадеева «Разгром». Как и в неудачных «Рассказах о любви», П. Романов ставит в новом рассказе проблему пола. В нем фигурируют учащиеся вузов. Автор ставит себе серьезную задачу: осудить нигилистический подход к женщине, характерный для известной части нашего студенчества. Фигура рядящегося в жалкую тогу пошлости студента удалась Романову. Но девушка вышла фальшивой, как обычно у этого писателя, совершенно ошибочно полагающего, что все тайники женской психологии досконально ему известны. Студентка, по замыслу автора, должна быть чуткой девушкой, неожиданно наталкивающейся на грубость и почти намеренное непонимание со стороны мужчины. Но в действительности она ведет себя просто глупо, и в глазах читателя вся ответственность за ее поругание падает на нее же. Рассказ, таким образом, далек от того, чтобы достичь цели, поставленной себе автором.

Отрывок из романа Фадеева обещает, что роман этот будет явлением незаурядным. Автор прекрасно владеет даром оживления действующих лиц, которые проходят перед нами в серии картин партизанщины, как живые и вполне оригинальные образы. С большим художественным тактом Фадеев подводит читателя к классовому моменту лишь через индивидуальное, не забывая заставить нас узнать и полюбить изображаемое им лицо, раньше чем подвести нас к обобщениям. Приемы раскрытия психологии обнаруживают в Фадееве ученика Л. Толстого, и хорошего ученика, уже вступившего в период самостоятельной и успешной творческой работы.

Роман А. Адалис и Сергеева «Хевес Хюти», судя по первым двум главам (в кн. 6-й и 7-й), обещает быть хорошим приключенческим романом, если только авторы не поступятся художественностью за счет занимательности. Об увязке приключенческого момента с идеологическим судить пока трудно.

Очерк Фраермана «С советским паспортом за границей» отнесен к беллетристике не совсем основательно: это скорее путевой очерк в узком смысле слова; художественная его обработка сбивчива и особого интереса не представляет.

В отделе стихов и здесь отметим оригинальное и прекрасно сделанное стихотворение Н. Тихонова «Избиение трутней», повидимому, из той же серии, что и выше отмеченное стихотворение «Саранча», а также стихотворение Асеева «Заплыв».

Журнал печатает и иностранцев: в 6-й книге это У. Синклер с небольшим драматическим этюдом — «Человек вторых этажей», по сюжету напоминающим «Вора» О. Мирбо, но со свойственной Синклеру большой социальной насыщенностью; в 7-й — Макс Бартель с повестью «Мельница мертвого человека» — на тему об империалистической войне, которую писателю удалось, однако, подать свежо и сочно.

Д. Горбов.

Ковш. Литературно-художественный альманах. Кн. 4-я. Гиз. М. — Л. Стр. 243.

Каждый из участников альманаха имеет свой частный ковш или ковшик, которым он черпает живую воду современности, чтобы затем подвергнуть ее художественному испытанию и анализу. И каждый — за исключением М. Горького, взявшего особую тему и прибегнувшего к особым приемам выполнения, о чем речь будет в конце, — черпает не из генерального русла современной жизни, а из ее побочных притоков и ручьев. И вместе с тем иным авторам удается отыскать созвучные ритмы покоя и движения всего неделимого водного потока, которым подчиняются отдельные подвижные капли, уловленные авторскими ковшами.

Хотя все участники сборника производят свои опыты анализа и испытания с творческим увлечением, серьезностью и сосредоточенностью, только немногим удается воспроизвести краски, звуки и запахи, которые как соленые брызги на морском ветру пахнули бы на читателя большим, заманчивым и влекущим дыханием нынешней исторической погоды.

В этом смысле подкупающе-непретенциозны страницы «Чижиковой лавры» Соколова-Микитòва — тихие и проникновенные, как затерянные и далекие, но внятные грустные русские песни. Ответственные и трудные ситуации затканы личными авторскими воспоминаниями. Но обособленность этих воспоминаний автор включил в такую осязаемо-правдивую оправу больших человеческих и гражданских чувств, что переплавил ими свои страницы в документы неустоявшегося и тревожного искусства наших дней. «Чижикова лавра» — это история русских военнопленных времен интервенции, мытарствующих по заграницам вплоть до полного упрочения нашей республики. Голос республики доносится до интервенированных едва-едва, искаженным, заглушенным, с перебоями. Он доносится до них через чудовищные вести о голоде, через случайные встречи, через злую газетную галиматью и, наконец, через приемные наших консульств, через рабочие и революционные волнения тех стран, где они являются вынужденными эмигрантами.

Тихая и покоряющая сила страниц Соколова-Микитòва сказывается в том, что полный и глубокий мотив любви к республике нашей он заставляет звенеть не ходульно-героическими побрякушками, а теми неподдельными инструментами, что называются душами человеческими, да притом еще нахлебавшимися горя-горького у чужих порогов. Этот полный мотив то тонет, то всплывает в оглушительном реве оркестра бешеного международного торжища людьми и народами. И все это передано без фанфар, патетических, искусно-приподнятых, фейерверочных слов и красок. Язык целомудрен, чист, скромен и правдив как в интимной дружеской беседе.

Окончание повести Каверина «Девять десятых судьбы» должно было бы занять второе место как по своим размерам, так и по значительности, взятых для разработки, темы, материала и попыток широкого размаха. Но ни то, ни другое, ни третье не получило у Каверина органически согласованного и ясного разрешения. Основной порок этой работы, не искупаемый своеобразными и эпизодическими достоинствами, заключается в том, что

эта вещь, претендующая на отражение некоторых генеральных черт октябрьских дней и их кануна, лишена фона.

«Роковое» шагание и шатанье прапорщика по белому и красному полю борьбы не детерминировано ни внутренними, ни внешними передаточными сцеплениями и включает в себе $^{9}/_{10}$ нерационально навязанной неврастении и ни $^{1}/_{10}$ пороха эпохи, в дыму которой прапорщик болтается как подставное чучело героико-истерического интеллигента с надрывцем. К тому же образ и понятие судьбы, имеющие свою большую литературную — и не одну только литературную — преемственность, разработку и истолкования, требуют новой свежей формулировки. Каверин самым фактом названия поставил большое ударение над этим образом, но не отважился ни развенчать его, ни снять с него заплесневелые покровы прошлого, ни насытить жаром индивидуального художественного убеждения. А это отсутствие черт, которые сопрягли бы характер центральной фигуры с характером эпохи, убивают исторические — подчас документальные — вылазки Каверина, не давая им возможности стать органическим фоном для прапорщика, которому $^{9}/_{10}$ слагаемых неудачливой судьбы могла навязать не только октябрьская, но и иная историческая и неисторическая обстановка.

Своеобразный оптимизм, отвоеванный у трудных и жестоко запутанных современных будней, неуклонимо слитых с героизмом недавнего прошлого, запечатлен в рассказе Сейфуллиной «Налет» и стихах Жарова «У лесной опушки». Кстати, в этой вещице Жаров не грешит примитивным и наивным рационализмом, выхолостившим не мало строчек в его политических стихах. И у Сейфуллиной и у Жарова в названных вещах пленяет ароматный языческий оптимизм. Он прорывает непритязательную, наносную внешнюю кору «грубости» современной молодежи и открывает ее свежие, жизнерадостные оценки и переоценки человеческих страданий, тягот и трудностей, переоценки, выкованные в войне за право на новую жизнь.

Умно вовлекает в сеть своего рассказа «Конь» из пограничного еврейского быта Л. Раковский, сбиваясь и запутываясь к концу. Свои маленькие, обособленные достоинства, но спорные в смысле трактовки тем, имеют рассказ Гладилова, сказ Валова и бытовые штриховки Добычина.

Стихи Тихонова, Пастернака, Клюева и др. требуют детального разбора под углом зрения их общей поэтической линии, здесь только отметим, что почти все поэтические работы в «Ковше» формально перенапряжены и перегружены и не всегда легко и свободно сочетаются с внутренним материалом.

Особняком стоит рассказ М. Горького «О тараканах», отшлифованный и отполированный из холодных камней и исполненный «иронического посвистывания». Умер человек «на ходу». Это обстоятельство толкает фантазию писателя на воспроизведение его жизни, хотя умершего он не знал.

У Достоевского есть в одном из дневников запись темы для рассказа о человеке, который сам себя сочинял, «самосочинялся». Карикатура на такую самосочиняющуюся фигуру и воздвигает М. Горький, при чем обстановка и самая фигура взяты им из доподлинной реальной жизни. Платон — сын жандармского ротмистра — не мог ассимилировать того общественного разума, коим его начиняли отец, школьный учитель, соседи, и он на свой салтык лавировал между ними, плененный иррациональными вещами и явлениями — музыкой, цирком, стихами. Но и обыденные вещи привлекали его какой-то нереальной стороной. Он жил с людьми, как с тараканами, с тараканами, как с людьми, и умер пугливо «на ходу», как таракан.

«Возможно, — заканчивает М. Горький свой рассказ, — что «нездешний» человек, умерший «на ходу», не тот, о котором я рассказал, что он не так жил, не так чувствовал и думал. Но все существует лишь для того, чтобы о нем рассказать. И совершенно недопустимо, чтобы какой-то человек валялся мертвым на берегу лужи и чтобы поэтому нельзя было ничего рассказать».

Сгущенно и холодно собраны в этом рассказе некоторые новые мотивы у М. Горького, мотивы об ирреальном, которым дается неожиданное и новое в русской литературе звучание. М. Горький со спокойствием, почерпнутым из

огромного опыта жизни, не только стоически иронизирует над ирреальными началами, что плещут в человеке и вокруг человека, но нередко пользуется этими началами, чтобы приемами карикатурных контрастов осмеять чванливо-окостеневающий разум, коим часто подменяют разум ищущий и подвижной не только фигуры тараканьи, но и исторические.

С. Пакентрейгер.

Иосиф Уткин. Повесть о рыжем Мотеле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох. Библиотека Прожектор. Иллюстрации К. Ротова.

Повесть о рыжем Мотеле безусловно является выдающимся незаурядным произведением современной литературы. Писать сатиру на еврейское мещанство (на русском языке), не впадая при этом в излишний шарж, утрировку, остроумие Фридмановского толка (Мендель Маранц), очень трудно. Писать же об этом в стихах еще труднее. Однако Иосиф Уткин этих опасностей избежал. Он дал остроумное, оригинальное произведение, дал едкую сатиру на старое и показал ростки нового.

Сюжет «Рыжего Мотеле» несложный. Еврейский бедняк, портной рыжий Мотеле перерождается под влиянием революции, принимает ее, примыкает к ней и становится комиссаром. Кроме него в повести фигурируют господин инспектор и раввин Исайя — символы угнетения рыжего Мотеле. После революции раввин предлагает Мотеле свою дочь в жены, инспектор же «сидит и колет текущие дела».

Однако с первых же строк повесть захватывает читателя. Очень удачен и оригинален стиль ее, отлично передающий особенности ритма построения, тональности еврейского жаргона. С первых же строк создается соответствующее настроение, способствующее дальнейшему восприятию произведения.

Другой прием творчества Иосифа Уткина, подкупающий читателя, это — удивительное сочетание острой сатиры, юмора с лирическим раздумьем, мягкостью, глубокой теплотой, пониманием человеческого. Смех и грусть различными тонами переливаются в творчестве Уткина, придавая ей красочность. Сочетание же сатиры и лирики, усиливая, углубляя первую, одновременно делает ее мягче, человечнее.

Наиболее интересны и удачны первые две главы повести Мотеле эпохи «до без царя» — классический тип забитого еврея-бедняка дореволюционной эпохи. Его вы могли, и отчасти и теперь можете, встретить в маленьких еврейских местечках и еврейских квартирах городов южной России.

Квинт-эссенция его жизненной философии.

Так что же. Прикажете плакать.
Нет, так нет...

какой-то пришибленный фатализм, характерна для веками угнетенной, лишенной всех человеческих прав народности.

Да, под каждой слабенькой крышей,
Как она ни слаба,
Свое счастье, свои мыши,
Своя
Судьба.

И вот Иосиф Уткин проявляет достаточно чуткости в понимании этого. Герой его повести, если это слово вообще в рыжему Мотеле применимо, жалок, смешон, но пробуждает в читателе чувство жалости, сожаления, боли, а не презрения и злобы. Мотеле — продукт определенных условий, среды; прошлое еврейства кристаллизуется в рыжем Мотеле и служит ему историческим оправданием.

Но вот наступает революция

Этот день был таким новым,
Молодым, как заря.
Первый раз тогда в Кишиневе
Пели не про царя...

и рыжий Мотеле под влиянием этого нового, пробуждается от сна, перерождается, ибо

Иной утюг,
Иная крыша —
И тот же самый человек
Вам будет
На голову выше.

Рыжий Мотеле превращается в комиссара Блоха. Он идет со звездой во главе отряда, смотрит в корень и по существу он «от и до» сидит в сердитом кабинете.

И здесь — то слабое, уязвимое место повести. Между рыжим Мотеле и комиссаром Блохом нет достаточной преемственной связи, нет внутреннего единства. Это превращение не убедительно, для поднятого революцией еврейства не типично, а потому и не социально-значимо.

И Уткин чувствует фальшь, понимает это, говоря в заключении

Не-ет он шагал недаром
В ногу с тревожным веком.
И пусть он — не комиссаром,
Достаточно
Че-ло-ве-ком.

В этом смысл. Революция сделала Мотеле человеком наравне с другими; она дала ему родину, из которой он «не уедет,— и даже в Америку».

Милая, светлая родина.
Свободная родина,
Сколько с ней было пройдено,
Будет еще пройдено.

Комиссарство Блоха приобретает условное, символическое значение.

Инспектор и раввин играют в повести вспомогательную роль. Они являются штрихами, характеризующими дооктябрьский быт. Они являются фоном, на котором вырисовывается фигура рыжего Мотеле.

Несколько слов о второй главе. Она в высшей степени интересна своей двойственностью. Три кишиневских чуда, с одной стороны, показывают, какой глубокий сдвиг произвела в массе революция. Ибо действительно, если Мотеле уже не мечтает о курице, а идет во главе красноармейского отряда, если Хаим Без поборол тысячелетнюю традицию и отказался делать сыну обрезание, то это означает колоссальный сдвиг, который бывает «в сотый век и не чаще», который перепутывает все нити дорог.

Но, с другой стороны, как убого это мещанство, этот торговый ряд, который видит в революции только то, что жена инспектора весит уже не семь, а пять пудов.

Чудо же кишиневского масштаба — не для их понимания.

Очень удачны иллюстрации Ротова, оживляющие книгу.

Марк Адлер.

Иосиф Уткин. Повесть о рыжем Мотеле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох. Москва. Изд. «Правда».

К политической поэме, каковой является стихотворная повесть И. Уткина, мы вправе предъявить два основных требования: идеологическая четкость и художественная правдивость. Само собой разумеется — поэма должна удовлетворять и определенным формальным требованиям современной поэтической техники. Начнем с последней.

Приятно поражает в молодом авторе несомненная техническая культурность: живая, разнообразная строка, не скованная мертвым метром, свежая, собственная рифма, частые и удачные ассонансы, стройная и легкая композиция. Местами попадается и интересная — правда, сильно стилизованная — образность: «без толку висели пуговки звезд и лунная ермолка»... Язык поэмы разговорно прост и нередко дает ощущение подлинной местечковой еврейской речи. Хуже обстоит дело с чисто бытовыми штрихами в поэме. Вот два бросающихся в глаза «lapsus'а». Первый: «Думал учиться в хедере, а сделали портным». Посещение хедера совсем не исключает возможности стать портным, ибо хедер — школа первой ступени, которую посещали все еврейские дети, в том числе и будущие портные. Косвенно это подтверждается и следующей строкой из поэмы: «по пятницам Мотеле давнал». Если бы Мотеле не учился в хедере, он бы не умел «давнать» на древне-еврейском языке... Второй «lapsus»: «пусть по-новому, Исайя, стол тебе послужит». Речь идет о смерти раввина, и автор не знает, что по обрядам еврейской религии мертвецов никогда не кладут на стол, — тем более мертвого раввина...

Центральным героем поэмы является портной низшей квалификации, так назы-

ваемый «тандетник» (занимающийся починками). Его переживания, его духовный рост и, наконец, совершившееся перерождение свидетельствуют, по мысли автора, о национально-революционном преображении еврейской трудовой массы.

Сразу выступают в поэме Уткина две большие неясности. Первая — о каком революционном потрясении говорит автор. Если о первом, «общедемократическом» (с «арестом полицеймейстера»), то, конечно, никакого перерождения он повлечь за собой не мог. Слишком он был кратковременным и слишком не благоприятствовала окружающая обстановка для подобного перерождения. Если же речь идет об октябрьском периоде революции, о гражданской войне, то последняя совершенно не соответствует тем идиллическим, сахарно-медовым краскам, какими изображен в поэме этот период революции в «еврейской черте оседлости». Этот период, в действительности, характеризовался не только обычной во всем СССР ярой классовой войной (о ней ни слова в поэме), но и рядом кошмарных еврейских погромов, учиненных бандами Деникина, Петлюры, Балаховича и прочих героев «демократии». Об этих погромах также ни слова в поэме.

Просветлеть духом и «очеловечиться» (термин автора) вполне возможно было в этот второй, октябрьский, период, но показать этот процесс просветления следовало не на рыхлой и бесформенной психологии ремесленника-тандетника, а лишь на крепкой и мужественной фигуре еврейского рабочего. Уткин этого не сделал, и потому никакой художественной убедительности его показ не имеет.

Вопросы идеологические... В них автор младенчески беспомощен. В чем политическая мудрость поэмы? Совершенно неожиданно (нам кажется — и для автора...) она дана в заключительных строках: «можно и без галопа к месту приехать: и Мотеле будет штопать наши прорехи». Эта нищета философии автором выдается за философию еврейской нищеты, пережившей и творившей Октябрь.

Поэма Уткина лишена и идеологической чистоты, и художественной правдивости. Она так же политически расплывчата и мягкотела, как Есенинская поэма «Товарищ». Основной мотив обеих поэм выражен почти в одинаковых словах. У Есенина: «Он не задаром прожил, недаром мял цветы», у Уткина: «Нет, он шагал недаром в ногу с тревожным веком». Дальше этой идеалистической и туманной формулы «недаром шагал и прожил» не простирается политическая зрелость обоих поэтов [1]...

Если поэма Уткина не оправдана, как национально-революционный художественный памятник, в ней есть, однако, ряд прекрасных частностей, обнаруживающих у автора и наблюдательность, и вкус, и чувство меры. Кроме формально-технических достижений, о которых мы говорили выше, следует по справедливости отметить и ряд отдельных художественных осколков, радующих читательский глаз. Таковы — лирические концовки:

Час кончины — он приходит
Тихо-тихо, не услышишь.
И уходит молча счастье,
И уходят
Мыши...

Непретенциозные афоризмы:

Иной утюг,
Иная крыша, —
И тот же самый человек
Вам будет
На голову выше...

Еврейско-мещанские «словечки»:

Такую бы жизнь Ленину,
Хорошую
Как у нас...

. . . .

Главное (чтоб он сдох)
В отряде
С могиндовидом
Мотька
Блох...

И это великолепно подмеченное, раввинское тоскливое «пло-ха»!..

Для молодого поэта все эти подлинные художественные искорки, обильно рас-

---

[1]) Есенинская поэма помечена «Март 1917 г.». Уткинская же — к сожалению, «1926 г.»!

сыпанные на страницах неоправданной поэмы, служат залогом и обещанием новых, более зрелых, поэтических достижений.

Лев Повицкий.

Вл. А. Гиляровский. Москва и москвичи. Воспоминания. Из-во Всероссийского союза поэтов. М. 1926. Стр. 127.

Старый журналист и поэт Гиляровский собрал, в большинстве случаев печатавшиеся в разных повременных изданиях, свои очерки Москвы 70—80 годов. Очерки прочтутся широкой публикой с большим интересом, но они далеко не равноценны. Всего в книжечке собрано 5 очерков, рисующих быт Хитровки, Сухаревку, московские трактиры, Долговую Яму и некий мрачный дом на Тверской, против Брюсовского переулка, своей дикостью выделявшийся даже среди и без того дикой Москвы того периода. Наибольший интерес несомненно представляет первый очерк, посвященный московскому «дну». Достоинство Гиляровского, как бытописателя, в том, что то, о чем он пишет — он хорошо знает. Он почти не говорит с чьих-либо слов. Он везде и всюду бывал сам. И очерк о Хитровке является плодом его многолетних наблюдений. Перед читателем развертывается жуткая картина царивших там нравов. Кровавые расправы, дикие оргии и рядом с этим какая-то невероятная своеобразная честность (сцена с Гл. Успенским), — все это проходит перед смятенным читателем. Насколько живуча была эта Хитровка, показывает хотя бы то обстоятельство, что окончательно уничтожить ее удалось только теперь уже при Советской власти — года два тому назад. Во втором очерке Гиляровский знакомит нас с неписанными законами московской «Halles Centrales» — Сухаревки. Замечательна фигура Смолина, совмещавшего в себе все функции теперешнего уголовного розыска. Колоритны фигуры антикваров. Третья глава специально посвящена московскому чревоугодию — с любовью и смакованьем автор, переходя от трактира к трактиру, описывает Лукулловские обеды того времени. Эта глава наименее интересная. Слишком уж много места уделено излишнему перечислению чудовищных яств, потреблявшихся именитым купечеством. Некоторый интерес представляют в этой главе страницы, посвященные быту трактирных служащих.

Издана книга прилично.

Борис Киреев.

Марио Собреро. Знамена и люди. Авторизованный перевод с итальянского А. Ширяева. Предисловие Валентины Дынник. Артель писателей «Круг». 1926 г. 244 стр.

Роман Марио Собреро из жизни Италии последних лет не принадлежит к числу тех книг, которые оцениваются, как приятно-художественные. Значение его совсем иное — это широкое и, надо думать, верное изображение итальянской общественности, интересно разработанные характеры. Говоря так, мы считаем нужным отметить, что художественность романа сведена к минимуму, быть может, сознательной волей автора. Эта сухость письма, отсутствие воздуха и красок, того, что можно было бы назвать орнаментом, как-то необходимы для того, чтобы передать атмосферу удушливых послевоенных годов, обездоленных семейств, мрачной и безнадежной борьбы коммунистически настроенных рабочих с фашистами и жандармерией. У автора нет ни лирики, ни иллюзий — он склонен рассматривать всякую партийную борьбу, как трагическое междоусобие, как бесцельную бессмыслицу: глубокое разочарование, воплощенное в двух действующих лицах, Давиде и Пьетро, передает в этом смысле и его собственное понимание событий в Италии накануне победы Муссолини. В его изображении, фашизм — вульгаризованное ницшеанство, близкое философии войны немецкого генерала Бернгарди, коммунизм — героическое отчаяние, бессильное перед слабостью, трусостью и неорганизованностью толпы. Поэтому коммунист Пьетро, такова логика автора, приходит к выводам, до конца индивидуалистическим:

> «Теперь я действительно один. В одиночестве, к которому я стремлюсь, я чувствую, как с каждым днем растет

моя сила... Если перед этой чудовищной несправедливой жизнью другие должны сгибаться, — я не принимаю ее ни для себя, ни для других. И никогда не приму! Я хотел бы иметь голос такой могучий, чтоб весь мир слышал меня. Я хочу найти способ крикнуть это — нет!» (230 стр.).

«Нет» сводится к неудачному взрыву завода — Пьетро умирает от раны. Своеобразная прямолинейность и последовательность этого характера прослежены автором с большим вниманием и тщательностью. Однако конец Пьетро принадлежит скорее общей концепции романа, чрезвычайно пессимистической и показательной для настроения той части итальянской интеллигенции, которая, стоя в стороне от кровавых событий последних лет, относилась к ним, главным образом, с гумманистической точки зрения.

Остается сказать о построении романа. Нам оно кажется удачным. Все происходит в кругу одной семьи, связанной близким родством, но разделенной партийными и политическими интересами. Это придает всему еще более трагический, зловещий и реальный характер. Итак, роман Собреро представляет несомненный интерес.

К. Локс.

Л. Войтоловский. История русской литературы XIX и XX в.в. Часть I. Гиз. М.—Л. 1926 г. Стр. 248.

Подлинно-марксистская история русской литературы в своем завершенном и окончательном виде явится, несомненно, только в результате длительной коллективной работы, в результате переработки и синтеза многих отдельных историко-литературных построений и схем. В настоящее время мы переживаем еще только начальный период этого научного процесса, когда еще только начинают появляться первые социологически построяемые схемы истории русской литературы, которые и послужат материалом для будущей синтетической схемы истории русской литературы. К числу таких научно-предварительных работ надо отнести и рецензируемую «Историю русской литературы». Несмотря на ряд недостатков, в книге Л. Войтоловского предлагается ряд новых формулировок и интерпретаций, пускай отчасти и спорных, но интересных и дающих все же новые толчки к дальнейшему развитию марксистской литературоведческой мысли, дающих материал к углублению социологической схемы истории русской литературы.

В основу своего построения автор справедливо кладет классовую борьбу помещичьего феодализма с капитализмом. На этой основе Л. Войтоловский предлагает следующую схему русской литературы прошлого столетия. Последняя составляется из пяти периодов. Первый — это эпоха «перерождения феодального хозяйства». Сюда включаются Пушкин, Рылеев, А. Одоевский, А. Бестужев-Марлинский, Полежаев, Лермонтов, Гоголь. Второй период посвящается «новым голосам» — Кольцову, Никитину, Шевченко и Огареву. Далее следуют певцы «патриархально - усадебного быта» — Аксаков, Л. Толстой и Бунин. Четвертый период заполняется художниками, стоявшими «между городом и деревней» (Тургенев, Писемский, Григорович, Гончаров). Наконец, последний период озаглавлен — «Святая хозяйственность». Сюда вошли Некрасов, Салтыков-Щедрин, Островский и Достоевский. Схема эта, конечно, никоим образом не может считаться окончательной и исчерпывающей, но тем не менее она заслуживает внимания.

Зачинателем литературы новой капиталистической России Л. Войтоловский считает Пушкина, представителями старой феодально-помещичьей России — Гоголя и, главным образом, Аксакова, Л. Толстого и Бунина (художников, вошедших в третий отдел). Мы несогласны с автором, с его слишком прямолинейным заявлением, что «во всех произведениях Пушкина под разными одеяниями и образами главными действующими лицами являются прибыль и отвага» (стр. 54). Мы полагаем, что действительными органическими отобразителями капиталистической России надо считать более поздних художников, ибо Пушкин, творец «Евгения Онегина», «Капитанской дочки», все же более принадлежит помещичьей России.

Тем не менее высказанные Л. Войтоловским мысли о соотношении Пушкина и капитализма вносят многое, над чем нашим пушкиноведам надо будет поработать.

Хорошо интерпретируется творчество Некрасова, Салтыкова-Щедрина и Островского, коих всех Войтоловский относит под знак капиталистической, буржуазной культуры «Святой хозяйственности». При всей мощи своего отрицания старой России, при всей силе своих сатирических талантов эти художники все же не могли уйти всецело от буржуазного идеала «святой хозяйственности». Не говоря уже об Островском, не освободился от этого и Некрасов, написавший «Дедушку». Справедлива социологическая квалификация Тургенева, Григоровича, Гончарова, Писемского, как колеблющихся между буржуазным городом и помещичьей деревней, однако надо было бы только, в целях больше социологической четкости, подчеркнуть, что одна часть этих художников больше тяготела к буржуазно-мещанскому городу (Гончаров, Писемский), а часть к помещичьей деревне.

К числу недостатков отнесем помещение Огарева, о котором сам Войтоловский пишет, что ему было жаль патриархально-помещичьей власти (стр. 10) и который вообще является представителем русской дворянской культуры, — в среду, уж абсолютно ничего общего не имеющую с дворянско-помещичьей культурой, в общество Кольцова, Шевченко, Никитина. Непростительно, что в книге отсутствует Грибоедов. Вызывает недоумение помещение в книге ничего не говорящих главок в несколько строк, вроде, напр., главки о Марлинском (всего шесть строк!), о Полежаеве и др.

В заключение заметим, что некоторая несвязанность отдельных отделов между собой еще в большей степени придает книге характер материалов к построению историко-литературной схемы.

Научно-педагогической Секцией ГУС'а книга Войтоловского допущена в школьные библиотеки, где она, написанная в общем языком вполне доступным широкому читателю, вполне пригодится.

Арк. Глаголев.

Леонид Гроссман. Пушкин в театральных креслах. Картины русской сцены 1817—1820 годов. К-во Брокгауз-Ефрон. Л. 1926. Стр. 182.

Было бы напрасным трудом искать в этой красиво написанной и любовно изданной книжке каких-либо специально исследовательских заданий. Сложная и едва затронутая в научной литературе проблема театральных отношений Пушкина и их роли в творческой жизни поэта только мельком затрагивается здесь в ряде попутных замечаний и экскурсов, всегда, правда, остроумных и содержательных, но всегда же в той или иной мере случайных и во всяком случае требующих дальнейшей разработки и более убедительной аргументации. Таковы замечания о влиянии балетных постановок Дидло на композицию описательных аксессуаров «Руслана и Людмилы», об общей связи драматургической поэтики Пушкина с театральными впечатлениями по послелицейской петербургской жизни и др. Во всяком случае, дальше постановки вопроса Л. П. Гроссман не идет, отказываясь пока что от их конкретного изучения.

Центр авторских интересов лежит не столько в плоскости историко-литературной или даже историко-театральной, сколько в плоскости историко-бытовой. Основная тема работы — это театральный быт русского ампира, а «Пушкин в театральных креслах» — ее привходящий боковой момент. Впрочем, чего-либо существенно нового Л. П. Гроссман не вносит и в эту основную тему. Содержание книжки вполне правильно охарактеризовано в подзаголовке, как «картины театральной жизни 1817—1820 годов». Действительно, это скорее ряд внутренне связанных историко-бытовых этюдов с явно доминирующей установкой на художественность изложения, чем монография с какими-либо научными устремлениями. Крупным мастером этого, мало культивируемого в наши дни, жанра, Л. П. Гроссман — один из преданнейших адептов теории литературной критики, как «искусства об искусстве, творчества о творчестве», — был всегда. На уровне его лучших достижений в этой трудной области стоит и рецензируемая книжка. Мастерски обрисована общая картина театральной жизни

эпохи, тщательно зачерчены портреты ее отдельных представителей как из актерского мира, так и из зрительного зала. Вся указанная в конце книжки литература, как и перечисленные там же архивные материалы, использованы исключительно умело и вдумчиво.

Можно, конечно, спорить о нужности и актуальности такого рода опытов в наши дни. Но к каким бы выводам ни пришли мы здесь, все же было бы несправедливо не признать эту книжку одной из самых талантливых среди немногих изданий по трактуемому Л. П. Гроссманом вопросу.

И. Сергиевский.

Редакционная коллегия: А. Воронский.
В. Сорин.
Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

СОДЕРЖАНИЕ